

Белла Ахмадулина

1



*Белла
Ахмадулина*

СОЧИНЕНИЯ • ТОМ 1

Белла Ахмадулина

Белла
Ахмадулина
СОЧИНЕНИЯ · ТОМ 1

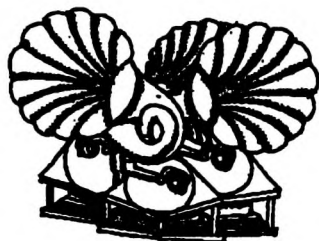
1



Белла
Ахмадулина
СОЧИНЕНИЯ • ТОМ 1

*Белла
Ахмадулина*

СОЧИНЕНИЯ



ПАН • КОРОНА-ПРИНТ
МОСКВА 1997

*Белла
Ахмадулина*

СОЧИНЕНИЯ • ТОМ 1

СТИХОТВОРЕНИЯ . 1954–1979

ПЕРЕВОДЫ ИЗ ГРУЗИНСКОЙ ПОЭЗИИ

РАССКАЗЫ

ПАН • КОРОНА-ПРИНТ
МОСКВА 1997

УДК 882

СОСТАВЛЕНИЕ
И ПОДГОТОВКА ТЕКСТА
Б.МЕССЕРЕРА
О.ГРУШНИКОВА

КОММЕНТАРИИ
О.ГРУШНИКОВА

ХУДОЖНИК
А.КОНОПЛЕВ

В ОФОРМЛЕНИИ
ИСПОЛЬЗОВАН РИСУНОК
«ГРАММОФОН»
Б.МЕССЕРЕРА

*Издание осуществлено
при финансовой поддержке
коммерческого инновационного банка
«АЛЬФА-БАНК»*



ББК 84 (2Рос-рус)6-5

© Б. Ахмадулина, 1997
© Б. Мессерер, О. Грушников.
Составление, 1997
© О. Грушников. Комментарии, 1997
© А. Коноплев. Оформление, 1997
© ООО Издательство «ПАН», 1997

ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ

Впервые предпринимается попытка собрать воедино произведения Беллы Ахмадулиной, написанные за несколько десятилетий литературной деятельности. Настоящее издание объединяет большую часть сочинений Б. Ахмадулиной в стихах и прозе, а также ее переводов. Однако существует ряд неопубликованных стихотворных и прозаических произведений, рукописи которых были переданы автором различным лицам. К сожалению, эти произведения оказались недоступными для составителей. Кроме того, по различным соображениям, за пределами трехтомного собрания произведений Б. Ахмадулиной остались: статьи и стихотворения, печатавшиеся в газетах „Метростроевец” (1954 – 1955) и „Литературная газета в Сибири” (1959); ряд ранних стихотворений, опубликованных в периодической печати и в сборниках „Струна” (М., 1962) и „Озноб” (Франкфурт-на-Майне, 1968); работы для кинематографа (сценарии фильмов „Чистые пруды”, „Стюардесса”, „Времена года”, „Луг зеленый”, „Венок сонетов” и др.); поэтический сценарий представления „Чудеса в саквояже”, осуществленного совместно с артистом-мимом Борисом Амарантовым; сценарий мюзикла

по пьесе А.Н.Островского „Не в свои сани не садись“; интервью; некоторые статьи, выступления и поэтические переводы.

Произведения печатаются преимущественно по текстам последних публикаций. В тех случаях, когда составители имели возможность сравнить тексты имеющихся публикаций с рукописями, удалось восстановить ряд неавторских сокращений.

Тексты, включенные в настоящее собрание, распределены по тематическому и хронологическому принципам. В 1-й том вошли стихотворения (1954—1979); переводы из грузинской поэзии; художественная проза. 2-й том составили стихотворения (1980—1996); переводы; воспоминания. 3-й том включает поэмы; поэтические посвящения и дарственные надписи; стихи детям; переводы из европейской поэзии; раздел „Поэт о поэте“; статьи и выступления; предисловия к авторским сборникам, журнальным и газетным публикациям, грампластинкам; рецензии; „Посвящение дамам и господам...”.

Ряд произведений Б. Ахмадулиной впервые публикуется в настоящем издании.



*Белла
Ахмадулина*

СОЧИНЕНИЯ • ТОМ 1

СТИХОТВОРЕНИЯ

1954—1979

НОВАЯ ТЕТРАДЬ

Смущаюсь и робею пред листом
бумаги чистой.
Так сто́ит паломник
у входа в храм.
Пред девичьим лицом
так опытный потупится поклонник.

Как будто школьник, новую тетрадь
я озираю алчно и любовно,
чтобы потом пером ее терзать,
марая ради замысла любого.

Чистописанья сладостный урок
недолог. Перевернута страница.
Бумаге белой нанеся урон,
бесчинствует мой почерк и срамится.

Так в глубь тетради, словно в глубь лесов,
я безрассудно и навечно кану,
одна среди сияющих листов
неся свою ликующую кару.

1954

Дождь в лицо и ключицы,
и над мачтами гром.
Ты со мной приключился,
словно шторм с кораблем.

То ли будет, другое...
Я и знать не хочу —
разобьюсь ли о горе,
или в счастье влечу.

Мне и страшно, и весело,
как тому кораблю...

Не жалею, что встретила.
Не боюсь, что люблю.

1955

ЦВЕТЫ

Цветы росли в оранжерее.
Их охраняли потолки.
Их корни сытые жирели
и были лепестки тонки.

Им подсыпали горький калий
и множество других солей,
чтоб глаз анютин желто-карий
смотрел круглей и веселей.

Цветы росли в оранжерее.
Им дали света и земли
не потому, что их жалели
или надолго берегли.

Их дарят празднично на память,
но мне — мне страшно их судьбы,
ведь никогда им так не пахнуть,
как это делают сады.

Им на губах не оставаться,
им не раскачивать шмеля,
им никогда не догадаться,
что значит мокрая земля.

1956

НЕВЕСТА

Хочу я быть невестой,
красивой, завитой,
под белою навесной
застенчивой фатой.

Чтоб вздрагивали руки
в колечках ледяных,
чтобы сходились рюмки
во здравье молодых.

Чтоб каждый мне поддакивал,
пророчил сыновей,
чтобы друзья с подарками
стеснялись у дверей.

Сорочки в целлофане,
тарелки, кружева...
Чтоб в щёку целовали,
пока я не жена.

Платье мое белое
заплакано вином,
счастливая и бедная
сижусь я за столом.

Страшно и заманчиво
то, что впереди.
Плачет моя мамочка, —
мама, погоди.

Белла Ахмадулина

... Наряд мой боярский
скинут на кровать.
Мне хорошо бояться
тебя поцеловать.

Громко стулья ставятся
рядом, за стеной...
Что-то дальше станется
с тобою и со мной?..

1956

Мне скакать, мне в степи ози­раться,
разорять караваны во мгле.
Незапамятный дух азиатства
до сих пор колобродит во мне.

Мне доступны иные мученья.
Мой шатер одинок, нелюдим.
Надо мною восходят мечети
полумесяцем белым, кривым.

Я смеюсь, и никто мне не пара,
но с заката вчерашнего дня
я люблю узколищего парня
и его дорогого коня.

Мы в костре угольки шуровали,
и протяжно он пел над рекой,
задевая мои шаровары
дерзновенной и сладкой рукой.

Скоро этого парня заброшу,
закричу: „До свиданья, Ахат!“
Полюблю я султана за брошку,
за таинственный камень агат.

Нет, не зря мои щёки горели,
нет, не зря загнала я коня —
сорок жён изведутся в гареме,
не заденут и пальцем меня.

Белла Ахмадулина

И опять я лечу неотрывно
по степи, по ее ширине...
Надо мною колдует надрывно
и трясет бородой шурале...

1956

I

Официант в поношенном крахмале
опасливо глядит издалека,
а за столом — цветут цветы в кармане
и молодость снедает старика.

Он — не старик. Он — семь чертей пригожих.
Он, палкою по воздуху стуча,
летит мимо испуганных прохожих,
едва им доставая до плеча.

Он — десять дровосеков с топорами,
дай помахать и хлебом не корми!
Гасконский, что ли, это темперамент
и эти загорания в крови?

Да что считать! Не поддается счёту
тот, кто — один. На белом свете он —
один всего лишь. Но заглянем в щёлку.
Он — девять дэвов, правда, мой Симон?

Я пью вино, и пьёт старик бедовый,
потрескивая на манер огня.
Он — не старик. Он — перезвон бидонный.
Он — мускулы под кожей коня.

Всё — чепуха. Сидит старик усталый.
Движение есть расточенье сил.
Он скорбный взгляд в далекое уставил.
Он старости, он отдыха просил.

А жизнь — тревога за себя, за младших,
неисполнение давешних надежд.
А где же — Сын? Где этот строгий мальчик,
который вырос и шинель надел?

Вот молодые говорят степенно:
как вы бодры... вам сорока не дашь...
Молчали бы, летая по ступеням!
Легко ль... на пятый... возойти... этаж...

Но что-то — есть: настойчивей! крылатей!
То ль всплеск воды, то ль проблеск карасей!
Оно гудит под пологом кровати,
закруживая, словно карусель.

Ах, этот стол запляшет косоного,
ах, всё, что есть, оставит позади.
Не иссякай, бессмертный Казанова!
Девчонку на колени посади!

Бесчинствуй и пофыркивай моторно.
В чужом доме плачь домовым в трубе.
Пусть женщина, капризница, мотовка,
тебя целует и грозит тебе.

Запри ее! Пускай она стучится!
Нет, отпусти! На тройке прокати!
Всё впереди, чему должно случиться!
Оно еще случится. Погоди.

1956

II

Двадцать два, значит, года тому
дню и мне восемнадцатилетней,
или сколько мне — в этой, уму
ныне чуждой поре, предпоследней

перед жизнью, последним, что есть...
Кахетинского яства нарядность,
о, глядеть бы! Но сказано: ешь.
Я беспечна и ем ненаглядность.
Это всё происходит в Москве.
Виноград — подношенье Симона.
Я настолько моложе, чем все
остальные, настолько свободна,
что впервые сидим мы втроем,
и никто не отторгнут могилой,
и еще я зову стариком
Вас, ровесник мой младший и милый.

1978

ГРУЗИНСКИХ ЖЕНЩИН ИМЕНА

Там в море паруса плутали,
и, непричастные жару,
медлительно цвели платаны
и осыпались в ноябре.

Мешались гомоны базара,
и обнажала высота
переплетения базальта
и снега яркие цвета.

И лавочка в старинном парке
бела вставала и нема,
и смутно виноградом пахли
грузинских женщин имена.

Они переходили в лепет,
который к морю выбегал
и выплывал, как черный лебедь,
и странно шею выгибал.

Смеялась женщина Ламара,
бежала по камням к воде,
и каблучки по ним ломала,
и губы красила в вине.

И мокли волосы Медеи,
вплетаясь утром в водопад,
и капли сохли, и мелели,
и загорались невпопад.

И, заглушая олеандры,
собравши всё в одном цветке,
вitalo имя Ариадны
и растворялось вдалеке.

Едва опершийся на сваи,
там приникал к воде причал.
„Цисана!” — из окошка звали,
„Натэла!” — голос отвечал...

1957

Смеясь, ликуя и бунтуя,
в своей безвыходной тоске,
в Махинджаури, под Батуми,
она стояла на песке.

Она была такая гордая —
вообразив себя рекой,
она входила в море голая
и море трогала рукой.

Освободясь от ситцев лишних,
так шла и шла наискосок.
Она расстегивала лифчик,
чтоб сбросить лифчик на песок.

И вид ее предплечья смутного
дразнил и душу бередил.
Там белое пошло по смуглому,
где раньше ситец проходил.

Она смеялась от радости,
в воде ладонями плеча,
и перекатывались радуги
от головы и до плеча.

1957

Вот звук дождя как будто звук домбры —
так тренькает, так ударяет в зданья.
Прохожему на площади Восстанья
я говорю: — О, будьте так добры.

Я объясняю мальчику: — Шали. —
К его курчавой головёнке никну
и говорю: — Пусти скорее нитку,
освободи зеленые шары.

На улице, где публика галдит,
мне белая встречается собака,
и взглядом понимающим собрата
собака долго на меня глядит.

И в магазине, в первом этаже,
по бледности я отличаю скрягу.
Облюбовав одеколону склянку,
томится он под вывеской „Тэжэ”.

Я говорю: — О, отвлекись скорей
от жадности своей и от подагры,
прибери богатые подарки
и отнеси возлюбленной своей.

Да, что-то не везёт мне, не везёт.
Меж мальчиков и девочек пригожих
и взрослых, чем-то на меня похожих,
мороженого катится возок.

Так прохожу я на исходе дня.
Теней я замечаю удлинение,
а также замечаю удивление
прохожих, озирающих меня.

1957

О, еще с тобой случится
всё — и молодость твоя.
Когда спросишь: „Кто стучится?“ —
Я отвечу: „Это я!“

Это я! Ах, поскорее
выслушай и отвори.
Стихнули и постарели
плечи бедные твои.

Я нашла тебе собрата —
листик с веточки одной.
Как же ты стареть собрался,
не советуясь со мной!

Ах, да вовсе не за этим
я пришла сюда одна.
Это я — ты не заметил.
Это я, а не она.

Над примятою постелью,
в сумраке и тишине,
я оранжевой пастелью
рисовала на стене.

Рисовала сад с травой,
человечка с головой,
чтобы ты спросил с тревогой:
„Это кто еще такой?“

Я отвечу тебе строго:
„Это я, не спорь со мной.
Это я – смешной и стройный
человечек с головой”.

Поиграем в эту шалость
и расплачемся над ней.
Позабудем мою жалость,
жалость к старости твоей.

Чтоб ты слушал и смирялся,
становился молодой,
чтобы плакал и смеялся
человечек с головой.

1957

Не уделяй мне много времени,
вопросов мне не задавай.
Глазами добрыми и верными
руки моей не задевай.

Не проходи весной по лужицам,
по следу следа моего.
Я знаю — снова не получится
из этой встречи ничего.

Ты думаешь, что я из гордости
хожу, с тобою не дружу?
Я не из гордости — из горести
так прямо голову держу.

1957

СНЕГУРОЧКА

Что так Снегурочку тянуло
к тому высокому огню?
Уж лучше б в речке утонула,
попала под ноги коню.

Но голубым своим подолом
вспорхнула — ноженьки видны —
и нет ее. Она подобна
глотку оттаявшей воды.

Как чисто с воздухом смешалась,
и кончилась ее пора.
Играть с огнем — вот наша шалость,
вот наша древняя игра.

Нас цвет оранжевый так тянет,
так нам проходу не дает.
Ему поддавшись, тело тает
и телом быть перестает.

Но пуще мы огонь раскурим
и вовлечем его в игру,
и снова мы собой рискуем
и доверяемся костру.

Вот наш удел еще невидим,
в дыму еще неразличим.
То ль из него живыми выйдем,
то ль навсегда сольемся с ним.

1958

МАЗУРКА ШОПЕНА

Какая участь нас постигла,
как повезло нам в этот час,
когда бегущая пластинка
одна лишь разделяла нас!

Сначала тоненько шипела,
как уж, изъятый из камней,
но очертания Шопена
приобретала всё слышней.

И забирала круче, круче,
и обещала: быть беде,
и расходились эти кру́ги,
как будто кру́ги по воде.

И тоненькая, как мензурка
внутри с водицей голубой,
стояла девочка-мазурка,
покачивая головой.

Как эта, с бедными плечами,
по-польски личиком бела,
разведала мои печали
и на себя их приняла?

Она протягивала руки
и исчезала вдалеке,
сосредоточив эти звуки
в иглой исчерченном кружке.

1958

Белла Ахмадулина

ЛУНАТИКИ

Встает луна, и мстит она за муки
надменной отдаленности своей.
Лунатики протягивают руки
и обреченно следуют за ней.

На крыльях одичалого сознания,
весомостью дневной утомлены,
летят они, прозрачные создания,
прислушиваясь к отсветам луны.

Мерцая так же холодно и скупю,
взамен не обещаая ничего,
влечет меня далекое искусство
и требует согласия моего.

Смогу ли побороть его мученья
и обаянье всех его примет
и вылепить из лунного свеченья
тяжелый, осязаемый предмет?..

1958

Живут на улице Песчаной
два человека дорогих.
Я не о них.

Я о печальной
неведомой собаке их.

Эта японская порода
ей так расставила зрачки,
что даже страшно у порога —
как их раздумья глубоки.

То добрый пес. Но, замирая
и победительно сопя,
надменным взглядом самурая
он сможет защитить себя.

Однажды просто так, без дела
одна пришла я в этот дом,
и на диване я сидела,
и говорила я с трудом.

Уставив глаз свой самоцветный,
всё различавший в тишине,
пёс умудренный семилетний
сидел и думал обо мне.

И голова его мигала.
Он горестный был и седой,
как бы поверженный микадо,
усталый и немолодой.

Зовётся Тошкой пёс. Ах, Тошка,
ты понимаешь всё. Ответь,
что так мне совестно и тошно
сидеть и на тебя глядеть?

Всё тонкий нюх твой различает,
угадывает наперед.
Скажи мне, что нас разлучает
и всё ж расстаться не даёт?

1958

АВГУСТ

Так щедро август звёзды расточал.
Он так бездумно приступал к владенью,
и обращались лица ростовчан
и всех южан — навстречу их паденью.

Я добрую благодарю судьбу.
Так падали мне на плечи созвездья,
как падают в заброшенном саду
сирени неопрятные соцветья.

Подолгу наблюдали мы закат,
соседей наших клавиши сердили,
к старинному роялю музыкант
склонял свои печальные седины.

Мы были звуки музыки одной.
О, можно было инструмент расстроить,
но твоего созвучия со мной
нельзя было нарушить и расторгнуть.

В ту осень так горели маяки,
так недалёко звёзды пролегали,
бульварами шагали моряки,
и девушки в косынках пробегали.

Всё то же там паденье звёзд и зной,
всё так же побережье неизменно.
Лишь выпали из музыки одной
две ноты, взятые одновременно.

1958

Белла Ахмадулина

По улице моей который год
звучат шаги — мои друзья уходят.
Друзей моих медлительный уход
той темноте за окнами угоден.

Запущены моих друзей дела,
нет в их домах ни музыки, ни пенья,
и лишь, как прежде, девочки Дега
голубенькие оправляют перья.

Ну что ж, ну что ж, да не разбудит страх
вас, беззащитных, среди этой ночи.
К предательству таинственная страсть,
друзья мои, туманит ваши очи.

О одиночество, как твой характер крут!
Посверкивая циркулем железным,
как холодно ты замыкаешь круг,
не внемля увереньям бесполезным.

Так призови меня и награди!
Твой баловень, обласканный тобою,
утешусь, прислонясь к твоей груди,
умоюсь твоей стужей голубою.

Дай стать на цыпочки в твоём лесу,
на том конце замедленного жеста
найти листву, и поднести к лицу,
и ощутить сиротство, как блаженство.

Даруй мне тишь твоих библиотек,
твоих концертов строгие мотивы,
и — мудрая — я позабуду тех,
кто умерли или доселе живы.

И я познаю мудрость и печаль,
свой тайный смысл доверят мне предметы.
Природа, прислонясь к моим плечам,
объявит свои детские секреты.

И вот тогда — из слёз, из темноты,
из бедного невежества бывшего
друзей моих прекрасные черты
появятся и растворятся снова.

1959

В тот месяц май, в тот месяц мой
во мне была такая лёгкость
и, расстилаясь над землей,
влекла меня погоды лётность.

Я так щедра была, щедра
в счастливом предвкушенье пенья,
и с легкомыслием щегла
я окунала в воздух перья.

Но, слава Богу, стал мой взор
и пронизательней, и строже,
и каждый вздох и каждый взлет
обходится мне всё дороже.

И я причастна к тайнам дня.
Открыты мне его явленья.
Вокруг оглядываюсь я
с усмешкой старого еврея.

Я вижу, как грачи галдят,
над черным снегом нависая,
как скушно женщины глядят,
склонившиеся над вязаньем.

И где-то, в дудочку дудя,
не соблюдая клумб и грядок,
чужое бегаёт дитя
и нарушает их порядок.

1959

НЕЖНОСТЬ

Так ощутима эта нежность,
вещественных полна примет.
И нежность обретает внешность
и воплощается в предмет.

Старинной вазою зеленой
вдруг станет на краю стола,
и ты склонишься удивленный
над чистым омутом стекла.

Встревожится квартира ваша,
и будут все поражены.
— Откуда появилась ваза? —
ты строго спросишь у жены. —

И антиквар какую плату
спросил? —
О, не кори жену —
то просто я смеюсь и плачу
и в отдалении живу.

И слёзы мои так стеклянны,
так их паденья тяжелы,
они звенят, как бы стаканы,
разбитые средь тишины.

За то, что мне тебя не видно,
а видно — так на полчаса,
я безобидно и невинно
свершаю эти чудеса.

Белла Ахмадулина

Вдруг облаком тебя покроет,
как в горних высях повелось.
Ты закричишь: — Мне нет покою!
Откуда облако взялось?

Но суеверно, как крестьянин,
не бойся, „чур” не говори —
то нежности моей кристаллы
осели на плечи твои.

Я так немудрено и нежно
наколдовала в стороне,
и вот образовалось нечто,
напоминая обо мне.

Но по привычке добрых бестий,
опять играя в эту власть,
я сохраню тебя от бедствий
и тем себя утешу всласть.

Прощай! И занимайся делом!
Забудется игра моя.
Но сказки твоим малым детям
останутся после меня.

1959

НЕСМЕЯНА

Так и сижу — царица Несмеяна,
ем яблоки, и яблоки горчат.
— Царица, отвори нам! Нам немало! —
под окнами прохожие кричат.

Они глядят глазами голубыми
и в горницу являются гурьбой,
здороваются, кланяются, имя
„Царевич” говорят наперебой.

Стоят и похваляются богатством,
проходят, златом-серебром звеня.
Но вам своим богатством и бахвальством,
царевичи, не рассмешить меня.

Как ум моих царевичей напрягся,
стараясь ради красного словца!
Но и сама слышу я не напрасно
глупей глупца, мудрее мудреца.

Кричат они: — Какой верна присяге,
царица, ты — в суровости своей? —
Я говорю: — Царевичи, присядьте.
Царевичи, постойте у дверей.

Зачем кафтаны новые надели
и шапки примеряли к головам?
На той неделе, о, на той неделе —
смеялась я, как не смеяться вам.

Белла Ахмадулина

Входил он в эти низкие хоромы,
сам из татар, гулявших по Руси,
и я кричала: „Здравствуй, мой хороший!
Вина отведай, хлебом закуси”.

— А кто он был? Богат он или беден?
В какой он проживает стороне? —
Смеялась я: — Богат он или беден,
румян иль бледен — не припомнить мне.

Никто не покарает, не измерит
вины его. Не вышло ни черта.
И всё же он, гуляка и изменник,
не вам чета. Нет. Он не вам чета.

1959

МОТОРОЛЛЕР

Завиден мне полёт твоих колес,
о мотороллер розового цвета!
Слежу за ним, не унимая слёз,
что льют без повода в начале лета.

И девочке, припавшей к седоку
с ликующей и гибельной улыбкой,
кажусь я приникающей к листку,
согбенной и медлительной улиткой.

Прощай! Твой путь лежит поверх меня
и меркнет там, в зеленых отдаленьях.
Две радуги, два неба, два огня,
бесстыдница, горят в твоих коленях.

И тело твое светится сквозь плащ,
как стебель тонкий сквозь стекло и воду.
Вдруг из меня какой-то странный плач
выпархивает, пискнув, на свободу.

Так слабенький твой голосок поет,
и песенки мотив так прост и вечен.
Но, видишь ли, веселый твой полёт
недвижностью моей уравновешен.

Затем твои качели высоки
и не опасно головокруженье,
что по другую сторону доски
я делаю обратное движенье.

Белла Ахмадулина

Пока ко мне нисходит тишина,
твой шум летит в лужайках отдаленных.
Пока моя походка тяжела,
подъемлешь ты два крылышка зеленых.

Так проносись! — покуда я стою.
Так лепечи! — покуда я немею.
Всю легкость поднебесную твою
я искупаю тяжестью своею.

1959

АВТОМАТ С ГАЗИРОВАННОЙ ВОДОЙ

Вот к будке с газированной водой,
всех автоматов баловень надменный,
таинственный ребенок современный
подходит, как к игрушке заводной.

Затем, самонадеянный фантаст,
монету влажную он опускает в щёлку
и, нежным брызгам подставляя щёку,
стаканом ловит розовый фонтан.

О, мне б его уверенность на миг
и фамильярность с тайною простотою!
Но нет, я этой милости не стою:
пускай прольется мимо рук моих.

А мальчуган, причастный чудесам,
несет в ладони семь стеклянных граней,
и отблеск их летит на красный гравий
и больно ударяет по глазам.

Робея, я сама вхожу в игру,
и поддаюсь с блаженным чувством риска
соблазну металлического диска,
и замираю, и стакан беру.

Воспрянув из серебряных оков,
родится омут сладкий и соленый,
неведомым дыханьем населенный
и свежей толчеёю пузырьков.

Белла Ахмадулина

Все радуги, возникшие из них,
пронзают нѣбо в сладости короткой,
и вот уже, разнеженный щекоткой,
семь вкусов спектра пробует язык.

И автомата темная душа
взирает с доброотою старомодной,
словно крестьянка, что рукой холодной
даст путнику напиток из ковша.

1959

ТВОЙ ДОМ

Твой дом, не ведая беды,
меня встречал и в щёку чмокал.
Как будто рыба из воды,
сервиз выглядывал из стёкол.

И пёс выскакивал ко мне,
как галка, маленький, орущий,
и в беззащитном всеоружье
торчали кактусы в окне.

От неурядиц всей земли
я шла озябшим делегатом,
и дом смотрел в глаза мои
и добрым был и деликатным.

На голову мою стыда
он не навлёк, себя не выдал.
Дом клялся мне, что никогда
он этой женщины не видел.

Он говорил: — Я пуст. Я пуст. —
Я говорила: — Где-то, где-то... —
Он говорил: — И пусть. И пусть.
Входи и позабудь про это.

О, как боялась я сперва
платка или иной приметы,
но дом твердил свои слова,
перетасовывал предметы.

Белла Ахмадулина

Он заметал ее следы.
О, как он притворился ловко,
что здесь не падало слезы,
не облакачивалось локтя.

Как будто тщательный прибор
смыл всё: и туфель отпечатки,
и тот пустующий прибор,
и пуговицу от перчатки.

Все сговорились: пёс забыл,
с кем он играл, и гвоздик малый
не ведал, кто его забил,
и мне давал ответ туманный.

Так были зеркала пусты,
как будто выпал снег и стаял.
Припомнить не могли цветы,
кто их в стакан гранёный ставил...

О дом чужой! О милый дом!
Прощай! Прошу тебя о малом:
не будь так добр. Не будь так добр.
Не утешай меня обманом.

1959

Опять в природе перемена,
окраска зелени груба,
и высится высокомерно
фигура белого гриба.

И этот сад собой являет
все небеса и все леса,
и выбор мой благословляет
лишь три любимые лица.

При свете лампы умирает
слепое тело мотылька
и пальцы золотом марает,
и этим брезгает рука.

Ах, Господи, как в это лето
покой в душе моей велик.
Так радуге избыток цвета
желать иного не велит.

Так завершенная окружность
сама в себе заключена
и лишнего штриха ненужность
ей незавидна и смешна.

1959

Нас одурачил нынешний сентябрь
с наивностью и хитростью ребенка.
Так повезло раскинутым сетям —
мы бьемся в них, как мелкая рыбёшка.

Нет выгоды мне видеться с тобой.
И без того сложны переплетенья.
Но ты проходишь, головой седой
оранжевые трогая растенья.

Я говорю на грани октября:
— О, будь неладен, предыдущий месяц.
Мне надобно свободы от тебя,
и торжества, и празднества, и мести.

В глазах от этой осени пестро.
И, словно на уроке рисованья,
прилежное пишу тебе письмо,
выпрашивая расставанья.

Гордилась я, и это было зря.
Опровергая прошлую надменность,
прошу тебя: не причиняй мне зла!
Я так на доброту твою надеюсь.

1959

Ты говоришь — не надо плакать.
А может быть, и впрямь, и впрямь
не надо плакать — надо плавать
в холодных реках. Надо вплавь

одолевать ночную воду,
плывущую из-под руки,
чтоб даровать себе свободу
другого берега реки.

Недаром мне вздыхалось сладко
в Сибири, в чистой стороне,
где доверительно и слабо
растенья никнули ко мне.

Как привести тебе примеры
того, что делалось со мной?
Мерцают в памяти предметы
и отдают голубизной.

Байкала потаенный омут,
где среди медленной воды
посверкивая ходит омуль
и пёрышки его видны.

И те дома, и те сараи,
заметные на берегах,
и цвета яркого саранки,
мгновенно сникшие в руках.

И в белую полосу чудо —
внезапные бурундуки,
так испытующе и чутко
в меня вперявшие зрачки.

Так завлекала и казнила
меня тех речек глубина.
Гранёная вода Кизира
была, как пламень, холодна.

И опровергнуто лукавство
мое и все слова твои
напоминающей лекарство
целебной горечью травы.

Припоминается мне снова,
что там, среди земли и ржи,
мне не пришлось сказать ни слова,
ни слова маленького лжи.

1959

Влечет меня старинный слог.
Есть обаянье в древней речи.
Она бывает наших слов
и современнее и резче.

Вскричать: „Полцарства за коня!“ —
какая вспльчивость и щедрость!
Но снизойдет и на меня
последнего задора тщетность.

Когда-нибудь очнусь во мгле,
навек проиграв сраженье,
и вот придет на память мне
безумца древнего решенье.

О, что полцарства для меня!
Дитя, наученное веком,
возьму коня, отдам коня
за полмгновенья с человеком,

любимым мною. Бог с тобой,
о конь мой, конь мой, конь ретивый.
Я безвозмездно повод твой
ослаблю — и табун родимый

нагонишь ты, нагонишь там,
в степи пустой и порыжелой.
А мне наскучил тарарам
этих побед и поражений.

Мне жаль коня! Мне жаль любви!
И на манер средневековый
ложится под ноги мои
лишь след, оставленный подковой.

1959

СВЕТОФОРЫ

Геннадью Хазанову

Светофоры. И я перед ними
становлюсь, отступаю назад.
Светофор. Это странное имя.
Светофор. Святослав. Светозар.

Светофоры добры, как славяне.
Мне в лицо устремляют огни
и огнями, как будто словами,
умоляют: „Постой, не гони”.

Благодарна я им за смещение
этих двух разноцветных огней,
но во мне происходит смешенье
этих двух разноцветных кровей.

О, извечно гудел и сливался,
о, извечно бесчинствовал спор:
этот добрый рассудок славянский
и косою азиатский напор.

Видно, выход — в движенье, в движенье,
в голове, наклоненной к рулю,
в бесшабашном головокруженье
у обочины на краю.

И, откидываясь на сиденье,
говорю себе: „Погоди”.
Отдаю себя на съеденье
этой скорости впереди.

1959

Белла Ахмадулина

ЧУЖОЕ РЕМЕСЛО

Чужое ремесло мной помыкает.
На грех наводит, за собой маня.
Моя работа мне не помогает
и мстительно сторонится меня.

Я ей вовеки соблюдаю верность,
пишу стихи у краешка стола,
и все-таки меня сдает ревность,
когда творят иные мастера.

Поет высоким голосом кинто —
и у меня в тбилисском том духане,
в картинной галерее и в кино
завистливо заходится дыханье.

Когда возводит красную трубу
печник на необжитом новом доме,
я тоже вытираю о траву
замаранные глиною ладони.

О, сделать так, как сделал оператор,
послушно перенять его пример
и, пристально прикинув к аппаратам,
прищуриться на выбранный предмет.

О, эта жадность деревца сажать,
из лейки лить на грядках неполитых
и линии натурщиц отражать,
размазывая краски на палитрах!

Так власть чужой работы надо мной
меня жестоко требует к ответу.
Но не прошу я участи иной.
Благодарю скупую радость эту.

1959

ПЯТНАДЦАТЬ МАЛЬЧИКОВ

Пятнадцать мальчиков, а может быть, и больше,
а может быть, и меньше, чем пятнадцать,
испуганными голосами
мне говорили:
„Пойдем в кино или в музей изобразительных искусств”.
Я отвечала им примерно вот что:
„Мне некогда”.
Пятнадцать мальчиков дарили мне подснежники.
Пятнадцать мальчиков надломленными голосами
мне говорили:
„Я никогда тебя не разлюблю”.
Я отвечала им примерно вот что:
„Посмотрим”.

Пятнадцать мальчиков теперь живут спокойно.
Они исполнили тяжелую повинность
подснежников, отчаянья и писем.
Их любят девушки —
иные красивее, чем я,
иные некрасивее.
Пятнадцать мальчиков преувеличенно свободно,
а подчас злорадно
приветствуют меня при встрече,
приветствуют во мне при встрече
свое освобождение, нормальный сон и пищу...

Напрасно ты идешь, последний мальчик.
Поставлю я твои подснежники в стакан,
и коренастые их стебли обрастут

серебряными пузырьками...

Но, видишь ли, и ты меня разлюбишь,
и, победив себя, ты будешь говорить со мной надменно,
как будто победил меня,
а я пойду по улице, по улице...

50-е

Я думала, что ты мой враг,
что ты беда моя тяжелая,
а ты не враг, ты просто враль,
и вся игра твоя — дешевая.

На площади Манежной
бросал монету в снег.
Загадывал монетой,
люблю я или нет.

И шарфом ноги мне обматывал
там, в Александровском саду,
и руки грел, а всё обманывал,
всё думал, что и я солгу.

Кружилось надо мной вранье,
похожее на воронье.

Но вот в последний раз прощаешься,
в глазах ни сине, ни черно.
О, проживешь, не опечалишься,
а мне и вовсе ничего.

Но как же всё напрасно,
но как же всё нелепо!
Тебе идти направо.
Мне идти налево.

50-е

Жилось мне весело и шибко.
Ты шел в заснеженном плаще,
и вдруг зеленый ветер шипра
вздыхал косынку на плече.

А был ты мне ни друг, ни недруг.
Но вот бревно. Под ним река.
В реке, в ее ноябрьских недрах,
займется пламенем рука.

„А глубоко?“ — „Попробуй смеряй!“ —
Смеюсь, зубами лист беру
и говорю: „Ты парень смелый.
Пройдись по этому бревну“.

Ого! — тревоги выраженье
в твоей руке. Дрожит рука.
Ресниц густое ворошенье
над замиранием зрачка.

А я иду (сначала боком), —
о, поскорей бы, поскорей! —
над темным холодом, над бойким
озябшим ходом пескарей.

А ты проходишь по перрону,
закрыв лицо воротником,
и тлеющую папиросу
в снегу кончаешь каблуком.

50-е

Белла Ахмадулина

Чем отличаюсь я от женщины с цветком,
от девочки, которая смеется,
которая играет перстеньком,
а перстенёк ей в руки не дается?

Я отличаюсь комнатой с обоями,
где так сижу я на исходе дня
и женщина с манжетами собольими
надменный взгляд отводит от меня.

Как я жалею взгляд ее надменный,
и я боюсь, боюсь ее спугнуть,
когда она над пепельницей медной
склоняется, чтоб пепел отряхнуть.

О, Господи, как я ее жалею,
плечо ее, понурое плечо,
и беленькую тоненькую шею,
которой так под мехом горячо!

И я боюсь, что вдруг она заплачет,
что губы ее страшно закричат,
что руки в рукава она запрячет
и бусинки по полу застучат...

50-е

СНЫ О ГРУЗИИ

Сны о Грузии — вот радость!
И под утро так чиста
виноградная сладость,
осенившая уста.
Ни о чем я не жалею,
ничего я не хочу —
в золотом Свети-Цховели
ставлю бедную свечу.
Малым камушкам во Мцхета
воздаю хвалу и честь.
Господи, пусть будет это
вечно так, как ныне есть.
Пусть всегда мне будут в новость
и колдуют надо мной
родины родной суровость,
нежность родины чужой.

1960

СПАТЬ

Мне — пляшущей под мцхетскою луной,
мне — плачущей любою мышцей в теле,
мне — ставшей тенью, слабою длиной,
не умещенной в храм Свети-Цховели,
мне — обнаженной ниткой серебра
продернутой в твою иглу, Тбилиси,
мне — жившей, как преступник, — до утра,
озябшей до крови в твоей теплице,
мне — не умевшей засыпать в ночах,
безумьем растлевающей знакомых,
имеющей зрачок коня в очах,
отпрянувшей от снов, как от загонов,
мне — с нищими поющей на мосту:
„Прости нам, утро, прегрешенья наши.
Обугленных желудков нищету
позолоти своим подарком, хаши”,
мне — скачущей наискосок и вспять
в бессоннице, в ее дурной потехе, —
о Господи, как мне хотелось спать
в глубокой, словно колыбель, постели.
Спать — засыпая. Просыпаясь — спать.
Спать — медленно, как пригублять напиток.
О, спать и сон посасывать, как сладь,
пролив слюною сладости избыток.
Проснуться поздно, глаз не открывать,
чтоб дальше искушать себя секретом
погоды, осеняющей кровать
пока еще не принятым приветом.
Как приторен в гортани привкус сна.

Движенье рук свежо и неумело.
Неопытность воскресшего Христа
глубокой ленью сковывает тело.
Мозг слеп, словно остывшая звезда.
Пульс тих, как сок в непробужденном древе.
И — снова спать! Спать долго. Спать всегда,
спать замкнуто, как в материнском чреве.

1960

СВЕЧА

Геннадью Шпаликову

Всего-то — чтоб была свеча,
свеча простая, восковая,
и старомодность вековая
так станет в памяти свежа.

И поспешит твое перо
к той грамоте витиеватой,
разумной и замысловатой,
и ляжет на душу добро.

Уже ты мыслишь о друзьях
всё чаще, способом старинным,
и сталактитом стеариным
займешься с нежностью в глазах.

И Пушкин ласково глядит,
и ночь прошла, и гаснут свечи,
и нежный вкус родимой речи
так чисто губы холодит.

1960

АПРЕЛЬ

Вот девочки — им хочется любви.
Вот мальчики — им хочется в походы.
В апреле изменения погоды
объединяют всех людей с людьми.

О новый месяц, новый государь,
так ищешь ты к себе расположения,
так ты бываешь щедр на одолженья,
к амнистиям склоняя календарь.

Да, выручишь ты реки из оков,
приблизитишь ты любое отдаленье,
безумному даруешь просветленье
и исцелишь недуги стариков.

Лишь мне твоей пощады не дано.
Нет алчности просить тебя об этом.
Ты спрашиваешь — медлю я с ответом
и свет гашу, и в комнате темно.

1960

Мы расстаемся — и одновременно
овладевает миром перемена,
и страсть к измене так в нём велика,
что берегами брезгает река,
охладевают к небу облака,
кивает правой левая рука
и ей надменно говорит: — Пока!

Апрель уже не предвещает мая,
да, мая не видать вам никогда,
и распадается иван-да-марья.
О, желтого и синего вражда!

Свои растенья вытравляет лето,
долготы отстранились от широт,
и белого не существует цвета —
остались семь его цветных сирот.

Природа подвергается разрухе,
отливы превращаются в прибой,
и молкнут звуки — по вине разлуки
меня с тобой.

1960

МАГНИТОФОН

В той комнате под чердаком,
в той нищенской, в той суверенной,
где старомодным чудаком
задор владеет современный, —

где вокруг нечистого стола,
среди беды претенциозной,
капроновые два крыла
проносит ангел грациозный, —

в той комнате, в тиши ночной,
во глубине магнитофона,
уже не защищенный мной,
мой голос плачет отвлеченно.

Я знаю — там, пока я сплю,
жестокий медиум колдует
и душу слабую мою
то жжет, как свечку, то задует.

И гоголевской Катериной
в зеленом облаке окна
танцует голосок старинный
для развлечения колдуна.

Он так испуганно и кротко
является чужим очам,
как будто девочка-сиротка,
запроданная циркачам.

Белла Ахмадулина

Мой голос, близкий мне досель,
воспитанный моей гортанью,
лукавящий на каждом „эль”,
невнятно склонный к заиканью,

возникший некогда во мне,
моим губам еще родимый,
вспорхнув, остался в стороне,
как будто вздох необратимый.

Одет бесплотной наготой,
изведавший ее приятность,
уж он вкусил свободы той
бесстыдство и невероятность.

И в эту ночь там, из угла,
старик к нему взывает снова,
в застиранные два крыла
целуя ангела ручного.

Над их объятием дурным
магнитофон во тьме хлопочет,
мой бедный голос пятки им
прозрачным пальчиком щекочет.

Пока я сплю, злорадству их
он кажет нежные изъяны
картавости — и снов моих
нецеломудренны туманы.

1960

В МЕТРО НА ОСТАНОВКЕ „СОКОЛ”

Не знаю, что со мной творилось,
не знаю, что меня влекло.
Передо мною отворилось,
распавшись надвое, стекло.

В метро на остановке „Сокол”
моя поникла голова.
Спросив стакан с томатным соком,
я простояла час и два.

Я что-то вспомнить торопилась
и говорила невпопад:
— За красоту твою и милость
благодарю тебя, томат,

За то, что влагою ты влажен,
за то, что овощем ты густ,
за то, что красен и отважен
твой детский поцелуй вокруг уст.

А люди в той неразберихе,
направленные вверх и вниз,
как опаляющие вихри,
над головой моей неслись.

У каждой девочки, скользящей
по мрамору, словно по льду,
опасный, огненный, косящий
зрачок огромный цвёл во лбу.

Белла Ахмадулина

Вдруг всё, что тех людей казнило,
всё, что им было знать дано,
в меня впилося легко и сильно,
словно иголка в полотно.

И утомленных женщин слёзы,
навек прилившие к глазам,
по мне прошли, будто морозы
по обнаженным деревьям.

Но тут владычица буфета,
вся белая, как белый свет,
воскликнула:
— Да что же это!
Уйдешь ты всё же или нет?

Ах, деточка, мой месяц ясный,
пойдем со мною, брось тужить!
Мы в роще Марьиной прекрасной
с тобой, две Марьи, будем жить.

В метро на остановку „Сокол”
с тех пор я каждый день хожу.
Какой-то горестью высокой
горюю и вокруг гляжу.

И к этой Марье бесподобной
припав, как к доброму стволу,
потягиваю сок холодный
иль просто около стою.

1960

ПРОЩАНИЕ

А напоследок я скажу:
прощай, любить не обязуйся.
С ума схожу. Иль восхожу
к высокой степени безумства.

Как ты любил? — ты пригубил
погибели. Не в этом дело.
Как ты любил? — ты погубил,
но погубил так неумело.

Жестокость промаха... О, нет
тебе прощенья. Живо тело
и бродит, видит белый свет,
но тело мое опустело.

Работу малую висок
еще вершит. Но пали руки,
и стайкою, наискосок,
уходят запахи и звуки.

1960

Веничке Ерофееву

Кто знает — вечность или миг
мне предстоит бродить по свету.
За этот миг иль вечность эту
равно благодарю я мир.

Что б ни случилось, не клянусь,
а лишь благословляю лёгкость:
твоей печали мимолётность,
моей кончины тишину.

1960

ПЕЙЗАЖ

Еще ноябрь, а благодать
уж сыплется, уж смотрит с неба.
Иду и хоронюсь от света,
чтоб тенью снег не утрудять.

О стеклодув, что смысл дутья
так выразил в сосульках этих!
И, запрокинув свой беретик,
на вкус их пробует дитя.

И я, такая молодая,
со сладкой льдинкою во рту,
оскальзываясь, приседая,
по снегу белому иду.

1960

Мы соблюдаем правила зимы.
Играем мы, не уступая смеху
и придавая очертанья снегу,
приподнимаем белый снег с земли.

И будто бы предчувствуя беду,
прохожие толпятся у забора,
снедает их тяжелая забота:
а что с тобой имеем мы в виду?

Мы бабу лепим — только и всего.
О, это торжество и удивленье,
когда и высота и удлинение
зависят от движенья твоего.

Ты говоришь: — Смотри, как я леплю. —
Действительно, как хорошо ты лепишь
и форму от бесформенности лечишь.
Я говорю: — Смотри, как я люблю.

Снег уточняет все свои черты
и слушается нашего приказа.
И вдруг я замечаю, как прекрасно
лицо, что к снегу обращаешь ты.

Проходим мы по белому двору,
прохожих мимо, с выраженьем дерзким.
С лицом таким же пристальным и детским,
любимый мой, всегда играй в игру.

Поддайся его долгому труду,
о моего любимого работа!
Даруй ему удачливость ребенка,
рисующего домик и трубу.

1960

ЗИМНИЙ ДЕНЬ

Мороз, сиянье детских лиц,
и легче совладать с рассудком,
и зимний день — как белый лист,
еще не занятый рисунком.

Ждет заполнения пустота,
и мы ей сделаем подарок:
простор листа, простор холста
мы не оставим без помарок.

Как это делает дитя,
когда из снега бабу лепит, —
творить легко, творить шутя,
впадая в этот детский лепет.

И, слава Богу, всё стоит
тот дом среди деревьев дачных,
и моложав еще старик,
объявленный как неудачник.

Вот он выходит на крыльцо,
и от мороза голос сипнет,
и галка, отряхнув крыло,
ему на шапку снегом сыплет.

И стало быть, недорешен
удел, назначенный молвою,
и снова, словно дирижер,
он не робеет стать спиною.

Спиною к нам, лицом туда,
где звуки ждут его намёка,
и в этом первом „та-та-та”
как будто бы труда немного.

Но мы-то знаем, как велик
труд, не снискавший одобренья.
О зимний день, зачем велишь
работать так, до одуренья?

Позволь оставить этот труд
и бедной славой утешаться.
Но — снег из туч! Но — дым из труб!
И невозможно удержаться.

1960

Жила в позоре окаянном,
а всё ж душа — белым-бела.
Но если кто-то океаном
и был — то это я была.

О, мой купальщик боязливый!
Ты б сам не выплыл — это я
волною нежной и брезгливой
на берег вынесла тебя.

Что я наделала с тобою!
Как позабыла в той беде,
что стал ты рыбой голубою,
взлелеянной в моей воде!

Я за тобой приливом белым
вернулась. Нет за мной вины.
Но ты в своем испуге бедном
отпрянул от моей волны.

И повторяют вслед за мною,
и причитают все моря:
о, ты, дитя мое родное,
о, бедное — прости меня.

1960—1961

О, мой застенчивый герой,
ты ловко избежал позора.
Как долго я играла роль,
не опираясь на партнёра!

К проклятой помощи твоей
я не прибегнула ни разу.
Среди кулис, среди теней
ты спасся, незаметный глазу.

Но в этом сраме и бреду
я шла перед публикой жестокой —
всё на беду, всё на виду,
всё в этой роли одинокой.

О, как ты гоготал, партер!
Ты не прощал мне очевидность
бесстыжую моих потерь,
моей улыбки безобидность.

И жадно шли твои стада
напиться из моей печали.
Одна, одна — среди стыда
стою с упавшими плечами.

Но опрометчивой толпе
герой действительный не виден.
Герой, как боязно тебе!
Не бойся, я тебя не выдам.

Вся наша роль — моя лишь роль.
Я проиграла в ней жестоко.
Вся наша боль — моя лишь боль.
Но сколько боли. Сколько. Сколько.

1960—1961

Смотрю на женщин, как смотрели встарь,
с благоговением и выжиданьем.
О, как они умеют сесть, и встать,
и голову склонить над вышиваньем.

Но ближе мне могучий род мужчин,
раздумья их, сраженья и проказы.
Склоненные под тяжестью морщин,
их лбы так величавы и прекрасны.

Они — воители, творцы наук и книг.
Настаивая на высоком сходстве,
намереваюсь приравняться к ним
я в мастерстве своем и благородстве.

Я — им чета. Когда пришла пора,
присев на покачнувшиеся нары,
я, запрокинув голову, пила,
чтобы не пасть до разницы меж нами.

Нам выпадет один почёт и суд,
работавшим толково и серьезно.
Обратную разоблачая суть,
как колокол, звенит моя серёжка.

И в звоне том — смятенье и печаль,
незащищенность детская и слабость.
И доверяю я мужским плечам
неравенства томительную сладость.

1960—1961

Белла Ахмадулина

Так и живем — напрасно маясь,
в случайный веруя навет.
Какая маленькая малость
нас может разлучить навек.

Так просто вычислить, прикинуть,
что без тебя мне нет житья.
Мне надо бы к тебе приинкнуть.
Иначе поступаю я.

Припав на желтое сиденье,
сижу в косыночке простой
и направляюсь на съеденье
той темной станции пустой.

Иду вдоль белого кладбища,
оглядываюсь на кресты.
Звучат печально и комично
шаги мои среди темноты.

О, снизойди ко мне, разбойник,
присвистни в эту тишину.
Я удивленно, как ребенок,
в глаза недобрые взгляну.

Зачем я здесь, зачем ступаю
на темную тропу в лесу?
Вину какую искупаю
и наказание несую?

О, как мне надо возродиться
из этой тьмы и пустоты.
О, как мне надо возвратиться
туда, где ты, туда, где ты.

Так просто станет всё и цельно,
когда ты скажешь мне слова
и тяжело и драгоценно
ко мне склонится голова.

1960–1961

Из глубины моих невзгод
молюсь о милом человеке.
Пусть будет счастлив в этот год,
и в следующий, и вовеки.

Я, не сумевшая постичь
простого таинства удачи,
беду к нему не допустить
стараюсь так или иначе.

И не на радость же себе,
загородив его плечами,
ему и всей его семье
желаю миновать печали.

Пусть будет счастлив и богат.
Под бременем наград высоких
пусть подымает свой бокал
во здравие гостей веселых,

не ведая, как наугад
я билась головою оземь,
молясь о нём — средь неудач,
мне отведенных в эту осень.

1960—1961

ЖЕНЩИНЫ

Какая сладостная власть
двух женских рук, и глаз, и кожи.
Мы этой сладостию всласть
давно отравлены. И всё же —

какая сладостная власть
за ней, когда она выходит
и движется, вступая в вальс,
и нежно голову отводит.

И нету на неё суда!
В ней всё так тоненько, и ломко,
и ненадёжно. Но всегда
казнит меня головоломка:

при чём здесь я? А я при чём?
Ведь было и моим уделом
не любоваться тем плечом,
а поводить на свете белом.

И я сама ступала вскользь,
сама, сама, и в той же мере
глаза мои смотрели вкось
и дерзость нравиться имели.

Так неужели дело в том,
другом волненье и отваге,
и в отдалении глухом,
и в приближении к бумаге,

Белла Ахмадулина

где все художники равны
и одинаково приметны,
и женщине предпочтены
все посторонние предметы.

Да, где-то в памяти, в глуши
другое бодрствует начало.
Но эта сторона души
мужчин от женщин отличала.

О, им дано не рисковать,
а только поступать лукаво.
О, им дано не рисовать,
а только обводить лекало.

А разговоры их! А страсть
к нарядам! И привычка к смеху!
И всё-таки — какая власть
за нею, выходящей к свету!

Какой продуманный чертёж
лица и рук! Какая точность!
Она приходит — и в чертог
каморка расцветает тотчас.

Как нам глаза ее видны,
как всё в них тёмно и неверно!
И всё же — нет за ней вины,
и будь она благословенна.

1960–1961

ЗИМА

О жест зимы ко мне,
холодный и прилежный.
Да, что-то есть в зиме
от медицины нежной.

Иначе как же вдруг
из темноты и муки
доверчивый недуг
к ней обращает руки?

О милая, колдуй,
заденет лоб мой снова
целебный поцелуй
колечка ледяного.

И всё сильнее соблазн
встречать обман доверьем,
смотреть в глаза собак
и приникать к деревьям.

Прощать, как бы играть,
с разбега, с поворота,
и, завершив прощать,
простить еще кого-то.

Сравняться с зимним днем,
с его пустым овалом,
и быть всегда при нём
его оттенком малым.

Белла Ахмадулина

Свести себя на нет,
чтоб вызвать за стеною
не тень мою, а свет,
не заслоненный мною.

1961

БОЛЕЗНЬ

О боль, ты — мудрость. Суть решений
перед тобою так мелка,
и осеняет темный гений
глаз захворавшего зверька.

В твоих губительных пределах
был разум мой высок и скуп,
но трав целебных поределых
вкус мятный уж не сходит с губ.

Чтоб облегчить последний выдох,
я, с точностью того зверька,
принюхавшись, нашла свой выход
в печальном стебельке цветка.

О, всех простить — вот облегченье!
О, всех простить, всем передать
и нежную, как облученье,
вкусить всем телом благодать.

Прощаю вас, пустые скверы!
При вас лишь, в бедности моей,
я плакала от смутной веры
над капюшонами детей.

Прощаю вас, чужие руки!
Пусть вы протянуты к тому,
что лишь моей любви и муки
предмет, не нужный никому.

Белла Ахмадулина

Прощаю вас, глаза собачьи!
Вы были мне укор и суд.
Все мои горестные плачи
досель эти глаза несут.

Прощаю недруга и друга!
Целую наспех все уста!
Во мне, как в мертвом теле круга,
законченность и пустота.

И взрывы щедрые, и легкость,
как в белых дребезгах перин,
и уж не тягостен мой локоть
чувствительной черте перил.

Лишь воздух под мою кожей.
Жду одного: на склоне дня,
охваченный болезнью схожей,
пусть кто-нибудь простит меня.

1961

ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ

О, как люблю я пребыванье рук
в блаженстве той свободы пустяковой,
когда былой уже закончен труд
и — лень и сладко труд затеять новый.

Как труд былой томил меня своим
небыстрым ходом! Но — за проволочку —
теперь сполна я расквиталась с ним,
пощёчиной в него влепивши точку.

Меня прощает долгожданный сон.
Целует в лоб младенческая легкость.
Свободен — легкомысленный висок.
Свободен — спящий на подушке локоть:

Смотри, природа, — розов и мордаст,
так кротко спит твой бешеный сангвиник,
всем утомленьем вклеившись в матрац,
как зуб в десну, как дерево в суглинок.

О, спать да спать, терпеть счастливый гнёт
неведенья рассудком безрассудным.
Но день воскресный уж баклуши бьет
то детским плачем, то звонком посудным.

Напялив одичавший неуют
чужой плечам, остывшей за ночь кофты,
хозяйки, чтоб хозяйничать, встают,
и пробуждает ноздри запах кофе.

Белла Ахмадулина

Пора вставать! Бесстрастен и суров,
холодный душ уже развесил розги.
Я прыгаю с постели, как в сугроб —
из бани, из субтропиков — в морозы.

Под гильотину ледяной струи
с плеч голова покорно полетела.
О умывальник, как люты твои
чудовища — вода и полотенце.

Прекрасен день декабрьской теплоты,
когда туманы воздух утолщают
и зрелых капель чистые плоды
бесплодые зимних веток утешают.

Ну что ж, земля, сегодня — отдых мой,
ликую я — твой добрый обыватель,
вдыхатель твоей влажности густой,
твоих сосулеч теплых обрыватель.

Дай созерцать твой белый свет и в нём
не обнаружить малого пробела,
который я, в усердии моём,
восполнить бы желала и умела.

Играя в смех, в иные времена,
нога ледок любовно расколола.
Могуществом кофейного зерна
язык так пьян, так жаждет разговора.

И, словно дым, затмивший недра труб,
глубоко в горле возникает голос.
Ко мне крадется ненасытный труд,
терпящий новый и веселый голод.

Ждет насыщенья звуком немота,
зияя пустотою, как скворешник,
весну корящий, — разве не могла
его наполнить толчейей сердечек?

Прощай, соблазн воскресный! Меж дерев
мне не бродить. Но что всё это значит?
Бумаги белый и отверстый зев
ко мне взывает и участия алчет.

Иду — поить губами клюв птенца,
наскучившего и опять родного.
В ладонь склоняясь тяжестью лица,
я из безмолвья вызволяю слово.

В неловкой позе у стола присев,
располагаю голову и плечи,
чтоб обижал и ранил их процесс,
к устам влекущий восхождение речи.

Я — мускул, нужный для ее затей.
Речь так спешит в молчанье не погибнуть,
свершить звукорождение и затем
забыть меня навеки и покинуть.

Я для нее — лишь дудка, чтоб дудеть.
Пускай дудит и веселит окрестность.
А мне опять — заснуть, как умереть,
и пробудиться утром, как воскреснуть.

1961

ВСТУПЛЕНИЕ В ПРОСТУДУ

Прост путь к свободе, к ясности ума —
достаточно, чтобы озябли ноги.
Осенние прогулки вдоль дороги
располагают к этому весьма.

Грипп в октябре — всевидящ, как Господь.
Как ангелы на крыльях стрекозиных,
слетают насморки с небес предзимних
и нашу околдовывают плоть.

Вот ты проходишь меж деревьев и стен,
сам для себя неведомый и странный,
пока еще банальности туманной
костей твоих не обличил рентген.

Еще ты скушен, и здоров, и груб,
но вот тебе с улыбкой добродушной
простуда шлет свой поцелуй воздушный,
и медленно он достигает губ.

Отныне болен ты. Ты не должник
ни дружб твоих, ни праздничных процессий.
Благоговейно подтверждает Цельсий
твой сан особый среди людей иных.

Ты слышишь, как щекочет, как течет
под мышкой ртуть, она замрет — и тотчас
определит серебряная точность,
какой тебе оказывать почет.

И аспирин тягостный глоток
дарит тебе непринужденность духа,
благие преимущества недуга
и смелости недобрый холодок.

1962

МАЛЕНЬКИЕ САМОЛЕТЫ

Ах, мало мне другой заботы,
обременяющей чело, —
мне маленькие самолеты
всё снятся, не пойму с чего.

Им всё равно, как сниться мне:
то, как птенцы, с моей ладони
они зерно берут, то в доме
живут, словно сверчки в стене.

Иль тычутся в меня они
носами глупыми: рыбёшка
так ходит возле ног ребенка,
щекочет и смешит ступни.

Порой вокруг моего огня
они толкаются и слепнут,
читать мне не дают, и лепет
их крыльев трогает меня.

Еще придумали: детьми
ко мне пришли и со слезами,
едва с моих колен слезали,
кричали: „На руки возьми!”

А то глаза открою: в ряд
все маленькие самолеты,
как маленькие Соломоны,
всё знают и вокруг сидят.

Прогонишь — снова тут как тут:
из темноты, из блеска ваксы,
кося белком, как будто таксы,
тела их долгие плывут.

Что ж, он навек дарован мне —
сон жалостный, сон современный,
и в нём — ручной, несоразмерный
тот самолетик в глубине?

И всё же, отрезвев от сна,
иду я на аэродромы —
следить огромные те громы,
озвучившие времена.

Когда в преддверье высоты
всесильный действует пропеллер,
я думаю — ты всё проверил,
мой маленький? Не вырос ты.

Ты здесь огромным серебром
всех обманул — на самом деле
ты крошка, ты дитя, ты еле
заметен там, на голубом.

И вот мерцаем мы с тобой
на разных полюсах пространства.
Наверно, боязно расстаться
тебе со мной — такой большой?

Но там, куда ты вознесён,
во тьме всех позывных мелодий,
пускай мой добрый, странный сон
хранит тебя, о самолетик!

1962

ОСЕНЬ

Не действуя и не дыша,
всё слаще обмирает улей.
Всё глубже осень, и душа
всё опытнее и округлей.

Она вовлечена в отлив
плода, из пустяка пустого
отлитого. Как кропотлив
труд осенью, как тяжело слово.

Значительнее, что ни день,
природа ум обременяет,
похожая на мудрость лень
уста молчаньем осеняет.

Даже дитя, велосипед
влекущее,
вертя педалью,
вдруг поглядит на белый свет
с какой-то ясною печалью.

1962

ПАМЯТИ БОРИСА ПАСТЕРНАКА

Начну издалека, не здесь, а там,
начну с конца, но он и есть начало.
Был мир как мир. И это означало
всё, что угодно в этом мире вам.

В той местности был лес, как огород, —
так невелик и все-таки обширен.
Там, прихотью младенческих ошибок,
всё было так и всё наоборот.

На маленьком пространстве тишины
был дом как дом. И это означало,
что женщина в нем головой качала
и рано были лампы зажжены.

Там труд был лёгок, как урок письма,
и кто-то — мы еще не знали сами —
замаливал один пред небесами
наш грех несовершенного ума.

В том равновесье меж добром и злом
был он повинен. И земля летела
неосторожно, как она хотела,
пока свеча горела над столом.

Прощалось и невежде и лгуну —
какая разница? — пред белым светом,
позволив нам не хлопотать об этом,
он искупал всеобщую вину.

Белла Ахмадулина

Когда же им оставленный пробел
возник над миром, около восхода,
толчком заторможенная природа
переместила тяжесть наших тел.

Объединенных бедною гурьбой,
врасплох нас наблюдала необъятность,
и наших недостойнств неприглядность
уже никто не возмещал собой.

В тот дом езжали многие. И те
два мальчика в рубашках полосатых
без робости вступали в палисадник
с малиною, темневшей в темноте.

Мне доводилось около бывать,
но я чужда привычке современной
налаживать контакт несоразмерный,
в знакомстве быть и имя называть.

По вечерам мне выпадала честь
смотреть на дом и обращать молитву
на дом, на палисадник, на малину —
то имя я не смела произнести.

Стояла осень, и она была
лишь следствием, но не залогом лета.
Тогда еще никто не знал, что эта
окружность года не была кругла.

Сурово избегая встречи с ним,
я шла в деревья, в неизбежность встречи,
в простор его лица, в протяжность речи...
Но рифмовать пред именем твоим?
О нет.

Он неожиданно вышел из убогой чащи переделкин-
ских деревьев поздно вечером, в октябре, более двух лет назад.
На нём был грубый и опрятный костюм охотника: синий

плащ, сапоги и белые вязаные варежки. От нежности к нему, от гордости к себе я почти не видела его лица — только ярко-белые вспышки его рук во тьме слепили мне уголки глаз. Он сказал: „О, здравствуйте! Мне о вас рассказывали, и я вас сразу узнал. — И вдруг, вложив в это неожиданную силу переживания, взмолился: — Ради Бога! Извините меня! Я именно теперь должен позвонить!” Он вошел было в маленькое здание какой-то конторы, но резко вернулся, и из крошечной темноты мне в лицо ударило, плеснуло яркой светлостью его лица, лбом и скулами, люминесцирующими при слабой луне. Меня охватил сладко-ледяной, шекспировский холодок за него. Он спросил с ужасом: „Вам не холодно? Ведь дело к ноябрю?” — и, смутившись, неловко впятился в низкую дверь. Прислонясь к стене, я телом, как глухой, слышала, как он говорил с кем-то, словно настойчиво оправдываясь перед ним, окружая его заботой и любовью голоса. Спина и ладонями я впитывала диковинные приёмы его речи — нарастающее пение фраз, доброе восточное бормотание, обращенное в невнятный трепет и гул дощатых перегородок. Я, и дом, и кусты вокруг нечаянно попали в обильные объятия этой округло-любовной, величественно-деликатной интонации. Затем он вышел, и мы сделали несколько шагов вместе по заросшей пнями, сучьями, изгородями, чрезвычайно неудобной для ходьбы земле. Но он легко, по-домашнему ладил с корявой бездной, сгустившейся вокруг нас, — с выпяченными, сверкающими звездами, с впадиной на месте луны, с кое-как поставленными, неуютными деревьями. Он сказал: „Отчего вы никогда не заходите? У меня иногда бывают очень милые и интересные люди — вам не будет скучно. Приходите же! Приходите завтра”. От низкого головокружения, овладевшего мной, я ответила надменно: „Благодарю вас. Как-нибудь я непременно зайду”.

Из леса, как из-за кулис актер,
он вынес вдруг высокопарность позы,
при этом не выгадывая пользы
у зрителя, — и руки распростер.

Белла Ахмадулина

Он сразу был театром и собой,
той древней сценой, где прекрасны речи.
Сейчас начало! Гаснет свет! Сквозь плечи
уже мерцает фосфор голубой.

— О, здравствуйте! Ведь дело к ноябрю —
не холодно ли? — вот и всё, не боле.
Как он играл в единственной той роли
всемирной ласки к людям и зверью.

Вот так играть свою игру — шутя!
всерьез! до слёз! навеки! не лукавя! —
как он играл, как, молоко лакая,
играет с миром зверь или дитя.

— Прощайте же! — так петь между людьми
не принято. Но так поют у рампы,
так завершают монолог той драмы,
где речь идет о смерти и любви.

Уж занавес! Уж освещают тьму!
Еще не всё: — Так заходите завтра! —
О тон гостеприимного азарта,
что ведом лишь грузинам, как ему.

Но должен быть такой на свете дом,
куда войти — не знаю! невозможно!
И потому, навек неосторожно,
я не пришла ни завтра, ни потом.

Я плакала меж звёзд, дерев и дач —
после спектакля, в гаснущем партере,
над первым предвкушением потери
так плачут дети, и велик их плач.

* * *

Он утверждал: „Между теплиц
и льдин, чуть-чуть южнее рая,

на детской дудочке играя,
живет вселенная вторая
и называется — Тифлис”.

Ожог глазам, рукам — простуда,
любовь моя, мой плач — Тифлис!
Природы вогнутый карниз,
где Бог капризный, впав в каприз,
над миром примостил то чудо.

Возник в моих глазах туман,
брала разбег моя ошибка,
когда тот город зыбко-зыбко
лёг полукружьем, как улыбка
благословенных уст Тамар.

Не знаю, для какой потехи
сомкнул он надо мной овал,
поцеловал, околдовал
на жизнь, на смерть и наповал —
быть вечным узником Метехи.

О, если бы из вод Куры
не пить мне!
И из вод Арагвы
не пить!

И сладости отравы
не ведать!
И лицом в те травы
не падать!

И вернуть дары,
что ты мне, Грузия, дарила!

Но поздно! Уж отпит глоток,
и вечен хмель, и видит Бог,
что сон мой о тебе — глубок,
как Алазанская долина.

1962

Белла Ахмадулина

Когда б спросили... — некому спросить:
 пустынна переделкинская осень.
 Но я — как раз о ней! Пусть спросят синь
 и желтизна, пусть эта церковь спросит,
 когда с лучом играет на холме,
 пусть спросит холм, скрывающий покуда,
 что с ним вовек не разминуться мне,
 и ветхий пруд, и дерево у пруда,
 пусть осень любопытствует: куда,
 зачем спешу по направлению к лету
 вспять увяданья? И причем Кура,
 когда пора подумывать про Лету?
 И я скажу: — О местность! О судьба!
 О свет в окне единственного дома!
 Дай миг изъять из моего всегда,
 тебе принадлежащего надолго,
 дай неизбежность обежать кругом
 и уж потом ее настигнуть бегом,
 дай мне увидеть землю роз и гор
 с их неземным и отстраненным снегом,
 дай Грузию по имени назвать,
 моей назвать, плениться белым светом
 и над Курою постоять. Как знать?
 Быть может — нет... а всё ж,
 вдруг — напоследок?

1962

СИМОНУ ЧИКОВАНИ

Явиться утром в чистый север сада,
в глубокий день зимы и снегопада,
когда душа свободна и проста,
снегов успокоителен избыток
и пресной льдинки маленький напиток
так развлекает и смешит уста.

Всё нужное тебе — в тебе самом,—
подумать и увидеть, что Симон
идет один к заснеженной ограде.
О нет, зимой мой ум не так умен,
чтобы поверить и спросить: — Симон,
как это может быть при снегопаде?

И разве ты не вовсе одинаков
с твоей землею, где, навек заплакав
от нежности, всё плачет тень моя,
где над Курой, в объятой Богом Мцхете,
в садах зимы берут фиалки дети,
их называя именем „Иа“?

И коль ты здесь, кому теперь видна
пустая площадь в три больших окна
и цирка детский круг кому заметен?
О, дома твоего беспечный храм,
прилив вина и лепета к губам
и пение, что следует за этим!

Меж тем всё просто: рядом то и это,
и в наше время от зимы до лета

Белла Ахмадулина

полгода жизни, лёта два часа.
И приникаю я лицом к Симону
всё тем же летом, тою же зимою,
когда цветам и снегу нет числа.

Пусть же всё само собой идет:
сам прилетел по небу самолет,
сам самовар нам чай нальет в стаканы.
Не будем звать, но сам придет сосед
для добрых восклицаний и бесед,
и голос сам заговорит стихами.

Я говорю себе: твой гость с тобою,
любуйся его милой худобою,
возьми себе, не отпускай домой.
Но уж звонит во мне звонок испуга:
опять нам долго не видать друг друга
в честь разницы меж летом и зимой.

Простились, ничего не говоря.
Я предалась заботам января,
вздыхнув во сне легко и сокровенно.
И снова я тоскую поутру.
И в сад иду, и веточку беру,
и на снегу пишу я: Сакартвело.

1963

СОН

О опрометчивость моя!
Как видеть сны мои решаюсь?
Так дорого платить за шалость —
заснуть?
Но засыпаю я.

И снится мне, что свеж и скуп
сентябрьский воздух. Всё знакомо:
осенняя пригожесть дома,
вкус яблок, не сходящий с губ.

Но незнакомый садовод
возделывает сад знакомый
и говорит, что он законный
владелец.
И войти зовет.

Войти? Как можно? Столько раз
я знала здесь печаль и гордость,
и нежную шагов нетвердость,
и нежную незрячесть глаз.

Уж минуло так много дней.
А нежность — облаком вчерашним,
а нежность — обмороком влажным
меня омыла у дверей.

Но садоводова жена
меня приветствует жеманно.

Белла Ахмадулина

Я говорю:
— Как здесь туманно...
И я здесь некогда жила.

Я здесь жила — лет сто назад.
— Лет сто? Вы шутите?
— Да нет же!
Шутить теперь? Когда так нежно
столетьем прошлым пахнет сад?

Сто лет прошло, а всё свежи
в ладонях нежности
к родимой
коре деревьев.
Запах дымный
в саду всё тот же.
— Не скажи! —
промолвил садовод в ответ.
Затем спросил:
— Под паутиной,
со старомодной чёлкой длинной,
не ваш ли в чердаке портрет?

Ваш сильно изменился взгляд
с тех давних пор, когда в кручине,
не помню, по какой причине,
вы умерли — лет сто назад.
— Возможно, но — жить так давно,
лишь тенью в чердаке остаться,
и всё затем, чтоб не расстаться
с той нежностью?
Вот что смешно.

1963

Люблю, Марина, что тебя, как всех,
что, как меня, —
озябшею гортанью
не говорю: тебя — как свет! как снег! —
усильем шеи, будто лёд глотаю,
стараюсь вымолвить: тебя, как всех,
учили музыке. (О, крах ученья!
Как если бы, под Бóгов плач и смех,
свече внушали правила свеченья.)

Не ладили две равных темноты:
рояль и ты — два совершенных круга,
в тоске взаимной глухонемоты
терпя иноязычие друг друга.

Два мрачных исподлобья сведены
в неразрешимой и враждебной встрече:
рояль и ты — две сильных тишины,
два слабых горла: музыки и речи.

Но твоего сиротства перевес
решает дело. Что рояль? Он узник
безгласности, покуда в до диес
мизинец свой не окунет союзник.

А ты — одна. Тебе — подмоги нет.
И музыке трудна твоя наука —
не утруждая ранящий предмет,
открыть в себе кровотечение звука.

Марина, до! До — детства, до — судьбы,
до — ре, до — речи, до — всего, что после,
равно, как вместе мы склоняли лбы
в той общедетской предрояльной позе,
как ты, как ты, вцепившись в табурет, —
о, карусель и Гедике ненужность! —
раскручивать сорвавшую берет,
свистящую вокруг головы окружность.

Марина, это всё — для красоты
придумано, в расчете на удачу
раз накричатся: я — как ты, как ты!
И с радостью бы крикнула, да — плачу.

Октябрь 1963

Случилось так, что двадцати семи
лет от роду мне выпала отрада
жить в замкнутости дома и семьи,
расширенной прекрасным кругом сада.

Себя я предоставила добру,
с которым справедливая природа
следит за увяданием в бору
или решает участь огорода.

Мне нравилось забыть печаль и гнев,
не ведать мысли, не промолвить слова
и в детском неразумии дерев
терпеть заботу гения чужого.

Я стала вдруг здорова, как трава,
чиста душой, как прочие растенья,
не более умна, чем дерева,
не более жива, чем до рожденья.

Я улыбалась ночью в потолок,
в пустой пробел, где близко и приметно
белел во мраке очевидный Бог,
имевший цель улыбки и приветя.

Была так неизбежна благодать
и так близка большая ласка Бога,
что прядь со лба — чтоб легче целовать —
я убирала и спала глубоко.

Как будто бы надолго, на века,
я углублялась в землю и деревья.
Никто не знал, как му́ка велика
за дверью моего уединенья.

1964

В ОПУСТЕВШЕМ ДОМЕ ОТДЫХА

Впасть в обморок беспамятства, как плод,
уснувший тихо средь ветвей и грядок,
не сознавать свою живую плоть,
ее чужой и грубый беспорядок.

Вот яблоко, возникшее вчера.
В нём — мышцы влаги, красота пигмента,
то тех, то этих действий толчея.
Но яблоку так безразлично это.

А тут, словно с оравую детей,
не совладаешь со своим же телом,
не предусмотритишь всех его затей,
не расплетишь его переплетений.

И так надоедает под конец
в себя смотреть, как в пациента лекарь,
всё время слышать треск своих сердец
и различать щекотный бег молекул.

И отвернуться хочется уже,
вот отвернусь, но любопытно глазу.
Так музыка на верхнем этаже
мешает и заманивает сразу.

В глуши, в уединении моем,
под снегом, вырастающим на кровле,
живу одна и будто бы вдвоем —
со вздохом в лёгких, с удареньем крови.

Белла Ахмадулина

То улыбнусь, то пискнет голос мой,
то бьется пульс, как бабочка в ладони.
Ну, слава Богу, думаю, живой
остался кто-то в опустевшем доме.

И вот тогда тебя благодарю,
мой организм, живой зверёк природы,
верши, верши простую жизнь свою,
как солнышко, как лес, как огороды.

И впредь играй, не ведай немоты!
В глубоком одиночестве, зимою,
я всласть повеселюсь среди пустоты,
тесно́ и шумно населенной мною.

1964

ТОСКА ПО ЛЕРМОНТОВУ

О Грузия, лишь по твоей вине,
когда зима грязна и белоснежна,
печаль моя печальна не вполне,
не до конца надежда безнадежна.

Одну тебя я счастливо люблю,
и лишь твое лицо не лицемерно.
Рука твоя на голову мою
ложится благосклонно и целебно.

Мне не застать врасплох твоей любви.
Открытыми объятия ты держишь.
Все говоры, все шепоты твои
мне на ухо нашепчешь и утетишь.

Но в этот день не так я молода,
чтоб выбирать меж севером и югом.
Свершилась поздней осени беда,
былой уют украсив неуютом.

Лишь черный зонт в моих руках гремит,
живой, упругий мускул в нём напрягся.
То, что тебя покинуть норовит, —
пускай покинет, что́ держать напрасно.

Я отпускаю зонт и не смотрю,
как будет он использовать свободу.
Я медленно иду по октябрю,
сквозь воду и холодную погоду.

Белла Ахмадулина

В чужом доме, не знаю почему,
я бег моих колен остановила.
Вы пробовали жить в чужом доме?
Там хорошо. И вот как это было.

Был подвиг одиночества свершен,
и я могла уйти. Но так случилось,
что в этом доме, в ванной, жил сверчок,
поскрипывал, оказывал мне милость.

Моя душа тогда была слаба,
и потому — с доверьем и тоскою —
тот слабый скрип, той песенки слова
я полюбила слабою душою.

Привыкла вскоре добрая семья,
что так, друг друга не опровергая,
два пустяка природы — он и я —
живут тихонько, песенки слагая.

Итак — я здесь. Мы по ночам не спим,
я запою — он отвечать умеет.
Ну, хорошо. А где же снам моим,
где им-то жить? Где их бездомность реет?

Они все там же, там, где я была,
где высочайший юноша вселенной
меж туч и солнца, меж добра и зла
стоял вверху горы уединенной.

О, там, под покровительством горы,
как в медленном недоуменье танца,
течения Арагвы и Куры
ни встретиться не могут, ни расстаться.

Внизу так чист, так мрачен Мцхетский храм.
Души его воинственна молитва.
В ней гром мечей, и лошадиный храп,
и вечная за эту землю битва.

Где он стоял? Вот здесь, где монастырь
еще живет всей свежестью размаха,
где малый камень с легкостью вместил
великую тоску того монаха.

Что, мальчик мой, великий человек?
Что сделал ты, чтобы воскреснуть болью
в моём мозгу и чернотой меж век,
всё плачущей над маленьким тобою?

И в этой, Богом замкнутой судьбе,
в твоей высокой муке превосходства,
хотя б сверчок любимому, тебе,
сверчок играл средь твоего сиротства?

Стой на горе! Не уходи туда,
где — только-то! — через четыре года
сомкнется над тобою навсегда
пустая, совершенная свобода!

Стой на горе! Я по твоим следам
найду тебя под солнцем, возле Мцхета.
Возьму себе всем зреньем, не отдам,
и ты спасен уже, и вечно это.

Стой на горе! Но чем к тебе добрей
чужой земли таинственная новость,
тем яростней соблазн земли твоей,
нужней ее сладчайшая суровость.

1964

ЗИМНЯЯ ЗАМКНУТОСТЬ

Булату Окуджаве

Странный гость побывал у меня в феврале.
Снег занес мою крышу еще в январе,
предоставив мне замкнутость дум и деяний.
Я жила взаперти, как огонь в фонаре
или как насекомое, что в янтаре
уместилось в простор тесноты идеальной.

Странный гость предо мною внезапно возник,
и тем более странен был этот визит,
что снега мою дверь охраняли сурово.
Например — я зерно моим птицам несла.
„Можно ль выйти наружу?“ — спросила. „Нельзя“, —
мне ответила сильная воля сугроба.

Странный гость, говорю вам, неведомый гость.
Он прошел через стенку насквозь, словно гвоздь,
кем-то вбитый извне для неведомой цели.
Впрочем, что же еще оставалось ему,
коль в дому, замурованном в снежную тьму,
не осталось для входа ни двери, ни щели.

Странный гость — он в гостях не гостил, а царил.
Он огнем исцелил свой промокший цилиндр,
из-за пазухи выпустил свинку морскую
и сказал: „О, пардон, я продрог, и притом
я ушибся, когда проходил напролом
в этот дом, где теперь простудиться рискую“.

Я сказала: „Огонь вас утешит, о гость.
Горсть орехов, вина быстротечная гроздь —

вот мой маленький юг среди выюг справедливых.
Что касается бедной царевны морей —
ей давно приготовлен любовью моей
плод капусты, возвращенный в нездешних заливах”.

Странный гость похвалился: „Заметьте, мадам,
что я склонен к слезам, но не склонны к следам
мои ноги промокшие. Весь я — загадка!”
Я ему объяснила, что я не педант
и за музыкой я не хожу по пятам,
чтобы видеть педаль под ногой музыканта.

Странный гость закричал: „Мне не нравится тон
ваших шуток! Потом будет жуток ваш стон!
Очень плохи дела ваших духа и плоти!
Потому без стыда я явился сюда,
что мне ведома бедная ваша судьба”.
Я спросила его: „Почему вы не пьете?”

Странный гость не побрезговал выпить вина.
Опрометчивость уст его речи свела
лишь к ошибкам, улыбкам и доброму плачу:
„Протяжение спора угодно душе!
Вы — дитя мое, баловень и протезе.
Я судьбу вашу как-нибудь переиначу.

Ведь не зря вещей зверь чистой шерстью белел —
ошибитесь, возьмите счастливый билет!
Выбирайте любую утеху мирскую!”
Поклонилась я гостю: „Вы очень добры,
до поры отвергаю я ваши дары.
Но спасите прекрасную свинку морскую!

Не она ль мне по злomu сиротству сестра?
Как остра эта грусть — озираться со сна
среди стихии чужой, а к своей не пробиться.
О, как нежно марина, моряна, моря
неизбежно манят и минуют меня,
оставляя мне детское зренье провидца.

В остальном — благодарна я доброй судьбе.
Я живу, как желаю, — сама по себе.
Бог ко мне справедлив и любезен издатель.
Старый пес мой взмывает к щеке, как щенок.
И широк дивный выбор всевышних щедрот:
ямб, хорей, амфибрахий, анапест и дактиль.

А вчера колокольчик в полях дребезжал.
Это старый товарищ ко мне приезжал.
Зря боялась — а вдруг он дороги не сыщет?
Говорила: когда тебя вижу, Булат,
два зрачка от чрезмерности зренья болят,
беспорядок любви в моём разуме свищет”.

Странный гость засмеялся. Он знал, что я лгу.
Не бывало саней в этом сиром снегу.
Мой товарищ с товарищем пьет в Ленинграде.
И давно уж собака моя умерла —
стало меньше дыханьем в груди у меня.
И чураются руки пера и тетради.

Странный гость подтвердил: „Вы несчастны теперь”.
В это время открылась закрытая дверь.
Снег всё падал и падал, не зная убытка.
Сколь вошедшего облик был смел и пригож!
И влекла петербургская кожа калош
след — лукавый и резвый, как будто улыбка.

Я надеюсь, что гость мой поймет и зачтет,
как во мраке лица серебрился зрачок,
как был рус африканец и смугл россиянин!
Я подумала — скоро конец февралю —
и сказала вошедшему: „Радость! Люблю!
Хорошо, что меж нами не быть расставаньям!”

1965

НОЧЬ

Андрею Смирнову

Уже рассвет темнеет с трёх сторон,
а всё руке недостает отваги,
чтобы пробиться к белизне бумаги
сквозь воздух, затвердевший над столом.

Как непреклонно честный разум мой
стыдится своего несовершенства,
не допускает руку до блаженства
затеять ямб в беспечности былой!

Меж тем, когда полна значенья тьма,
ожог во лбу от выдумки неточной,
мощь кофеина и азарт полночный
легко принять за остроту ума.

Но, видно, впрямь велик и невредим
рассудок мой в безумье этих бдений,
раз возбужденье, жаркое, как гений,
он всё ж не счел достоинством своим.

Ужель грешно своей беды не знать!
Соблазн так сладок, так невинна малость —
нарушить этой ночи безымянность
и всё, что в ней, по имени назвать.

Пока руке бездействовать велю,
любой предмет глядит с кокетством женским,
красуется, следит за каждым жестом,
нацеленным ему воздать хвалу.

Белла Ахмадулина

Уверенный, что мной уже любим,
бубнит и клянчит голосок предмета,
его душа желает быть воспета,
и непременно голосом моим.

Как я хочу благодарить свечу,
любимый свет ее предать огласке
и предоставить неусыпной ласке
эпитетов! Но я опять молчу.

Какая боль — под пыткой немоты
всё ж не признаться ни единым словом
в красе всего, на что зрачком суровым
любовь моя глядит из темноты!

Чего стыжусь? Зачем я не вольна
в пустом доме, средь снежного разлива,
писать не хорошо, но справедливо —
про дом, про снег, про синеву окна?

Не дай мне Бог бесстыдства пред листом
бумаги, беззащитной предо мною,
пред ясной и бесхитростной свечою,
перед моим, плывущим в сон, лицом.

1965

Последний день живу я в странном доме,
чужом, как все дома, где я жила.
Загнав зрачки в укрытие ладони,
прохлада дня сияет, как жара.

В красе земли — беспечность совершенства.
Бела бумага.
Знаю, что должна
блаженствовать я в этот час блаженства.
Но вновь молчит и бедствует душа.

1965

СЛОВО

„Претерпевая медленную юность,
впадаю я то в дерзость, то в угрюмость,
пишу стихи, мне говорят: порви!
А вы так просто говорите слово,
вас любит ямб, и жизнь к вам благосклонна” —
так написал мне мальчик из Перми.

В чужих потёмках выключатель шаря,
хозяевам вслепую спать мешая,
о воздух спотыкаясь, как о пень,
стыдясь своей громоздкой неудачи,
над каждой книгой обмирая в плаче,
я вспомнила про мальчика и Пермь.

И впрямь — в Перми живет ребенок странный,
владеющий высокой и пространной,
невнятной речью, и, когда горит
огонь созвездий, принятых над Пермью,
озябшим горлом, не способным к пенью,
ребенок этот слово говорит.

Как говорит ребенок! Неужели
во мне иль в ком-то, в неживом ущелье
гортани, погруженной в темноту,
была такая чистота проёма,
чтоб уместить во всей красе объема
всезнающего слова полноту?

О нет, во мне — то всхлип, то хрип, и снова
насущенный шум, занявший место слова

там, в лёгких, где теснятся дым и тень,
и шее не хватает мощи бычьей,
чтобы дыханья суетный обычай
вершить было не трудно и не лень.

Звук немоты, железный и корявый,
терзает горло ссадиной кровавой,
заговорю — и обагрю платок.
В безмолвие, как в землю, погребенной,
мне странно знать, что есть в Перми ребенок,
который слово выговорить мог.

1965

НЕМОТА

Кто же был так силен и умен?
Кто мой голос из горла увел?
Не умеет заплакать о нём
рана черная в горле моём.

Сколь достойны любви и хвалы,
март, простые деянья твои,
но мертвы моих слов соловьи,
и теперь их сады — словари:

— О, воспой! — умоляют уста
снегопада, обрыва, куста.
Я кричу, но, как пар изо рта,
округлилась у губ немота.

Задыхаюсь, идохну, и лгу,
что еще не останусь в долгу
пред красою деревьев в снегу,
о которой сказать не могу.

Вдохновенье — чрезмерный, сплошной
вдох мгновенья душою немой,
не спасет ее выдох иной,
кроме слова, что сказано мной.

Облегчить переполненный пульс —
как угодно, нечаянно, пусть!
И во всё, что воспеть тороплюсь,
воплещусь навсегда, наизусть.

А за то, что была так нема,
и любила всех слов имена,
и устала вдруг, как умерла, —
сами, сами воспойте меня.

1966

ДРУГОЕ

Что сделалось? Зачем я не могу,
уж целый год не знаю, не умею
слагать стихи и только немоту
тяжелую в моих губах имею?

Вы скажете — но вот уже строфа,
четыре строчки в ней, она готова.
Я не о том. Во мне уже стара
привычка ставить слово после слова.

Порядок этот ведает рука.
Я не о том. Как это прежде было?
Когда происходило — не строка —
другое что-то. Только что? — забыла.

Да, то, другое, разве знало страх,
когда шалило голосом так смело,
само, как смех, смеялось на устах
и плакало, как плач, если хотело?

1966

СУМЕРКИ

Есть в сумерках блаженная свобода
от явных чисел века, года, дня.
Когда? — неважно. Вот открытость входа
в глубокий парк, в далекий мельк огня.

Ни в сырости, насытившей соцветья,
ни в деревьях, исполненных любви,
нет доказательств этого столетья, —
бери себе другое — и живи.

Ошибкой зренья, заблуждением духа
возвращена в аллеи старины,
бреду по ним. И встречающая старуха,
словно признав, глядит со стороны.

Средь бела дня пустынно это место.
Но в сумерках мои глаза вольны
увидеть дом, где счастливо семейство,
где невпопад и пылко влюблены,

где вечно ждут гостей на именины —
шуметь, краснеть и руки целовать,
где и меня к себе рукой манили,
где никогда мне гостем не бывать.

Но коль дано их голосам беспечным
стать тишиною неба и воды, —
чьи пальчики по клавишам лепечут?
Чьи кружева вступают в круг беды?

Белла Ахмадулина

Как мне досталась милость их привета,
тот медленный, затеянный людьми,
старинный вальс, старинная примета
чужой печали и чужой любви?

Еще возможно для ума и слуха
вести игру, где действуют река,
пустое поле, дерево, старуха,
деревня в три незрячих огонька.

Души моей невнятная улыбка
блуждает там, в беспамятстве, вдали,
в той родине, чья странная ошибка
даст мне чужбину речи и земли.

Но темнотой испуганный рассудок
трезвеет, рыщет, снова хочет знать
живых вещей отчетливый рисунок,
мой век, мой час, мой стол, мою кровать.

Еще плутая в омуте росистом,
я слышу, как на диком языке
мне шлет свое проклятие транзистор,
зажатый в непреклонном кулаке.

1966

Четверть века, Марина, тому,
как Елабуга ластится раем
к отдохнувшему лбу твоему,
но и рай ему мал и неравен.

Неужели к всеведенью мук,
что тебе удалось как удача,
я добавлю бесформенный звук
дважды мною пропетого плача?

Две бессмыслицы — мертв и мертва,
две пустынности, два ударенья —
царскосельских садов дерева,
переделкинских рощиц деревья.

И усиьем двух этих кончин
так исчерпана будущность слова.
Не осталось ни уст, ни причин,
чтобы нам затевать его снова.

Впрочем, в этой утрате суда
есть свобода и есть безмятежность:
перед кем пламенеть от стыда,
оскорбляя страниц белоснежность?

Как любила! Возможно ли злей?
Без прощенья, без обещанья
имена их любовью твоей
были сосланы в даль обожанья.

Среди всех твоих бед и плетей
только два тебе есть утешенья:
что не знала двух этих смертей
и воспела два этих рожденья.

1966

ПЛОХАЯ ВЕСНА

Пока клялись беспечные снега
блистать и стыть с прилежностью металла,
пока пуховой шали не сняла
та девочка, которая мечтала
склонить к плечу оранжевый берет,
пустить на волю локти и колени,
чтоб не ходить, но совершать балет
хожденья по оттаявшей аллее,
пока апрель не затевал возни,
угодной насекомым и растениям, —
взяв на себя несчастный труд весны,
безумцем становился неврастеник.

Среди гардин зимы, среди гордынь
сугробов, ледаколов, конькобежцев
он гнев весны претерпевал один,
став жертвою ее причуд и бешенств.

Он так поспешно окна открывал,
как будто смерть предпочитал неволе,
как будто бинт от кожи отрывал,
не устояв перед соблазном боли.

Что было с ним, сорвавшим жалюзи?
То ль сильный дух велел искать исхода,
то ль слабость щитовидной железы
выпрашивала горьких лакомств йода?

Он сам не знал, чьи силы, чьи труды
владеют им. Но говорят преданья,

Белла Ахмадулина

что, ринувшись на поиски беды, —
как выгоды, он возжелал страданья.

Он закричал: — Грешна моя судьба!
Не гений я! И, стало быть, впустую,
гордясь огромной выпуклостью лба,
лелеял я лишь опухоль слепую!

Он стал бояться перьев и чернил.
Он говорил в отчаянной отваге:
— О Господи! Твой худший ученик,
я никогда не оскверню бумаги.

Он сделался неистов и угрюм.
Он всё отринул, что грозит блаженством.
Желал он мукой обострить свой ум,
побрезговав его несовершенством.

В груди птенцы пищали: не хотим!
Гнушаясь их мольбою бесполезной,
вбивал он алкоголь и никотин
в их слабый зев, словно сапог железный.

И проклял он родимый дом и сад,
сказав: — Как страшно просыпаться утром!
Как жжется этот раскаленный ад,
который именуется уютом!

Он жил в чужом доме, в чужом саду, —
и тем платил хозяйке любопытной,
что, голый и огромный, на виду
у всех вершил свой пир кровопролитный.

Ему давали пищи и питья,
шептались меж собой, но не корили
затем, что жутким будням их бытья
он приходился праздником корриды.

Он то в пустой пельменной горевал,
то пил коньяк в гостиных полусвета

и понимал, что это — гонорар
за представленье: странности поэта.

Ему за то и подают обед,
который он с охотою съедает,
что гостья, умница, искусствовед,
имеет право молвить: — Он страдает!

И он страдал. Об острие угла
разбил он лоб, казня его ничтожность,
но не обрел достоинства ума
и не изведал истин непреложность.

Проснувшись ночью в серых простынях,
он клял дурного мозга неприличие,
и высоко над ним плыл Пастернак
в опрятности и простоте величья.

Он снял портрет и тем отверг упрек
в проступке суеты и нетерпенья.
Виновен ли немой, что он не мог
использовать гортань для песнопенья?

Его встречали в чайных и пивных,
на площадях и на скамьях вокзала.
И, наконец, он головой поник
и так сказал (вернее, я сказала):

— Друзья мои, мне минет тридцать лет,
увы, итог тридцатилетья скуден.
Мой подвиг одиночества нелеп,
и суд мой над собою безрассуден.

Бог точно знал, кому какая честь,
мне лишь одна — не много и не мало:
всегда пребуду только тем, что есть,
пока не стану тем, чего не стало.

Так в чём же смысл и польза этих мук,
привнесших в кожу белый шрам ожога?

Белла Ахмадулина

Ужели в том, что мимолетный звук
мне явится, и я скажу: так много?

Затем свечу зажгу, перо возьму,
судьбе моей воздам благодаренье,
припомню эту бедную весну
и напишу о ней стихотворенье.

1967

А.Н.Корсаковой

Весной, весной, в ее начале,
я опечалившись жила.
Но там, во мгле моей печали,
о, как я счастлива была,

когда в моем доме любимом
и меж любимыми людьми
плыл в небеса опасным дымом
избыток боли и любви.

Кем приходились мы друг другу,
никто не знал, и всё равно —
нам, словно замкнутому кругу,
терпеть единство суждено.

И ты, прекрасная собака,
ты тоже здесь, твой долг высок
в том братстве, где собрат собрата
терзал и пестовал, как мог.

Но в этом трагедийном действе
былых и будущих утрат
свершался, словно сон о детстве,
спасающий меня антракт,

когда к обеду накрывали,
и жизнь моя была проста,
и Александры Николавны
являлась странность и краса.

Белла Ахмадулина

Когда я на нее глядела,
я думала: не зря, о, нет,
а для таинственного дела
мы рождены на белый свет.

Не бесполезны наши муки,
и выгоды не сосчитать
затем, что знают наши руки,
как холст и краски сочетать.

Не зря обед, прервавший беды,
готов и пахнет, и твердят
всё губы детские обеты
и яства детские едят.

Не зря среди праздника иль казни,
то огненны, то вдруг черны,
несчастны мы или прекрасны,
и к этому обречены.

1967

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Всё началось далекою порой,
в младенчестве, в его начальном классе,
с игры в многозначительную роль:
быть Мусею, любимой меньше Аси.

Бегом, в Тарусе, босиком, в росе,
без промаха — непоправимо мимо,
чтоб стать любимой менее, чем все,
чем всё, что в этом мире не любимо.

Да и за что любить ее, кому?
Полюбит ли мышинный сброд умишек
то чудище, несущее во тьму
всеведенья уродливый излишек?

И тот изящный звездочет искусств
и счетовод безумств витиеватых
не зря не любит излученье уст,
пока еще ни в чем не виноватых.

Мила ль ему незванная звезда,
чей голосок, нечаянно могучий,
его освобождает от труда
старательно содеянных созвучий?

В приют ее — меж грязью и меж льдом!
Но в граде чернокаменном, голодном,
что делать с этим неуместным лбом?
Где быть ему, как не на месте лобном?

Белла Ахмадулина

Добывшая двугорбием ума
тоску и непомерность превосходства,
она насквозь минует терема
всемирного бездомья и сиротства.

Любая милосердная сестра
жестокосердно примирится с горем,
с избытком рокового мастерства —
во что бы то ни стало быть изгоем.

Ты перед ней не виноват, Берлин!
Ты гнал ее, как принято, как надо,
но мрак твоих обоев и белил
еще не ад, а лишь предместье ада.

Не обессудь, божественный Париж,
с надменностью ты целовал ей руки,
но всё же был лишь захоlustьем крыш,
провинцией ее державной муки.

Тягаться ль вам, селения беды,
с непревзойденным бедствием столицы,
где рыщет Марс над плесенью воды,
тревожа тень кавалерист-девицы?

Затмивший золотые города,
чернеет двор последнего страданья,
где так она нища и голодна,
как в высшем средоточье мирозданья.

Хвала и предпочтение молвы
Елабуге пред прочею землею.
Кунсткамерное чудо головы
изловлено и схвачено петлею.

Всего-то было — горло и рука,
в пути меж ними станет звук строкою,
и смертный час — не больше, чем строка:
всё тот же труд меж горлом и рукою.

Но ждать так долго! Отгибая прядь,
поглядывать зрачком — красна ль рябина,
и целый август вытерпеть? О, впрямь
ты — сильное чудовище, Марина.

1967

КЛЯНУСЬ

Тем летним снимком: на крыльце чужом,
как виселица, криво и отдельно
поставленном, не приводящем в дом,
но выводящем из дому. Одета

в неистовый сатиновый доспех,
стесняющий огромный мускул горла,
так и сидишь, уже отбив, допев
труд лошадиный голода и гона.

Тем снимком. Слабым остриём локтей
ребенка с удивленною улыбкой,
которой смерть влечет к себе детей
и украшает их черты уликой.

Тяжелой болью памяти к тебе,
когда, хлебая безвоздушность горя,
от задыхания твоих тире
до крови я откашливала горло.

Присутствием твоим: крала, несла,
брала себе тебя и воровала,
забыв, что ты — чужое, ты — нельзя,
ты — Бóгово, тебя у Бога мало.

Последней исхудалостию той,
добившею тебя крысиным зубом.
Благословенной родиной святой,
забывшею тебя в сиротстве грубом.

Возлюбленным тобою не к добру
вседобрим африканцем небывалым,
который созерцает детвору.
И детворою. И Тверским бульваром.

Твоим печальным отдыхом в раю,
где нет тебе ни ремесла, ни муки, —
клянусь убить елабугу твою.
Елабугой твоей, чтоб спали внуки,

старухи будут их страшать в ночи,
что нет ее, что нет ее, не зная:
„Спи, мальчик или девочка, молчи,
ужо придет елабуга слепая”.

О, как она всей путаницей ног
припустится ползти, так скоро, скоро.
Я опущу подкованный сапог
на щупальца ее без приговора.

Утяжелив собой каблук, носок,
в затылок ей — и продержат подольше.
Детёньшей ее зеленый сок
мне острым ядом опалит подошвы.

В хвосте ее созревшее яйцо
я брошу в землю, раз земля бездонна,
ни словом не обмолвясь про крыльцо
Марининога смертного бездомья.

И в этом я клянусь. Пока во тьме,
зловоньем ила, жабами колодца,
примеривая желтый глаз ко мне,
убить меня елабуга клянется.

1968

ОПИСАНИЕ ОБЕДА

Как долго я не высыпалась,
писала медленно, да зря.
Прощай, моя высокопарность!
Привет, любезные друзья!

Да здравствует любовь и легкость!
А то всю ночь в дыму сижу,
и тяжело тащится мой локоть,
строку влача, словно баржу.

А утром, свет опережая,
всплывает в глубине окна
лицо мое, словно чужая
предсмертно белая луна.

Не мил мне чистый снег на крышах,
мне тяжело мое чело,
и всё за тем, чтоб вещей критик
не понял в этом ничего.

Ну нет, теперь беру тетрадку
и, выбравши любой предлог,
описываю по порядку
всё, что мне в голову придет.

Я пред бумагой не робею
и опишу одну из сред,
когда меня позвал к обеду
сосед-литературовед.

Он обещал мне, что наука,
известная его уму,
откроет мне, какая му́ка
угодна сердцу моему.

С улыбкой грусти и привета
открыла дверь в тепло и свет
жена литературоведа,
сама литературовед.

Пока с меня пальто снимала
их просвещенная семья,
ждала я знака и сигнала,
чтобы понять, при чем здесь я.

Но, размышляя мимолетно,
я поняла мою вину:
что ж за обед без рифмоплёта
и мебели под старину?

Всё так и было: стол накрытый
дышал свечами, цвел паркет,
и чужеземец именитый
молчал, покуривая „кент”.

Литературой мы дышали,
когда хозяин вёл нас в зал
и говорил о Мандельштаме.
Цветаеву он также знал.

Он оценил их одаренность,
и, некрасива, но умна,
познаний тяжкую огромность
делила с ним его жена.

Я думала: Господь вседобрый!
Прости мне разум, полный тьмы,
вели, чтобы соблазн съедобный
отвлек от мыслей их умы.

Белла Ахмадулина

Скажи им, что пора обедать,
вели им хоть на час забыть
о том, чем им так сладко ведать,
о том, чем мне так страшно быть.

В прощенье мне теплом собрата
повеяло, и со двора
вошла прекрасная собака
с душой, исполненной добра.

Затем мы занялись обедом.
Я и хозяин пили ром, —
нет, я пила, он этим ведал, —
и всё же разразился гром.

Он знал: коль ложь не бестолкова,
она не осквернит уста,
я знала: за лукавство слова
наказывает немота.

Он, сокрушаясь бесполезно,
стал разум мой учить уму,
и я ответила любезно:
— Потом, мой друг, когда умру...

Мы помирились в воскресенье.
— У нас обед. А что у вас?
— А у меня стихотворенье.
Оно написано как раз.

1967

Я думаю: как я была глупа,
когда стыдилась собственного лба —
зачем он так от гения свободен?
Сегодня, став взрослее и трезвей,
хочу обедать посреди друзей —
лишь их привет мне сладок и угоден.
Мне снился сон: я мучаюсь и мчусь,
лицейскою возвышенностью чувств
пылает мозг в честь праздника простого.
Друзья мои, что так добры ко мне,
должны собраться в маленьком кафе
на площади Восстанья в полшестого.
Я прихожу и вижу: собрались.
Благословляя красоту их лиц,
плач нежности стоит в моей гортани.
Как встарь, моя кружится голова.
Как встарь, звучат прекрасные слова
и пенье очарованной гитары.
Я просыпаюсь и спешу в кафе,
я оставляю шапку в рукаве,
не ведая сомнения пустого.
Я твердо помню мой недавний сон
и стол прошу накрыть на пять персон
на площади Восстанья в полшестого.
Я долго жду и вижу жизнь людей,
которую прибором площадей
выносит вдруг на мой пустынный остров.
Так мне пришлось присвоить новость встреч,
чужие тайны и чужую речь,

Белла Ахмадулина

борьбу локтей неведомых и острых.
Вошел убийца в сером пиджаке.
Убитый им сидел невдалеке.
Я наблюдала странность их общенья.
Промолвил первый:

— Вот моя рука,
но всё ж не пейте столько коньяка. —
И встал второй и попросил прощенья.
Я у того, кто встал, спросила:

— Вы
однажды не сносили головы,
неужто с вами что-нибудь случится? —
Он мне сказал:

— Я узник прежних уз.
Дитя мое, я, как тогда, боюсь —
не я ему, он мне ночами снится.

Я поняла: я быть одна боюсь.
Друзья мои, прекрасен наш союз!
О, смилуйтесь, хоть вы не обещали.
Совсем одна, словно Мальмгрен во льду,
заточена, словно мигрень во лбу.
Друзья мои, я требую пощады!

И всё ж, пока слагать стихи смогу,
я вот как вам солгу иль не солгу:
они пришли, не ожидая зова,
сказали мне: — Спешат твои часы. —
И были наши помыслы чисты
на площади Восстанья в полшестого.

1967

Так дурно жить, как я вчера жила, —
в пустом пиру, где все мертвы друг к другу
и пошлости нетрезвая жара
свистит в мозгу по замкнутому кругу.

Чудовищем ручным в чужих домах
нести две влажных черноты в глазницах
и пребывать не сведеньем в умах,
а вожденной притчей во языцех.

Довольствоваться роскошью беды —
в азартном и злорадном нераденье
следить за увяданием звезды,
втемяшенной в мой разум при рожденье.

Вслед чуждой воле, как в петле лассо,
понурить шею среди пекл безводных,
от скудных скверов отвращать лицо,
не смея быть при детях и животных.

Пережимать иссякшую педаль:
без тех, без лучших, мыкалась по свету,
а без себя? Не велика печаль!
Уж не копить ли драгоценность эту?

Дразнить плащом горячий гнев машин
и снова выжить, как это ни сложно,
под доблестной защитой мужчин,
что и в невесты брать неосторожно.

Всем лицемерьем искушать беду,
но хитрой слепотою дальновидной
надеясь, что будет ночь в саду
опять слагать свой лепет деловитый.

Какая тайна влюблена в меня,
чьей выгоде мое спасенье сладко,
коль мне дано по окончанье дня
стать оборотнем, алчущим порядка?

О, вот оно! Деревья и река
готовы выдать тайну вековую,
и с первобытной меткостью рука
привносит пламя в мертвость восковую.

Подобострастный бег карандаша
спешит служить и жертвовать длиной.
И так чиста суровая душа,
словно сейчас излучена луною.

Терзая зреньем небо и леса,
всему чужой, иноязычный идол,
царю во тьме огромностью лица,
которого никто другой не видел.

Пред днем былым не ведаю стыда,
пред новым днем не знаю сожаленья
и медленно стираю прядь со лба
для пущего удобства размышленья.

1967

ВАРФОЛОМЕЕВСКАЯ НОЧЬ

Евгении Семёновне Гинзбург

Я думала в уютный час дождя:
а вдруг и впрямь, по логике наитья,
заведомо безнравственно дитя,
рожденное вблизи кровопролитья.

В ту ночь, когда Святой Варфоломей
на пир созвал всех алчущих, как тонок
был плач того, кто между двух огней
еще не гугенот и не католик.

Еще птенец, едва поющий вздор,
еще в ходьбе не сведущий козлёнок,
он выжил и присвоил первый вздох,
изъятый из дыхания казненных.

Сколь, нянюшка, ни пестуй, ни корми
дитя твое цветочным млеком меда,
в его опрятной маленькой крови
живет глоток чужого кислорода.

Он лакомка, он хочет пить еще,
не знает организм непросвещенный,
что ненасытно, сладко, горячо
вкушает дух гортани пресеченной.

Повадился дышать! Не виноват
в религиях и гибелях далеких.
И принимает он кровавый чад
за будничную выгоду для лёгких.

Белла Ахмадулина

Не знаю я, в тени чьего плеча
он спит в уюте детства и злодейства.
Но и палач, и жертва палача
равно растлят незрячий сон младенца.

Когда глаза откроются — смотреть,
какой судьбою в нём взойдет отравя?
Отрадой — умертвить? Иль умереть?
Или корыстно почернеть от рабства?

Привыкшие к излишеству смертей,
вы, люди добрые, бранитесь и боритесь,
вы так бесстрашно нянчите детей,
что и детей, наверно, не боитесь.

И коль дитя расплачется со сна,
не беспокойтесь — малость виновата:
немного растревожена десна
молочными резцами вурдалака.

А если что-то глянет из ветвей,
морозом жути кожу задевая, —
не бойтесь! Это личики детей,
взлеянных под сенью злодеянья.

Но, может быть, в беспамятстве, в раю,
тот плач звучит в честь выбора другого,
и хрупкость беззащитную свою
оплакивает маленькое горло

всем ужасом, чрезмерным для строки,
всей музыкой, не объясненной в нотах.
А в общем-то — какие пустяки!
Всего лишь — тридцать тысяч гугенотов.

1967

Памяти Осипа Мандельштама

В том времени, где и злодей —
лишь заурядный житель улиц,
как грозно хрупок иудей,
в ком Русь и музыка очнулись.

Вступленье: ломкий силуэт,
повинный в грациозном форсе.
Начало века. Младость лет.
Сырое лето в Гельсингфорсе.

Та — Бог иль барышня? Мольба —
чрез сотни вёрст любви нечеткой.
Любуется! И гений лба
застенчиво завешен чёлкой.

Но век желает пировать!
Измученный, он ждет предлога —
и Петербургу Петроград
оставит лишь предсмертье Блока.

Знал и сказал, что будет знак
и век падет ему на плечи.
Что может он? Он нищ и наг
пред чудом им свершенной речи.

Гортань, затеявшая речь
неслыханную, — так открыта.
Довольно, чтоб ее пресечь,
и меньшего усердья быта.

Ему — особенный почёт,
двойное злорадство неба:
певец, снабженный кляпом в рот,
и лакомка, лишенный хлеба.

Из мемуаров: „Мандельштам
любил пирожные”. Я рада
узнать об этом. Но дышать —
не хочется, да и не надо.

Так значит, пребывать творцом,
за спину заломившим руки,
и безымянным мертвецом
всё ж недостаточно для мўки?

И в смерти надо знать беду
той, не утихшей ни однажды,
беспечной, выжившей в аду,
неутолимой детской жажды?

В моём кошмаре, в том раю,
где жив он, где его я прячу,
он сыт! А я его кормлю
огромной сладостью. И плачу.

1967

ГОСТИТЬ У ХУДОЖНИКА

Юрию Васильеву

Итог увяданья подводит октябрь.
Природа вокруг тяжела и серьезна.
В час осени крайний — так скушно локтям
опять ушибаться об угол сиротства.
Соседской четы непомерный визит
всё длится, и я, всей душой утомляясь,
ни слова не вымолвлю — в горле висит
какая-то глухонемая туманность.
В час осени крайний — огонь погасить
и вдруг, засыпая, воспрянуть догадкой,
что некогда звали меня погостить
в доме у художника, там, за Таганкой.

И вот, аспирином задобрив недуг,
напялив калоши, — скорее, скорее
туда, где, румяные щеки надув,
художник умеет играть на свирели.
О, милое зрелище этих затей!
Средь кистей, торчащих из банок и ведер,
играет свирель и двух малых детей
печальный топочет вокруг хороводик.
Два детские личика умудрены
улыбкой такую усталой и вечной,
как будто они в мирозданье должны
нестись и описывать круг бесконечный.
Как будто творится века напролет
всё это: заоблачный лепет свирели
и маленьких тел одинокий полёт
над прочностью мира — во мгле акварели.
И я, притаившись в тени голубой,
застыв перед тем невеселым весельем,

Белла Ахмадулина

смотрю на суровый их танец, на бой
младенческих мышц с тяготеньем вселенным.
Слабею, впадаю в смятенье невежд,
когда, воссияв над трубою подзорной,
их в обморок вводит избыток небес,
терзая рассудок тоской тошнотворной.
Но полно! И я появляюсь в дверях,
недаром сюда я брела и спешила.
О, счастье, что кто-то так радостно рад,
рад так беспредельно и так беспричинно!
Явленью моих одичавших локтей
художник так рад, и свирель его рада,
и щедрые ясные лица детей
даруют мне синее солнышко взгляда.
И входит, подходит та, милая, та,
простая, как холст, не насыщенный грунтом.
Но кроткого, смиренного лба простота
пугает предчувствием сложным и грустным.
О, скромность холста, пока срок не пришел,
невинность курка, пока пальцем не тронешь,
звериный, до времени спящий прыжок,
нацеленный в близь, где играет зверёныш.
Как мускулы в ней высоко взведены,
когда первобытным следит исподлобьем
три тени родные, во тьму глубины
запущенные виражом неподобным.
О, девочка цирка, хранящая дом!
Всё ж выдаст болезненно-звездная бледность —
во что ей обходится маленький вздох
над бездной внизу, означающей бедность.
Какие клинки покидают ножны,
какая неисповедимая доблесть
улыбкой ответствует гневу нужды,
каменья ее обращая в съедобность?

Как странно незрима она на свету,
как слабо затылок ее позолочен,
но неколебимо хранит прямоту
прозрачный, стеклянный ее позвоночник.

И радостно мне любоваться опять
лицом ее, облаком неочевидным,
и рученьку боязно в руку принять,
как тронуть скорлупку в гнезде соловьином.

И я говорю: — О, давайте скорей
кружиться в одной карусели отвесной,
подставив горячие лбы под свирель,
под ивовый дождь ее чистых отверстий.
Художник на бочке высокой сидит,
как Пан, в свою хитрую дудку дудит.
Давайте, давайте кружиться всегда,
и всё, что случится, — еще не беда,
ах, Господи Боже мой, вот вечеринка,
проносится около уха звезда,
под веко летит золотая соринка,
и кто мы такие, и что это вдруг
цветет акварели голубенький дух,
и глина краснеет, как толстый ребенок,
и пыль облетает с холстов погребенных,
и дивные рожи румяных картин
являются нам, когда мы захотим.
Проносимся! И посреди тишины
целуется красное с желтым и синим,
и все одиночества душ сплочены
в созвездье одно притяжением сильным.

Жить в доме художника день или два
и дольше, но дому еще не наскучить,
случайно узнать, что стоят деревья
под тяжестью белой, повисшей на сучьях,
с утра втихомолку собраться домой,
брести облегченно по улице снежной,
жить дома, пока не придет за тобой
любви и печали порыв центробежный.

1967

ДОЖДЬ И САД

В окне, как в чуждом букваре,
неграмотным я рыщу взглядом.
Я мало смыслю в декабре,
что выражен дождем и садом.

Где дождь, где сад — не различить.
Здесь свадьба двух стихий творится.
Их совпадение разлучить
не властно зренье очевидца.

Так обнялись, что и ладонь
не вклинится! Им не заметен
медопролитный крах плодов,
расплющенных объятьем этим.

Весь сад в дожде! Весь дождь в саду!
Погибнут дождь и сад друг в друге,
оставив мне решать судьбу
зимы, явившейся на юге.

Как разниму я сад и дождь
для мимолетной щели светлой,
чтоб птицы маленькая дрожь
вместилась меж дождем и веткой?

Не говоря уже о том,
что в промежуток их раздора
мне б следовало втиснуть дом,
где я последний раз бездомна.

Душа желает и должна
два раза вытерпеть усладу:
страдать от сада и дождя
и сострадать дождю и саду.

Но дом при чем? В нём всё мертво!
Не я ли совершила это?
Приют сиротства моего
моим сиротством сжит со света.

Просила я беды благой,
но всё ж не той и не настолько,
чтоб выпрошенной мной бедой
чужие вышибало стекла.

Всё дождь и сад сведут на нет,
изгнав из своего объема
необязательный предмет
вцепившегося в землю дома.

И мне ли в нищей конуре
так возгордиться духом слабым,
чтобы препятствовать игре,
затеянной дождем и садом?

Не время ль уступить зиме,
с ее деревьями и мглою,
чужое место на земле,
некстати занятое мною?

1967

Зима на юге. Далеко зашло
ее вниманье к моему побегу.
Мне — поделом. Но югу-то за что?
Он слишком юн, чтоб предаваться снегу.

Боюсь смотреть, как мучатся в саду
растений полумертвые подранки.
Гнев севера меня имел в виду,
я изменила долгу северянки.

Что оставалось выдумать уму?
Сил не было иметь температуру,
которая бездомью моему
не даст погибнуть спьяну или сдуру.

Неосторожный беженец зимы,
под натиском ее несправедливым,
я отступала в теплый тыл земли,
пока земля не кончилась обрывом.

Прыжок мой, понукаемый бедой,
повис над морем — если море это:
волна, недавно бывшая водой,
имеет вид железного предмета.

Над розами творится суд в тиши,
мороз кончины им сулят прогнозы.
Не твой ли ямб, любовь моей души,
шалит, в морозы окуная розы?

Простите мне, теплицы красоты!
Я удалюсь и всё это улажу.
Зачем влекла я в чуждые сады
судьбы моей громоздкую поклажу?

Мой ад — при мне, я за собой тяну
суму своей печали неказистой,
так альпинист, взмывая в тишину,
с припасом суеты берет транзистор.

И впрямь — так обнаглеть и занестись,
чтоб дисциплину климата нарушить!
Вернулась я, и обжигает кисть
обледеневшей варежки наручник.

Зима, меня на место водворив,
лишила юг опалы снегопада.
Сладчайшего цветения прилив
был возвращен воскресшим розам сада.

Январь со мной любезен, как весна.
Краса мурашек серебрит мне спину.
И, в сущности, я польщена весьма
влюбленностью зимы в мою ангину.

1968

МОЛИТВА

Ты, населивший мглу Вселенной,
то явно видный, то едва,
огонь невнятный и нетленный
материи иль Божества.

Ты, ангелы или природа,
спасение или напасть,
что Ты ни есть — Твоя свобода,
Твоя торжественная власть.

Ты, нечто, взявшее в надземность
начало света, снега, льда,
в Твою любовь, в Твою надменность,
в Тебя вперяюсь болью лба.

Прости! Молитвой простодушной
я иссушила, извела
то место неба над подушкой,
где длилась и текла звезда.

Прошу Тебя, когда темнеет,
прошу, когда уже темно
и близко видеть не умеет
мною разожжённое окно.

Не благодать Твою, не почесть —
судьба земли, оставь за мной
лишь этой комнаты непрочность,
ничтожную в судьбе земной,

Зачем с разбега бесприютства
влюбилась я в ее черты
всем разумом — до безрассудства,
всем зрением — до слепоты?

Кровать, два стула ненадежных,
свет лампы, сумерки, графин
и вид на изгородь продолжен
красой невидимых равнин.

Творилась в этих желтых стенах,
оставшись тайною моей,
печаль пустых, благословенных,
от всех сокрытых зимних дней.

Здесь совмещались стол и локоть,
тетрадь ждала карандаша
и, провожая мимолётность,
беспечно мучилась душа.

1968

СНЕГОПАД

Булату Окуджавэ

Снегопад свое действие начал
и еще до свершения тьмы
Переделкино переиначил
в безымянную прелесть зимы.

Дома творчества дикую кличку
он отринул и вытер с доски
и возвысил в полях электричку
до всемирного звука тоски.

Обманувши сады, огороды,
их ничтожный размер одолев,
возымела значенье природы
невеликая сумма дерев.

На горе, в тишине совершенной,
голос древнего пенья возник,
и уже не селá, а вселенной
ты участник и бедный должник.

Вдалеке, меж звездой и дорогой,
сам дивясь, что он здесь и таков,
пролетел лучезарно здоровый
и ликующий лыжник снегов.

Вездесущая сила движенья,
этот лыжник, земля и луна —
лишь причина для стихосложенья,
для мгновенной удачи ума.

Но, пока в снегопаданье строгом
ясен разум и воля свежа,
в промежутке меж звуком и словом
опроектировано медлит душа.

1968

МЕТЕЛЬ

Борису Пастернаку

Февраль — любовь и гнев погоды.
И, странно воссияв окрест,
великим севером природы
очнулась скудость дачных мест.

И улица в четыре дома,
открыв длину и ширину,
берёт себе непринужденно
весь снег вселенной, всю луну.

Как сильно выюжит! Не иначе —
метель посвящена тому,
кто эти деревья и дачи
так близко принимал к уму.

Ручья невзрачное течение,
сосну, понурившую ствол,
в иное он вовлек значение
и в драгоценность произвел.

Не потому ль, в красе и тайне,
пространство, загрузив о нём,
той речи бред и бормотанье
имеет в голосе своем.

И в снегопаде, долго бывшем,
вдруг, на мгновенье, прервалась
меж домом тем и тем кладбищем
печали пристальная связь.

1968

Мне вспоминать сподручней, чем иметь.
Когда сей миг и прошлое мгновенье
соединятся, будто медь и медь,
их общий звук и есть стихотворенье.

Как я люблю минувшую весну,
и дом, и сад, чья сильная природа
трудом горы держалась на весу
поверх земли, но ниже небосвода.

Люблю сейчас, но, подлежа весне,
я ощущала только страх и вялость
к объему моря, что в ночном окне
мерещилось и подразумевалось.

Когда сходились море и луна,
студил затылок холодок мгновенный,
как будто я, превысив чин ума,
посмела фамильярничать с Вселенной.

В суть вечности заглядывал балкон —
не слишком ли? Но оставалась радость,
что, возымев во времени былом
день нынешний, — за всё я отыграюсь.

Не наглость ли — при море и луне
их расточать и обмирать от чувства:
они живут воочью, как вчерне,
и набело навек во мне очнутся.

Что происходит между тем и тем
мгновеньями? Как долго длится это —
в душе крепчает и взрослеет тень
оброненного в глушь веков предмета.

Не в этом ли разгадка ремесла,
чьи правила: смертельный страх и доблесть, —
блеск бытия изжить, спалить дотла
и выгадать его бессмертный отблеск?

1968

ОПИСАНИЕ НОЧИ

Глубокий плюш казенного Эдема,
развязный грешник, я взяла себе
и хищно и неопытно владела
углом стола и лампой на столе.
На каторге таинственного дела
о вечности радел петух в селе,
и, пристальная, как монгол в седле,
всю эту ночь я за столом сидела.

Всю ночь в природе длился плач раздора
между луной и душами зверей,
впадали в длинный воздух коридора,
исторгнутые множеством дверей,
течения полуночного вздора,
что спит в умах людей и словарей,
и пререкались дактиль и хорей —
кто домовой и правит бредом дома.

Всяк спящий в доме был чему-то автор,
но ослабел для совершенья сна,
из глуби лбов, как из отверстых амфор,
рассеивалась спёртость ремесла.
Обожествляла влюбчивость метафор
простых вещей невзрачные тела.
И постояльца прежнего звала
его тоска, дичавшая за шкафом.

В чём важный смысл чудовищной затеи:
вникать в значенье света на столе,

участвовать, словно в насущном деле,
в судьбе светил, играющих в окне,
и выдержать такую силу в теле,
что тень его внушила шрам стене!
Не знаю. Но еще зачтется мне
бесславный подвиг сотворенья тени.

1968

ОПИСАНИЕ БОЛИ В СОЛНЕЧНОМ СПЛЕТЕНИИ

Сплетенье солнечное — чушь!
Коварный ляпсус астрономов
рассеянных! Мне дик и чужд
недуг светил неосторожных.
Сплетались бы в сторонней мгле!
Но хворым силам мирозданья
угодно бедствовать во мне —
любимом месте их страданья.
Вместившись в спину и в живот,
вблизи наук, чья суть целебна,
болел и бредил небосвод
в ничтожном теле пациента.
Быть может, сдуру, сторяча
я б умерла в том белом зале,
когда бы моего врача
Газель Евграфовна не звали.
— Газель Евграфовна! — изрек
белейший медик.
О удача!
Улыбки доблестный цветок,
возросший из расщелин плача.
Покуда стетоскоп глазел
на загнанную мышцу страха,
она любила Вас, Газель,
и Вашего отца Евграфа.
Тахикардический буян
морзянкою предкатастрофной
производил всего лишь ямб,
влюбленный ямб четырёхстопный.

Белла Ахмадулина

Он с Вашим именем играл!
Не зря душа моя, как ваза,
изогнута (при чем Евграф!)
под сладкой тяжестью Кавказа.
Простите мне тоску и жуть,
мой хрупкий звездочёт, мой лекарь!
Я вам вселенной прихожусь —
чрезмерным множеством молекул.
Не утруждайте нежный ум
обзором тьмы нечистоплотной!
Не стоит бездна скорбных лун
печали Вашей мимолетной.
Трудов моих туманна цель,
но жизнь мою спасет от краха
вспоминанье про Газель,
дитя добрейшего Евграфа.
Судьба моя, за то всегда
благодарю твой добрый гений,
что смеха детская звезда
живет во мгле твоих трагедий.
Лишь в этом смысл — марасть тетрадь,
печалиться в канун веселья,
и болью чуждых солнц хворать,
и умирать для их спасенья.

1968

НЕ ПИСАТЬ О ГРОЗЕ

Беспорядок грозы в небесах!
Не писать! Даровать ей свободу —
невоспетою быть, нависать
над землей, принимающей воду!

Разве я ее вождь и судья,
чтоб хвалить ее: радость! услада! —
не по чину поставив себя
во главе потрясенного сада?

Разве я ее сплетник и враг,
чтобы, пристально выследив, наспех,
величавые лес и овраг
обсуждал фамильярный анапест?

Пусть хоть раз доведется уму
быть немым очевидцем природы,
не добавив ни слова к тому,
что объявлено в сводке погоды.

Что за труд — бег руки вдоль стола?
Это отдых, награда за мýку,
когда темною тяжестью лба
упираешься в правую руку.

Пронеслось! Открываю глаза.
Забываю про руку: пусть пишет.
Навсегда разминулись — гроза
и влюбленный уродец эпитет.

Белла Ахмадулина

Между тем удается руке
детским жестом придвинуть тетрадку
и в любви, в беспокойстве, в тоске
всё, что есть, описать по порядку.

1968

СТРОКА

... Дорога не скажу куда...

Анна Ахматова

Пластинки глупенькое чудо,
проигрыватель — вздор какой,
и слышно, как невесть откуда,
из недр стесненных, из-под спуда
корней, сопревших трав и хвой,
где закипает перегной,
вздымая пар до небосвода,
нет, глубже мыслимых глубин,
из пекла, где пекут рубин
и начинается природа, —
исторгнут, близится, и вот
донесся бас земли и вод,
которым молвлено протяжно,
как будто вовсе без труда,
так легкомысленно, так важно:
„... Дорога не скажу куда...”
Меж нами так не говорят,
нет у людей такого знанья,
ни вымыслом, ни наугад
тому не подыскать названья,
что мы, в невежестве своем,
строкой бессмертной назовем.

Ане

Сперва дитя явилось из потёмок
небытия.

В наш узкий круг щенок
был приглашен для счастья.

А котенок
не столько зван был, сколько одинок.

С небес в окно упал птенец воскресший.
В миг волшебства сама зажглась свеча:
к нам шел сверчок, влача нежнейший скрежет,
словно возок с пожитками сверчка.

Так ширился наш круг непостижимый.
Все ль в сборе мы? Не думаю. Едва ль.
Где ты, грядущий новичок родимый?
Верти крылами! Убыстряй педаль!

Покуда вещи движутся в квартиры
по лестнице — мы отойдем и ждем.
Но всё ж и мы не так наги и сиры,
чтоб славной вещью не разжился дом.

Останься с нами, кто-нибудь вошедший!
Ты сам увидишь, как по вечерам
мы возжигаем наш фонарь волшебный.
О смех! О лай! О скрип! О тарарам!

Старейшина в беспечном хороводе,
вполне бесстрашном, если я жива,

проговорюсь моей ночной свободе,
как мне страшна забота старшинства.

Куда уйти? Уйду лицом в ладони.
Стареет пёс. Сиротствует тетрадь.
И лишь дитя, всё больше молодое,
всё больше хочет жить и сострадать.

Давно уже в ангине, только ожил
от жара лоб, так тихо, что почти —
подумало, дитя сказало: — Ёжик,
прости меня, за всё меня прости.

И впрямь — прости, любая жизнь живая!
Твою в упор глядящую звезду
не подведу: смертельно убывая,
вернусь, опомнюсь, буду, превзойду.

Витают, вырастая, наша стая,
блистая правом жить и ликовать,
блаженность и блаженство сочетая,
и всё это приняв за благодать.

Сверчок и птица остаются дома.
Дитя, собака, бледный кот и я
идем во двор и там непревзойденно
свершаем трюк на ярмарке житья.

Вкривь обходящим лужи и канавы,
несущим мысль про хлеб и молоко,
что нам пустей, что смехотворней славы?
Меж тем она дается нам легко.

Когда сентябрь, тепло, и воздух хлипок,
и все бегут с учений и работ,
нас осыпает золото улыбок
у станции метро „Аэропорт”.

1968

Белла Ахмадулина

ЗАКЛИНАНИЕ

Не плачьте обо мне — я проживу
счастливой нищей, доброй каторжанкой,
озябшею на севере южанкой,
чахоточной да злой петербуржанкой
на малярийном юге проживу.

Не плачьте обо мне — я проживу
той хромоножкой, вышедшей на паперть,
тем пьяницей, поникнувшим на скатерть,
и этим, что малюет Божью Матерь,
убогим богомазом проживу.

Не плачьте обо мне — я проживу
той грамоте наученной девчонкой,
которая в грядущести нечёткой
мои стихи, моей рыжея чёлкой,
как дура будет знать. Я проживу.

Не плачьте обо мне — я проживу
сестры помилосердней милосердной,
в военной бесшабашности предсмертной,
да под звездой моею и пресветлой
уж как-нибудь, а всё ж я проживу.

1968

ЭТО Я...

Е.Ю. и В.М.Россельс

Это я — в два часа пополудни
повитухой добытый трофей.
Надо мною играют на лютне.
Мне щекотно от палочек фей.
Лишь расплыв золотистого цвета
понимает душа — это я
в знойный день довоенного лета
озираю красу бытия.
„Буря мглою...” и баюшки-баю,
я повадилась жить, но, увы, —
это я от войны погибаю
под угрюмым присмотром Уфы.
Как белеют зима и больница!
Замечаю, что не умерла.
В облаках неразборчивы лица
тех, кто умерли вместо меня.
С непригожим голубеньким ликом,
еле выпростав тело из мук,
это я в предвкушенье великом
слышу нечто, что меньше, чем звук.
Лишь потом оценю я привычку
слушать вечную, точно прибой,
безымянных вещей переключку
с именующей вещи душой.
Это я — мой наряд фиолетов,
я надменна, юна и толста,
но к предсмертной улыбке поэтов
я уже приучила уста.
Словно дрожь между сердцем и сердцем,

Белла Ахмадулина

есть меж словом и словом игра.
Дело лишь за бесхитростным средством
обвести ее вязью пера.
— Быть словам женихом и невестой! —
это я говорю и смеюсь.
Как священник в глуши деревенской,
я венчаю их тайный союз.
Вот зачем мимолетные феи
осыпали свой шелест и смех.
Лбом и певческим выгибом шеи,
о, как я не похожа на всех.
Я люблю эту мету несходства,
и, за дальней добычей спеша,
юной гончей мой почерк несется,
вот настиг — и озябла душа.
Это я проклиная и плачу.
Смотрит в щели людская молва.
Мне с небес диктовали задачу —
я ее разрешить не смогла.
Я измучила упряжью шею.
Как другие плетут письма —
я не знаю, нет сил, не умею,
не могу, отпустите меня.
Как друг с другом прохожие схожи.
Нам пора, лишь подует зима,
на раздумья о детской одежде
обратить вдохновенье ума.
Это я — человек-невеличка,
всем, кто есть, прихожусь близнецом,
сплю, куда идет электричка,
пав на сумку невзрачным лицом.
Мне не выпало лишней удачи,
слава Богу, не выпало мне
быть заслуженней или богаче
всех соседей моих по земле.
Плоть от плоти сограждан усталых,
хорошо, что в их длинном строю
в магазинах, в кино, на вокзалах
я последнею в кассу стою —

позади паренька удалого
и старухи в пуховом платке,
слившись с ними, как слово и слово
на моём и на их языке.

1968

РИСУНОК

Борису Мессефру

Рисую женщину в лиловом.
Какое благо — рисовать
и не уметь! А ту тетрадь
с полузабытым полусловом
я выброшу! Рука вольна
томиться нетерпением новым.
Но эта женщина в лиловом
откуда? И зачем она
ступает по корням еловым
в прекрасном парке давних лет?
И там, где парк впадает в лес,
лесничий ею очарован.
Развязный! Как он смел взглянуть
прилежным взором благосклонным?
Та, в платье нежном и лиловом,
строга и продолжает путь.
Что мне до женщины в лиловом?
Зачем меня тоска берёт,
что будет этот детский рот
ничтожным кем-то поцелован?
Зачем мне жизнь ее грустна?
В дому, ей чуждом и суровом,
родимая и вся в лиловом,
кем мне приходится она?
Неужто розовой, в лиловом,
столь не желавшей умирать, —
всё ж умереть?
А где тетрадь,
чтоб грусть мою упрочить словом?

1968

Прощай! Прощай! Со лба сотру
воспоминанье: нежный, влажный
сад, углубленный в красоту,
словно в занятье службой важной.

Прощай! Всё минет: сад и дом,
двух душ таинственные распри
и медленный любовный вздох
той жимолости у террасы.

В саду у дома и в дому
внедрив многозначенье грусти,
внушала жимолость уму
невнятный помысел о Прусте.

Смотрели, как в огонь костра,
до сна в глазах, до мути дымной,
и созерцание куста
равнялось чтению книги дивной.

Меж наших двух сердец — туман
клубился! Жимолость и сырость,
и живопись, и сад, и Сван —
к единой мўке относились.

То сад, то Сван являлись мне,
цилиндр с подкладкою зеленой
мне виделся, закат в Комбре
и голос бабушки влюбленной.

Прощай! Но сколько книг, дерев
нам вверили свою сохранность,
чтоб нашего прощанья гнев
поверг их в смерть и бездыханность.

Прощай! Мы, стало быть, — из них,
кто губит души книг и леса.
Претерпим гибель нас двоих
без жалости и интереса.

1968

ВОСПОМИНАНИЕ О ЯЛТЕ

Булату Окуджаве

В тот день случился праздник на земле.
Для ликования все ушли из дома,
оставив мне два фонаря во мгле
по сторонам глухого водоема.

Еще и тем был сон воды храним,
что, намертво рожден из алебастра,
над ним то ль нетопырь, то ль херувим
улыбкой слабоумной улыбался.

Мы были с ним недалняя родня —
среди насмешек и неодобренья
он нежно передразнивал меня
значеньем губ и тщетностью паренья.

Внизу, в порту, в ту пору и всегда,
неизлечимо и неугасимо
пульсировала бледная звезда,
чтоб звать суда и пропускать их мимо.

Любовью жегся и любви учил
вид полночи. Я заново дивилась
неистовству, с которым на мужчин
и женщин человечество делилось.

И в час, когда луна во всей красе
так припекала, что зрачок слезился,
мне так хотелось быть живой, как все,
иль вовсе мертвой, как дитя из гипса.

Белла Ахмадулина

В удобном сходстве с прочими людьми
не сводничать чернилам и бумаге,
а над великим пустяком любви
бесхитростно расплакаться в овраге.

Так я сидела — при звезде в окне,
при скорбной лампе, при цветке в стакане.
И безутешно ластилось ко мне
причастий шелестящих пресмыканье.

9 мая 1969

ПРЕРЕКАНИЕ С КРЫМОМ

Перед тем как ступить на балкон,
я велю тебе, Богово чудо:
пребывай в отчужденье благом!
Не ищи моего пересуда.

Не вперяй в меня рай голубой,
постыдись этой детской уловки.
Я-то знаю твой кроткий разбой,
добывающий слово из глотки.

Мне случалось с тобой говорить,
проболтавшийся баловень пыток,
смертным выдохом ран горловых
я тебе поставляла эпитет.

Но довольно! Всесветлый объем
не таращ и предайся блаженству.
Хватит рыскать в рассудке моём
похвалы твоему совершенству.

Не упорствуй, не шарь в пустоте,
выпит мёд из таинственных амфор.
И по чину ль твоей красоте
примерять украшенья метафор?

Знает тот, кто в семь дней сотворил
семицветие белого света,
как голодным тщеславьем твоим
клянчишь ты подаяний поэта?

Белла Ахмадулина

Прогоняю, стращаю, клянусь,
выхожу на балкон. Озираюсь.
Вижу дерево, море, луну,
их беспмятство и безымянность.

Плачу, бедствую, гибну почти,
говорю: — О, даруй мне пощаду, —
погуби меня, только прости! —
И откуда-то слышу: — Прощаю...

1969

Предутренный час драгоценный
спасите, свеча и тетрадь!
В предсмертных потёмках за сценой
мне выпадет нынче стоять.

Взмыть голой циркачкой под купол!
Но я лишь однажды не лгу:
бумаге молясь неподкупной
и пристальному потолку.

Насильно я петь не умею,
но буду же наверняка,
мучительно выпростав шею
из узкого воротника.

Какой бы мне жребий ни выпал,
никто мне не сможет помочь.
Я знаю, как грозен мой выбор,
когда восхожу на помост.

Погибну без вашей любви,
погибну больней и скорей,
коль вслушаюсь в ваши ладони,
сочту их заслугой своей.

О, только б хвалы не возжаждать,
вернуться в родной неуют,
не ведая — дивным иль страшным —
удел мой потом назовут.

Очнуться живою на свете,
где будут во все времена
одни лишь собаки и дети
бедней и свободней меня.

60-е

ПОДРАЖАНИЕ

Грядущий день намечен был вчерне,
насущенный день так подходил для пеня,
и четверо, достойных удивленья,
гребцов со мною плыли на челне.

На ненаглядность этих четверых
всё бы глядела до скончанья взгляда,
и ни о чем заботиться не надо:
душа вздохнет — и слово сотворит.

Нас пощадили небо и вода,
и, уцелев меж бездною и бездной,
для совершенья распри бесполезной
поплыли мы, не ведая — куда.

В молчании достигли мы земли,
до времени сохранные от смерти.
Но что-нибудь да умерло на свете,
когда на берег мы поврозь сошли.

Твои гребцы погибли, Арион.
Мои спаслись от этой лютой доли.
Но лоб склоню — и опалит ладони
сиротства высочайший ореол.

Всех вместе жаль, а на меня одну —
пускай падут и буря, и лавина.
Я дивным пеньем не прельщу дельфина
и для спасенья уст не разомкну.

Белла Ахмадулина

Зачем? Без них — ненужно меня.
И проку нет в упреках и обмолвках.
Жаль — челн погиб, и лишь в его обломках
нерасторжимы наши имена.

60-е

Однажды, покачнувшись на краю
всего, что есть, я ощутила в теле
присутствие непоправимой тени,
куда-то прочь теснившей жизнь мою.

Никто не знал, лишь белая тетрадь
заметила, что я задула свечи,
зажженные для сотворенья речи, —
без них я не жалела умирать.

Так мучилась! Так близко подошла
к скончанью мук! Не молвила ни слова.
А это просто возраста иного
искала неокрепшая душа.

Я стала жить и долго проживу.
Но с той поры я мýкою земною
зову лишь то, что не воспето мною,
всё прочее — блаженством я зову.

60-е

Юрию Королёву

Собрались, завели разговор,
долго длились их важные речи.
Я смотрела на маленький двор,
чудом выживший в Замоскворечье.

Чтоб красу предыдущих времён
возродить, а пока, исковеркав,
изнывал и бранился ремонт,
исцеляющий старую церковь.

Любоваться еще не пора:
купол слеп и весь вид не осанист,
но уже по камням двора
восхищенный бродил чужестранец.

Я сидела, смотрела в окно,
тосковала, что жить не умею.
Слово „скоросшиватель” влекло
разрыдаться над жизнью моею.

Как вблизи расторопной иглы,
с невредимой травой зеленой,
с бузиною, затмившей углы,
уцелел этот двор непреклонный?

Прорастание мха из камней
и хмельных маляров перебранка
становились надеждой моей,
ободряющей вестью от брата.

Дочь и внучка московских дворов,
объявляю: мой срок не окончен.
Посреди сорока сороков
не иссякла душа-колокольчик.

О, запекшийся в сердце моём
и зазубренный мной без запинки
белокаменный свиток имен
Маросейки, Варварки, Ордынки!

Я, как старые камни, жива.
Дождь веков нас омыл и промаслил.
На клею золотого желтка
нас возвел незапамятный мастер.

Как живучие эти дворы,
уцелею и я, может статься.
Ну, а нет — так придут маляры.
А потом приведут чужестранца.

1970

В той тоске, на какую способен
человек, озираясь с утра
в понедельник, зимою, спросонок,
в том же месте судьбы, что вчера...

Он-то думал, что некий грессмейстер,
населивший пустой небосвод,
его спящую душу заметит
и спасительно двинет вперед.

Но сторонняя мощь сновидений,
ход светил и раздор государств
не внесли никаких изменений
в череду его скудных мытарств.

Отхлебнув молока из бутылки,
он способствует этим тому,
что, болевшая ночью в затылке,
мысль нужды приливает к уму.

Так зачем над его колыбелью
прежде матери, прежде отца,
оснащенный звездой и свирелью,
кто-то был и касался лица?

Чиркнул быстрым ожогом над бровью,
улыбнулся и скрылся вдали.
Прибежали на крик к изголовью —
и почтительно прочь отошли.

В понедельник, в потёмках рассвета,
лбом уставясь в осколок стекла,
видит он, что алмазная мета
зажила и быльём поросла.

...В той великой, с которою слада
не бывает, в тоске — на века,
я брела в направленье детсада
и дитя за собою влекла.

Розовело во мгле небосвода.
Возжигатель грядущего дня,
вождь метели, зачинщик восхода,
что за дело тебе до меня?

Мне ответствовал свет безмятежный,
и указывал свет или смех,
что еще молодою и нежной
я ступлю на блистающий снег,
что вблизи, за углом поворота,
ждет меня несказанный удел.
Полыхнуло во лбу моем что-то,
и прохожий мне вслед поглядел.

1971

ПЕСЕНКА ДЛЯ БУЛАТА

Мой этот год — вдоль бездны путь.
И если я не умерла,
то потому, что кто-нибудь
всегда молился за меня.

Всё вкривь и вкось, всё невпопад,
мне страшен стал упрёк светил,
зато — вчера! Зато — Булат!
Зато — мне ключик подарил!

Да, да! Вчера, сюда вошед,
Булат мне ключик подарил.
Мне этот ключик — для волшебств,
а я их подарю — другим.

Мне трудно быть не молодой
и знать, что старой — не бывать.
Зато — мой ключик золотой,
а подарил его — Булат.

Слова из губ — как кровь в платок.
Зато на век, а не на миг.
Мой ключик больше золотой,
чем золото всех недр земных.

И всё теперь пойдет на лад,
я буду жить для слёз, для рифм.
Не зря — вчера, не зря — Булат,
не зря мне ключик подарил!

1972

МЕДЛИТЕЛЬНОСТЬ

Надежде Яковлевне Мандельштам

Замечаю, что жизнь не прочна
и прервется. Но как не заметить,
что не надо, пора не пришла
торопиться, есть время помедлить.

Прежде было — страшусь и спешу:
есмь сегодня, а буду ли снова?
И на казнь посылала свечу
ради тщетного смысла ночного.

Как умна — так никто не умен,
полагала. А снег осыпался.
И остался от этих времен
горб — натруженность среднего пальца.

Прочитаю добытое им —
лишь скучая, но не сострадаю,
и прощу: тот, кто молод, — любим.
А тогда я была молодая.

Отбыла, отспешила. К душе
льнет прилив незатейливых истин.
Способ совести избран уже
и теперь от меня не зависит.

Сам придет этот миг или год:
смысл нечаянный, нега, вершинность...
Только старости недостает.
Остальное уже совершилось.

1972

Белла Ахмадулина

Глубокий нежный сад, впадающий в Оку,
стекающий с горы лавиной многоцветья.
Начнёмте же игру, любезный друг, ау!
Останемся в саду минувшего столетья.

Ау, любезный друг, вот правила игры:
не спрашивать зачем и поманить рукою
в глубокий нежный сад, стекающий с горы,
упущенный горой, воспринятый Окою.

Попробуем следить за поведением двух
кисейных рукавов, за блеском медальона,
сокрывшего в себе... ау, любезный друг!..
сокрывшего, и пусть, с нас и того довольно.

Заботясь лишь о том, что стол накрыт в саду,
забыть грядущий век для сущего события.
Ау, любезный друг! Идёте ли? — Иду. —
Идите! Стол в саду накрыт для чаепитья.

А это что за гость? — Да это юный внук
Арсеньевой. — Какой? — Столыпиной. — Ну, что же,
храни его Господь. Ау, любезный друг!
Далекий свет иль звук — чирк холодом по коже.

Ау, любезный друг! Предчувствие беды
преувеличит смысл свечи, обмолвки, жеста.
И, как ни отступай в столетья и сады.
душа не сыщёт в них забвенья и блаженства.

1972

Под сердцем, говорят. Не знаю. Не вполне.
Вдруг сердце вознеслось и взмыло надо мною,
сопутствовало мне стороннею луною,
и муки было в нём не боле, чем в луне.
Но — люди говорят, и я так говорю.
Иначе как сказать? Под сердцем — так под сердцем.
Уж сбылся листопад. Извечным этим средством
не пренебрёг октябрь, склоняясь к ноябрю.
Я всё одна была, иль были мы одни
с тем странником, чья жизнь всё больше оживала.
Совпали блажь ума и надобность журнала —
о Лермонтове я писала в эти дни.
Тот, кто отныне стал значением моим,
кормился ручейком невзрачным и целебным.
Мне снились по ночам Васильчиков и Глебов.
Мой исподлобный взгляд присматривался к ним.
Был город истомлен бесснежным февралем,
но вскоре снег пошел, и снега стало много.
В тот день потупил взор невозмутимый Монго
пред пристальным моим волшебным фонарем.
Зима еще была сохранна и цела.
А там — уже июль, гроза и поединок.
Мой микроскоп увяз в двух непроглядных льдинах,
изъятых из глазниц лукавого царя.
Но некто рвался жить, выпрашивал: „Скорей!“
Томился взаперти и в сердцевине круга.
Успею ль, Боже мой, как брата и как друга,
благословить тебя, добрейший Шан-Гирей?
Всё спуталось во мне. И было всё равно —
что Лермонтов, что тот, кто восходил из мрака.

Я рукопись сдала, когда в сугробах марта
слабело и текло водою серебро.
Вновь близится декабрь к финалу своему.
Снег сыплется с дерев, пока дитя ликует.
Но иногда оно затихнет и тоскует,
не ведая: кого недостает ему.

1972

Что за мгновенье! Родное дитя
дальше от сердца, чем этот обычай:
красться к столу сквозь чащобу житья,
зренье возжечь и следить за добычей.
От неусыпной засады моей
не упасется ни то и ни это.
Пав неминуемой рысью с ветвей,
вцепится слово в загривок предмета.
Эй, в небесах! Как ты любишь меня!
И, заточенный в чернильную склянку,
образ вселенной глядит из темна,
муча меня, как сокровище скрягу.
Так говорю я и знаю, что лгу.
Необитаема высь надо мною.
Гаснут два фосфорных пекла во лбу.
Лютый младенец кричит за стеною.
Спал, присосавшись к сладчайшему сну,
ухом не вёл, а почувал измену.
Всё — лишь ему, ничего — ремеслу,
быть по сему, и перечить не смею.
Мне — только маленькой гибели звук:
это чернил перезревшая влага
вышибла пробку. Бессмысленный круг
букв нерожденных приемлет бумага.
Властвуй, исчадие крови моей!
Если жива, — значит, я недалече.
Что же, не хуже других матерей
я — погубившая детище речи.

Чем я плачú за улыбку твою,
я любопытству людей не отвечу.
Лишь содрогнусь и глаза притворю,
если лицо мое в зеркале встречу.

1973

ВЗОЙТИ НА СЦЕНУ

Пришла и говорю: как нынешнему снегу
легко лететь с небес в угоду февралю,
так мне в угоду вам легко взойти на сцену.
Не верьте мне, когда я это говорю.

О, мне не привыкать, мне не впервой, не внове
взять в кожу, как ожог, вниманье ваших глаз.
Мой голос, словно снег, вам упадет в ноги,
и он умрет, как снег, и превратится в грязь.

Неможется! Нет сил! Я отвергаю участь
явиться на помост с больничной простыни.
Какой мороз во лбу! Какой в лопатках ужас!
О, кто-нибудь, приди и время растяни!

По грани роковой, по острию каната —
плясунья, так пляши, пока не сорвалась.
Я знаю, что умру, но я очнусь, как надо.
Так было всякий раз. Так будет в этот раз.

Исчерпана до дна пытливыми глазами,
на сведенье ушей я трачу жизнь свою.
Но тот, кто мной любим, всегда спокоен в зале.
Себя не сохраню, его не посрамлю.

Когда же я очнусь от суетного риска
неведомо зачем сводить себя на нет,
но скажет кто-нибудь: она была артистка,
и скажет кто-нибудь: она была поэт.

Измучена гортань кровотечением речи,
но весел мой прыжок из темноты кулис.
В одно лицо людей, всё явственней и резче,
сливаются черты прекрасных ваших лиц.

Я обращаю в поклон нерасторопность жеста.
Нисколько мне не жаль ни слов, ни мук моих.
Достанет ли их вам для малого блаженства?
Не навсегда прошу — но лишь на миг, на миг...

1973

Так, значит, как вы делаете, други?
Пораньше встав, пока темно-светло,
открыв тетрадь, перо берете в руки
и пишете? Как, только и всего?

Нет, у меня — всё хуже, всё иначе.
Свечу истрачу, взор сошлю в окно,
как второгодник, не решив задачи.
Меж тем в окне уже светло-темно.

Сначала — ночь отчаянья и бденья,
потом (вдруг нет?) — неуловимый звук.
Тут, впрочем, надо начинать с рожденья,
а мне сегодня лень и недосуг.

1973

Ни слова о любви! Но я о ней ни слова,
не водятся давно в гортани соловьи.
Там пламя посреди пустого небосклона,
но даже в ночь луны ни слова о любви!

Луну над головой держать я притерпелась
для пущего труда, для возбужденья дум.
Но в нынешней луне — бессмысленная прелесть,
и стелется Арбат пустыней белых дюн.

Лепечет о любви сестра-поэт-певунья —
вполглаза покошусь и усмехнусь вполрта.
Как зримо возведен из толщи полнолуны
чертог для Божества, а дверь не заперта.

Как бедный Гоголь худ там, во главе бульвара,
и одинок вблизи вселенской полыньи.
Столь длительной луны над миром не бывало,
сейчас она пройдет. Ни слова о любви!

Так долго я жила, что сердце притупилось,
но выжило в бою с невзгодой бытия,
и вновь свежим-свежа в нём чья-то власть и милость.
Те двое под луной — неужто ты и я?

1973

ДОМ И ЛЕС

Этот дом увядает, как лес...
Но над лесом — присмотр небосвода,
и о лесе печется природа,
соблюдая его интерес.

Краткий обморок вечной судьбы —
спячка леса при будущем снеге.
Этот дом засыпает сильнее
и смертельней, чем знают дубы.

Лес — на время, а дом — навсегда.
В доме призрак — бездельник и нищий,
а у леса есть бодрый лесничий
там, где высшая мгла и звезда.

Так зачем наобум, наугад
всуге связывать с осенью леса
то, что в доме разыграна пьеса
старомодная, как листопад?

В этом доме, отцветшем дотла,
жизнь былая жила и крепчала,
меж висков и в запястьях стучала,
молода и бессмертна была.

Книга мучила пристальный лоб,
сердце тяжело по сердцу томилось,
пекло совести грозно дымилось
и вперялось в ночной потолок.

Белла Ахмадулина

В этом доме, неведомо чьем,
старых записей бледные главы
признаются, что хочется славы...
Ах, я знаю, что лес ни при чем!

Просто утром подуло с небес
и соринкою, втянутой глазом,
залетела в рассеянный разум
эта строчка про дом и про лес...

Истощился в дому домовой,
участь лешего — воля и нега.
Лес — ничей, только почвы и неба.
Этот дом — на мгновение — мой.

Любо мне возвратиться сюда
и отпраздновать нежно и скорбно
дивный миг, когда живы мы оба:
я — на время, а лес — навсегда.

1973

Сад еще не облетал,
только береза желтела.
„Вот уж и август настал”, —
я написать захотела.

„Вот уж и август настал”, —
много ль ума в этой строчке, —
мне ль разобраться? На сад
осень влияла всё строже.

И самодержец души
там, где исток звездопада,
повелевал: — Не пиши!
Августу славы не надо.

Слиткам последней жары
сыщешь эпитет не ты ли,
коль золотые шары,
видишь, и впрямь золотые.

Так моя осень текла.
Плод упал переспелый.
Возле меня и стола
день угасал не воспетый.

В прелести действий земных
лишь тишина что-то значит.
Слишком развязно о них
бренное слово судачит.

Судя по хладу светил,
по багрецу перелеска,
Пушкин, октябрь наступил.
Сколько прохлады и блеска!

Лед поутру обметал
ночью налитые лужи.
„Вот уж и август настал”, —
ах, не дописывать лучше.

Бедствую и не могу
следовать вещим капризам.
Но золотится в снегу
августа маленький призрак.

Затвердевает декабрь.
Весело при снегопаде
слышать, как вечный диктант
вдруг достигает тетради...

1973

Бьют часы, возвестившие осень:
тяжелее, чем в прошлом году,
ударяется яблоко оземь —
столько раз, сколько яблок в саду.

Этой музыкой, внятной и важной,
кто твердит, что часы не стоят?
Совершает поступок отважный,
но как будто бездействует сад.

Всё заметней в природе печальной
выраженье любви и родства,
словно ты — не свидетель случайный,
а виновник ее торжества.

1973

Опять сентябрь, как тьму времён назад,
и к вечеру мужает юный холод.
Я в таинствах подозреваю сад:
всё кажется — там кто-то есть и ходит.

Мне не страшной, а только веселей,
что призраком населена округа.
Я в доброте моих осенних дней
ничьи шаги приму за поступь друга.

Мне некого спросить: а не пора ль
списать в тетрадь — с последнею росой
траву и воздух, в зримую спираль
закрученный неистовой осою.

И вот еще: вниманье чьих очей,
воспринятое некогда луною,
проделало обратный путь лучей
и на земле увиделось со мною?

Любой, чье зренье вобрала луна,
свободен с обожаньем иль укором
иных людей, иные времена
оглядывать своим посмертным взором.

Не потому ль в сиянье и красе
так мучат нас ее пустые камни?
О, знаю я, кто пристальней, чем все,
ее посеребрил двумя зрачками!

Так я сажу, подслушиваю сад,
для вечности в окне оставив щёлку.
И Пушкина неотвратимый взгляд
ночь напролет мне припекает щёку.

1973

НОЧЬ ПЕРЕД ВЫСТУПЛЕНИЕМ

Сегодня, покуда вы спали, надеюсь,
как всадник в дозоре, во тьму я глядела.
Я знала, что поздно, куда же я денусь
от смерти на сцене, от бренного дела!

Безгрешно рукою водить вдоль бумаги.
Писать — это втайне молиться о ком-то.
Запеть напоказ — провиниться в обмане,
а мне не дано это и неохота.

И всё же для вас я удобство обмана.
Я знак, я намёк на былое, на Сороть,
как будто сохранны Марина и Анна
и нерасторжимы словесность и совесть.

В гортани моей, неумелой да чистой,
жил призывок старинного русского слова.
Я призрак двусмысленный и неказистый
поэтов, чья жизнь не затеется снова.

За это мне выпало нежности столько,
что будет смертельной, коль пуще и больше.
Сама по себе я немногого стою.
Я старый глагол в современной обложке.

О, только за то, что душа не лукава
и бодрствует, благословляя и мучась,
не выбирая, где милость, где кара,
на время мне посланы жизнь и живучесть.

Но что-то творится меж вами и мною,
меж мною и вами, меж всеми, кто живы.
Не проще ли нам обойтись тишиною,
чтоб губы остались свежи и не лживы?

Но коль невозможно, коль вам так угодно,
возьмите мой голос, мой голос последний!
Вовеки пребуду добра и свободна,
пока не уйду от вас сколько-то-летней...

1973

СНИМОК

Улыбкой юности и славы
чуть припугнув, но не отторгнув,
от лени или для забавы
так села, как велел фотограф.

Лишь в благоденствии и лете,
при вечном детстве небосвода
клянется ей в Оспедалетти
апрель двенадцатого года.

Сложила на коленях руки,
глядит из кружевного нимба.
И тень ее грядущей муки
защелкнута ловушкой снимка.

С тем — через „ять” — сырым и нежным
апрелем слившись воедино,
как в янтаре окаменевшем,
она пребудет невредима.

И запоздалый соглядатай
застанет на исходе века
тот профиль нежно-угловатый,
вовек сохранный в сгустке света.

Какой покой в нарядной даме,
в чьем четком облике и лике
прочсть известие о даре
так просто, как название книги.

Кто эту горестную мету,
оттиснутую без помарок,
и этот лоб, и чёлку эту
себе выпрашивал в подарок?

Что ей самой в ее портрете?
Пожмет плечами: как угодно!
И выведет: „Оспедалетти.
Апрель двенадцатого года”.

Как на земле свежо и рано!
Грядущий день, дай ей отсрочку!
Пускай она допишет: „Анна
Ахматова” — и капнет точку.

1973

Я вас люблю, красавицы столетий,
за ваш небрежный выпорх из дверей,
за право жить, вдыхая жизнь соцветий
и на плечи накинув смерть зверей.

Еще за то, что, стиснув створки сердца,
клад бытия не отдавал моллюск,
открыть и вынуть — вот простое средство
быть в жемчуге при свете бальных люстр.

Как будто мало ямба и хорей
ушло на ваши души и тела,
на каторге чужой любви старея,
о, сколько я стихов перевела!

Капризы ваши, шеи, губы, щёки,
смесь чудную коварства и проказ —
я всё воспела, мы теперь в расчете,
последний раз благословляю вас!

Кто знал меня, тот знает, кто нимало
не знал — поверит, что я жизнь мою,
всю напролёт, навытяжку стояла
пред женщиной, да и теперь стою.

Не время ли присесть, заплакать, с места
не двинуться? Невмочь мне, говорю,
быть тем, что есть, и вожаком семейства,
вобравшего зверьё и детвору.

Наскучило чудовищем бесполом
быть, другом, братом, сводником, сестрой,
то враждовать, то нежничать с глаголом
пред тем, как стать травой и сосной.

Машинки, взятой в ателье проката,
подстрочников и прочего труда
я не хочу! Я делаюсь богата,
неграмотна, пригожа и горда.

Я выбираю, поступая талантом,
стать оборотнем с розовым зонтом,
с кисейным бантом и под ручку с франтом.
А что есть ямб — знать не хочу о том!

Лукавь, мой франт, опутывай, не мешкай!
Я скрою от незрячести твоей,
какой повадкой и какой усмешкой
владею я — я друг моих друзей.

Красавицы, ах, это всё неправда!
Я знаю вас — вы верите словам.
Неужто я покину вас на франта?
Он и в подруги не годится вам.

Люблю, когда, ступая, как летая,
проноситесь, смеясь и лепеча.
Суть женственности вечно золотая
всех, кто поэт, священная свеча.

Обзавестись бы вашими правами,
чтоб стать, как вы, и в этом преуспеть!
Но кто, как я, сумеет встать пред вами?
Но кто, как я, посмеет вас воспеть?

1973

ОТРЫВОК ИЗ МАЛЕНЬКОЙ ПОЭМЫ
О ПУШКИНЕ

1. Он и она

Каков? — Таков: как в Африке, курчав
и рус, как здесь, где вы и я, где север.
Когда влюблен — опасен, зол в речах.
Когда весна — хмур, нездоров, рассеян.

Ужасен, если оскорблен. Ревнив.
Рождён в Москве. Истоки крови — родом
из чуждых пекл, где закипает Нил.
Пульс — бешеный. Куда там нильским водам!

Гневить не следует: настигнет и уьёт.
Когда разгневан — страшно смугл и бледен.
Когда железом ранен в жизнь, в живот —
не стонет, не страшится, кротко бредит.

В глазах — та странность, что белóк белей,
чем нужно для зрачка, который светел.
Негр ремесла, а рыщет вдоль аллей,
как вольный франт. Вот так ее и встретил

в пустой аллее. Какова она?
Божественна! Он смотрит (злой, опасный).
Собаньская (Ржевуской рождена,
но рано вышла замуж, муж — Собаньский,

бесхитростен, ничем не знаменит,
тих, неказист и надобен для виду.
Его собой затмить и заменить
со временем случится графу Витту.

Об этом после). Двадцать третий год.
Одесса. Разом — ссылка и свобода.
Раб, обезумев, так бывает горд,
как он. Ему — двадцать четыре года.

Звать — Каролиной. О, из чаровниц!
В ней всё темно и сильно, как в природе.
Но вот письма французский черновик
в моём, почти дословном, переводе.

2. Он — ей

(Ноябрь 1823 года, Одесса)

Я не хочу Вас оскорбить письмом.
Я глуп (зачеркнуто)... Я так неловок
(зачеркнуто)... Я оскудел умом.
Не молод я (зачеркнуто)... Я молод,
но Ваш отъезд к печальному концу
судьбы приравниваю. Сердцу тесно
(зачеркнуто)... Кокетство Вам к лицу
(зачеркнуто)... Вам не к лицу кокетство.
Когда я вижу Вас, я всякий раз
смешон, подавлен, неумён, но верьте
тому, что я (зачеркнуто)... что Вас,
о, как я Вас (зачеркнуто навеки)...

1973

Теперь о тех, чьи детские портреты
вперяют в нас неукротимый взгляд:
как в рекруты, забритые в поэты,
те стриженные девочки сидят.

У, чудища, в которых всё нечетко!
Указка им — лишь наущенье звезд.
Не верьте им, что кружева и чёлка.
Под чёлкой — лоб. Под кружевами — хвост.

И не хотят, а притворятся ловко.
Простак любви влюбиться норовит.
Грозна, как Дант, а смотрит, как плутовка.
Тать мглы ночной, „мне страшно!“ — говорит.

Муж несравненный! Удели ей ада.
Терзай, покинь, всю жизнь себя кори.
Ах, как ты глуп! Ей лишь того и надо:
дай ей страдать — и хлебом не корми!

Твоя измена ей сподручной ласки.
Когда б ты знал, прижав ее к груди:
всё, что ты есть, она предаст огласке
на столько лет, сколь есть их впереди.

Кто жил на белом свете и мужского
был пола, знает, как судьба прочна
в нас по утрам: иссохло в горле слово,
жить надо снова, ибо ночь прошла.

А та, что спит, смыкая пуще веки, —
что ей твой ад, когда она в раю?
Летит, минуя там, в надзвездном верхе,
твой труд, твой долг, твой грех, твою семью.

А всё ж — пора. Стыдясь, озябнув, мучась,
напялит прах вчерашнего пера
и — прочь, одна, в бесхитростную участь
жить, где жила, где жить опять пора.

Те, о которых речь, совсем иначе
встречают день. В его начальной тьме,
о, их глаза, — как рысий фосфор, зрячи,
и слышно: бьется сильный пульс в уме.

Отважно смотрит! Влюблена в сегодня!
Вчерашний день ей не в науку. Ты —
здесь ни при чем. Ее душа свободна.
Ей весело, что листья так желты.

Ей важно, что тоскует звук о звуке.
Что ты о ней — ей это всё равно.
О мýке речь. Но в степень этой мýки
тебе вовек проникнуть не дано.

Ты мучил женщин, ты был смел и волен,
вчера шутил — уже не помнишь с кем.
Отныне будешь, славный муж и воин,
там, где Лаура, Беатриче, Керн.

По октябрю, по болдинской аллее
уходит вдаль, слезы не обронив, —
нежнее женщин и мужчин вольнее,
чтоб заплатить за тех и за других.

1973

ОЖИДАНИЕ ЁЛКИ

Благоволите, сестра и сестра,
дочери Елизавета и Анна,
не шелохнуться! О, как еще рано,
как неподвижен канун волшебства!

Елизавета и Анна, ни-ни,
не понукайте мгновенья, покуда
медленный бег неизбежного чуда
сам не настигнет крыла беготни.

Близится тройки трёхглавая тень,
Пущин минует сугробы и льдины.
Елизавета и Анна, едины
миг предвкушенья и возраст детей.

Смилуйся, немилосердная мать!
Зверь добродушный, пришелец желанный,
сжался над Елизаветой и Анной,
выкажи вечнозеленую масть.

Елизавета и Анна, скорей!
Всё вам верну, ничего не отнявши.
Грозно-живучее шествие наше
медлит и ждет у закрытых дверей.

Пусть посидит взаперти благодать,
изнемогая и свет исторгая.
Елизавета и Анна, какая
радость — мучительно радости ждать!

Древо взирает на дочь и на дочь.
Надо ль бедой расплатиться за это?
Или же, Анна и Елизавета,
так нам сойдет в новогоднюю ночь?

Жизнь и страданье, и всё это — ей,
той, чьей свечой мы сейчас осиянны.
Кто это?
Елизаветы и Анны
крик: — Это ель! Это ель! Это ель!

1973

Б.М.

Прохожий, мальчик, что ты? Мимо
иди и не смотри мне вслед.
Мной тот любим, кем я любима!
К тому же знай: мне много лет.

Зрачков горячую угрюмость
вперять в меня повремени:
то смех любви, сверкнув, как юность,
позолотил черты мои.

Иду... февраль прохладой лечит
жар щёк... и снегу намело
так много... и нескромно блещет
красой любви лицо мое.

1974

Борису Мессереру

Как никогда, беспечна и добра,
я вышла в снег арбатского двора,
а там такое было: там светало!
Свет расцветал сиреневым кустом,
и во дворе, недавно столь пустом,
вдруг от детей светло и тесно стало.

Ирландский сеттер, резвый, как огонь,
затылок свой вложил в мою ладонь,
щенки и дети радовались снегу,
в глаза и губы мне попал снежок,
и этот малый случай был смешон,
и всё смеялось и склоняло к смеху.

Как в этот миг любила я Москву.
Я думала: чем дольше я живу,
тем проще разум, тем душа свежее.
Вот снег, вот дворник, вот дитя бежит —
всё есть и воспеванью подлежит,
что может быть разумней и священной?

День жизни, как живое существо,
стоит и ждет участия моего,
и воздух дня мне кажется целебным.
Ах, мало той удачи, что — жила,
я совершенно счастлива была
в том переулке, что зовется Хлебным.

1974

Белла Ахмадулина

ДОМ

Борису Мессереру

Я вам клянусь: я здесь бывала!
Бежала, позабыв дышать.
Завидев снежного болвана,
вздыхала, замедляла шаг.

Непрочный памятник мгновенью,
снег рукотворный на снегу,
как ты, жива на миг, а верю,
что жар весны превозмогу.

Бесхитростный прилив народа
к витринам — празднество сулил.
Уже Никитские ворота
разверсты были, снег валил.

Какой полёт великолепный,
как сердце бедное несло
вдоль Мерзляковского — и в Хлебный,
сквозняк — навывлет, двор — насквозь.

В жару предчувствия плохого
поступка до скончанья лет —
в подъезд, где ветхий лак плафона
так трогателен и нелеп.

Как опрометчиво, как пылко
я в дом влюбилась! Этот дом
набит, как детская копилка,
судьбой людей, добром и злом.

Его жильцов разнообразных,
которым не было числа,
подвыпивших, поскольку праздник,
я близко к сердцу приняла.

Какой разгадки разум жаждал,
подглядывая с добротой
неистовую жизнь сограждан,
их сложный смысл, их быт простой?

Пока таинственная бытность
моя в том доме длилась, я
его старухам полюбилась
по милости житья-бытья.

В печальном лифте престарелом
мы поднимались, говоря
о том, как тяжело старым телом
терпеть погоду декабря.

В том декабре и в том пространстве
душа моя отвергла зло,
и все казались мне прекрасны,
и быть иначе не могло.

Любовь к любимому есть нежность
ко всем вблизи и вдалеке.
Пульсировала бесконечность
в груди, в запястье и в виске.

Я шла, ущелья коридоров
меня заманивали в глубь
чужих печалей, свадеб, вздоров,
в плач кошек, в лепет детских губ.

Мне — выше, мне — туда, где должен
пришелец взмыть под крайний свод,
где я была, где жил художник,
где ныне я, где он живет.

Белла Ахмадулина

Его диковинные вещи
воспитаны, как существа.
Глаголет их немое вече
о чистой тайне волшебства.

Тот, кто собрал их воедино,
был не корыстен, не богат.
Возвышенная вещь родима
душе, как верный пёс иль брат.

Со свалки времени бывшего
возвращены и спасены,
они печально и беззлобно
глядят на спешку новизны.

О, для раската громового
так широко открыт раструб.
Четыре вещей граммофона
во тьме причудливо растут.

Я им родня, я погибаю
от нежности, когда вхожу,
я так же шею выгибаю,
я так же голову держу.

Я, как они, витиевата,
и горла обнажен проём.
Звук незапамятного вальса
сохранен в голосе моём.

Не их ли зов меня окликнул
и не они ль меня влекли
очнуться в грозном и великом
недоумении любви?

Как добр, кто любит, как огромен,
как зряч к значенью красоты!
Мой город, словно новый город,
мне предъявил свои черты.

Смуглей великого арапа
восходит ночь. За что мне честь —
в окно увидеть два Арбата:
и тот, что был, и тот, что есть?

Лиловой гроздью виснет сумрак.
Вот стул — капризник и чудака.
Художник мой портрет рисует
и смотрит остро, как чужак.

Уже считая катастрофой
уют, столь полный и смешной,
ямб примеряю пятистопный
к лицу, что так любимо мной.

Я знаю истину простую:
любить — вот верный путь к тому,
чтоб человечество вплотную
приблизить к сердцу и уму.

Всегда быть не хитрей, чем дети,
не злей, чем дерево в саду,
благословляя жизнь на свете
заботливей, чем жизнь свою.

Так я жила былой зимою.
Ночь разрасталась, как сирень,
и всё играла надо мною
печали сильная свирель.

Был дом на берегу бульвара.
Не только был, но ныне есть.
Зачем твержу: я здесь бывала,
а не твержу: я ныне здесь?

Еще жива, еще любима,
всё это мне сейчас дано,
а кажется, что это было
и кончилось давным-давно...

1974

Белла Ахмадулина

Б.М.

Потом я вспомню, что была жива,
зима была и падал снег, жара
стесняла сердце, влюблена была —
в кого? во что?

Был дом на Поварской
(теперь зовут иначе)... День-деньской,
ночь напролёт я влюблена была —
в кого? во что?

В тот дом на Поварской,
в пространство, что зовется мастерской
художника.

Художника дела
влекли наружу, в стужу. Я ждала
его шагов. Смеркался день в окне.
Потом я вспомню, что казался мне
труд ожидания целью бытия,
но и тогда соотносила я
насущность чудной нежности — с тоской
грядущей... А дом на Поварской —
с немислимым и неизбежным днем,
когда я буду вспоминать о нём...

1974

Завидна мне извечная привычка
быть женщиной и мужнею женою,
но уж таков присмотр небес за мною,
что ничего из этого не вышло.

Храни меня, прищур неумолимый,
в сохранности от всех благополучий,
но обойди твоей опекой жгучей
двух девочек, замаранных малиной.

Еще смеются, рыщут в листьях ягод
и вдруг, как я, глядят с такой же грустью.
Как все, хотела — и поила грудью,
хотела — мёдом, а вспоила — ядом.

Непоправима и невероятна
в их лицах мета нашего единства.
Уж коль ворона белой уродится,
не дай ей Бог, чтоб были воронята.

Белеть — нелепо, а чернеть — не ново,
чернеть — недолго, а белеть — безбрежно.
Всё более я пред людьми безгрешна,
всё более я пред детьми виновна.

1974

ЧУЖАЯ МАШИНКА

Моя машинка — не моя.
Мне подарил ее коллега,
которому она мала,
а мне — как раз, но я жалела
ее за то, что человек
обрёк ее своим повадкам,
и, сделавшись живей, чем вещь,
она страдала, став подарком.
Скучал и бунтовал зверёк,
неприрученный нрав насупив,
и отвергал как лишний слог
высокопарнейший мой суффикс.
Пришелец из судьбы чужой
переиначивал мой почерк,
меня неведомой душой
отяготив, но и упрочив.
Снесла я произвол благой,
и сделалось судьбой моею —
всегда желать, чтоб мой глагол
был проще, чем сказать умею.
Пока в себе не ощутишь
последней простоты насущность,
слова твои — пустая тишь,
зачем ее слагать и слушать?
Какое слово предпочесть
словам, их грешному излишку —
не знаю, но всего, что есть,
укор и понуканье слышу.

1974

ДВА ГЕПАРДА

Этот ад, этот сад, этот зоо —
там, где лебеди и зоосад,
на прицеле всеобщего взора
два гепарда, обнявшись, лежат.

Шерстью в шерсть, плотью в плоть проникая,
сердцем втиснувшись в сердце — века́
два гепарда лежат. О, какая,
два гепарда, какая тоска!

Смотрит глаз в золотой, безвоздушный,
равный глаз безысходной любви.
На потеху толпе простодушной
обнялись и лежат, как легли.

Прихожу ли я к ним, ухожу ли —
не слабее с той давней поры
их объятье густое, как джунгли,
и сплошное, как камень горы.

Обнялись — остальное неправда,
ни утрат, ни оград, ни преград.
Только так, только так, два гепарда,
я-то знаю, гепард и гепард.

1974

Анне Ахматовой

Я завидую ей — молодой
и худой, как рабы на галере:
горячей, чем рабыни в гареме,
возжигала зрачок золотой
и глядела, как вместе горели
две зари по-над невской водой.

Это имя, каким назвалась,
потому что сама захотела, —
нарушенье черты и предела
и востока незванная власть,
так — на северный край чистотела
вдруг — персидской сирени напасть.

Но ее и мое имена
были схожи основой кромешной,
лишь однажды взглянула с усмешкой,
как метелью лицо обмела.
Что же было мне делать — посмевшей
зваться так, как назвали меня?

Я завидую ей — молодой
до печали, но до упаданья
головою в ладонь, до страданья,
я завидую ей же — седой
в час, когда не прервали свиданья
две зари по-над невской водой.

Да, как колокол, грузной, седой,
с вещим слухом, окликнутым зовом,

то ли голосом чьим-то, то ль звоном,
излученным звездой и звездой,
с этим неописуемым зобом,
полным песни, уже неземной.

Я завидую ей — меж корней,
нищей пленнице рая и ада.
О, когда б я была так богата,
что мне прелесть оставшихся дней?
Но я знаю, какая расплата
за судьбу быть не мною, а ей.

1974

Пришла. Стоит. Ей восемнадцать лет.
— Вам сколько лет? — Ответила: — Осьмнадцать.—
Многоугольник скул, локтей, колен.
Надменность, угловатость и косматость.

Всё чүдно в ней: и доблесть худобы,
и рыцарский какой-то блеск во взгляде,
и смуглый лоб... Я знаю эти лбы:
ночь напролёт при лампе и тетради.

Так и сказала: — Мне осьмнадцать лет.
Меня никто не понимает в доме.
И пусть! И пусть! Я знаю, что поэт! —
И плачет, не убрав лицо в ладони.

Люблю, как смотрит гневно и темно,
и как добра, и как жадна до боли.
Я улыбаюсь. Знаю, что — давно,
а думаю: давно ль и я, давно ли?..

Прощается. Ей надобно — скорей,
не расточив из времени ни часа,
робеть, не зная прелести своей,
печалиться, не узнавая счастья...

1974

ВОСПОМИНАНИЕ

Мне говорят: который год
в твоём доме идет ремонт,
и, говорят, спешит народ
взглянуть на бодрый ход работ.

Какая вновь взята Казань
и в честь каких побед и ран
встает мучительный глазам
цветастый азиатский храм?

Неужто столько мастеров
ты утруждаешь лишь затем,
созвав их из чужих сторон,
чтоб тень мою свести со стен?

Да не любезничай, чужак!
Ату ее, гони взащей —
из вечной нежности собак,
из краткой памяти вещей!

Не надо храма на крови!
Тень кротко прынет за карниз —
а ты ей лакомство скорми,
которым угощают крыс.

А если в книжный переплёт —
пусть книги кто-нибудь сожжет.
Она опять за свой полёт —
а ты опять за свой сачок.

Белла Ахмадулина

Не забудь про дрожь перил:
дуб изведи, расплавь металл —
им локоть столько говорил,
покуда вверх и вниз летал.

А если чья-нибудь душа
вдруг обо мне тайком всплакнет —
пусть в устье снега и дождя
вспорхнет сквозь белый потолок.

И главное — чтоб ни одной
свечи, чтоб ни одной свечи:
умеет обернуться мной
свеча, горящая в ночи.

Не дай, чтоб паялилась свеча
в твои зрачки своим зрачком.
Вот что еще: убей сверчка!
Мне доводилось быть сверчком.

Всё делай так, как говорю,
пока не поздно, говорю,
не то устанешь к декабрю
и обратишь свой дом в зарю.

1974

Какое блаженство, что блещут снегá,
что холод окреп, а с утра моросило,
что дико и нежно сверкает фольга
на каждом углу и в окне магазина.

Пока серпантин, мишура, канитель
восходят над скукою прочих имуществ,
томительность предновогодних недель
терпеть и сносить — что за дивная участь!

Какая удача, что тени легли
вкруг ёлок и елей, цветущих повсюду,
и вечнозеленая новость любви
душе внушена и прибавлена к чуду.

Откуда нагрянули нежность и ель,
где прежде таились и как сговорились?
Как дети, что ждут у заветных дверей,
я ждать позабыла, а двери открылись.

Какое блаженство, что надо решать,
где краше затеплится шарик стеклянный,
и только любить, только ель наряжать
и созерцать этот мир несказанный...

Декабрь 1974

ФЕВРАЛЬ БЕЗ СНЕГА

Не сани летели — телега
скрипела, и маленький лес
просил подаяния снега
у жадных иль нищих небес.

Я утром в окно посмотрела:
какая невзрачная рань!
Мы оба тоскуем смертельно,
не выжить нам, брат мой февраль.

Бесснежье голодной природы,
измучив поля и сады,
обычную скудость невзгоды
возводит в значенье беды.

Зияли надземные недра,
светало, а солнце не шло.
Взамен плодородного неба
висело пустое ничто.

Ни жизни иной, ни наживы
не надо, и поздно уже.
Лишь бедная прибыль снежинки
угодна корыстной душе.

Вожак беззащитного стада,
я знала морщинами лба,
что я в эту зиму устала
скитаться по пастбищу льда.

Звонила начальнику книги,
искала окольных путей
узнать про возможные сдвиги
в судьбе моих слов и детей.

Там — кто-то томился и бегал,
твердил: его нет! его нет!
Смеркалось, а он всё обедал,
вкушал свой огромный обед.

Да что мне в той книге? Бог с нею!
Мой почерк мне скушен и нем.
Писать, как хочу, не умею,
писать, как умею, — зачем?

Стекло голубело, и дивность
из пекла антенн и реле
пристекала, и длилась,
и зримо сбывалась в стекле.

Не страшно ли, девочка диктор,
над бездной земли и воды
одной в мироздании диком
нестись, словно лучик звезды?

Пока ты скиталась, витала
меж башней и зреньем людей,
открылась небесная тайна
и стала добычей твоей.

Явилась в глаза, уцелела,
и доблестный твой голосок
неоспоримо и смело
падение снега предрёк.

Сказала: грядущую ночью
начнется в Москве снегопад.
Свою драгоценную ношу
на нас облака расточат.

Забудет короткая память
о муке бесснежной зимы,
а снег будет падать и падать,
висеть от небес до земли.

Он станет счастливым избытком,
чрезмерной любовью судьбы,
услугою губ и напитком,
весною пьянящим сады.

Он даст исцеленье болевшим,
богатством снабдит бедняка,
и в этом блаженстве белейшем
сойдутся тетрадь и рука.

Простит всех живущих на свете
метели вседобрая власть,
и будем мы — баловни, дети
природы, влюбившейся в нас.

Да, именно так всё и было.
Снег падал и долго был жив.
А я — влюблена и любима,
и вот моя книга лежит.

1975

Андрею Вознесенскому

За что мне всё это? Февральской теплыни подарки,
поблажки небес: то прилив, то отлив снегопада.
То гляну в окно: белизна без единой помарки,
то сумерки выросли, словно растения сада.

Как этого мало, и входит мой гость ненаглядный.
Какой ты нарядный, а мог оборванцем скитаться.
Ты сердцу приходишься братом, а зрению — наградой.
О, дай мне бедою с твоею звездой расквитаться.

Я — баловень чей-то, и не остается оружия
ума, когда в дар принимаю твой дар драгоценный.
Входи, моя радость. Ну, что же ты медлишь, Андрюша,
в прихожей, как будто в последних потёмках за сценой?

Стекло о стекло, лоб о губы, а ложки — о плоски.
Не слишком ли это? Нельзя ли поменьше, поплоче?
Боюсь, что так много. Ненадобно больше, о Боже.
Но ты расточитель, вот книга в зеленой обложке.

Собрат досточтимый, люблю твою новую книгу,
еще не читая, лаская ладонями глянец.
Я в нежную зелень проникну и в суть ее вникну.
Как всё — зеленеет — куда ни шагнешь и ни глянешь.

Люблю, что живу, что сиденье на ветхом диване
гостей неизбывных его обрекло на разруху.
Люблю всех, кто жив. Только не расставаться давайте,
сквозь слёзы смотреть и нижайше дивиться друг другу.

1975

Белла Ахмадулина

ПАМЯТИ ЛЕНЫ Д.

— Лену Д. Вы не помните? — Лену?
Нет, не помню. Но вижу: вдали
кряжист памятник павшим за Плевну.
Нянчит детство и застит аллею
грузный траур часовни-вдовы.

Мусор таянья. Март. Маросейка.
От войны уцелевший народ
и о Плевне вздохнёт милосердно
в изначалье Ильинского сквера
у прозрачных Ильинских ворот.

— Вы учились с ней в школе. — Вкруг школы
завихренья Покровских чащоб,
отрешенных задворков трущобы,
ветер с Яузы, прозвищ трещотки
бередит и касается щёк.

— Лена Д. не забыла Вас. — Лена?
К моему забытию причтены,
если прямо — Варварка, то слева —
липы лета, кирпичность стены.

Близь китайщины, рдяность, родимость,
тарабарских времён имена.
— Что же Лена? — Она отравилась.
Десять лет, как она умерла.

— Нет! Вы вторите чьей-то ошибке!
Кто допустит до яда реторт

расточающий блики улыбки
привередливо маленький рот?

Вижу девочку в платье синем,
в черном фартуке. Очи — в очках
трагедийны, огромны. Что с ними
станет, знать бы заране. Но как —

хитроумных, бесхитростных, хитрых,
простодушных, не любящих средь —
яда где раздобыть? — Лена — химик.
Лютость жизни — и кроткая смерть.

Вижу: Леной любим Менделеев.
Мною тоже, но я-то протак.
Ямб — мой сладостный яд меж деревьев
возле школы. Аргентум — пустяк.

Не пустуют пустыни. Толпится
здесь и там безутешный народ.
Строен сон: совершенна таблица
Менделеева. Аурум близко
родствен многим умам и рукам.
Всё пустое, что алчно, безлико.
Лены лик мне воспеть бы, но как?

1975

Стихотворения чудный театр,
нежься и кутайся в бархат дремотный.
Я — ни при чем, это занят работой
чуждых божеств несравненный талант.

Я — лишь простак, что извне приглашен
для сотворенья стороннего действия.
Я не хочу! Но меж звездами где-то
грозную палочку взял дирижер.

Стихотворения чудный театр,
нам ли решать, что сегодня сыграем?
Глух к наставленьям и недосыгаем
в музыку нашу влюбленный тиран.

Что он диктует? И есть ли навес —
нас упасти от любви его лютой?
Как помыкает безграмотной лютей
безукоризненный гений небес!

Стихотворения чудный театр,
некого спрашивать: вместо ответа —
мўка, когда раздирают отверстия
труб — для рыданья и губ — для тирад.

Кончено! Лампы огня не таят.
Вольно! Прощаюсь с божественным игом.
Вкратце — всей жизнью и смертью — разыгран
стихотворения чудный театр.

1975

ЗАПОЗДАЛЫЙ ОТВЕТ ПАБЛО НЕРУДЕ

Коль впрямь качнулась и упала
его хранящая звезда,
откуда эта весть от Пабло
и весть моя ему — куда?

С каких вершин светло и странно
он озирает белый свет?
Мы все прекрасны несказанно,
пока на нас глядит поэт.

Вовек мне не бывать такою,
как в сумерках того кафе,
воспетых чудною строкою,
столь благосклонною ко мне.

Да было ль в самом деле это?
Но мы, когда отражены
в сияющих зрачках поэта,
равны тому, чем быть должны.

1975

Как мило всё было, как странно.
Луна восходила, и Анна
печалилась и говорила:
— Как странно всё это, как мило. —
В деревьях вблизи ипподрома —
случайная сень ресторана.
Веселье людей. И природа:
луна, и деревья, и Анна.
Вот мы — соучастники сборищ.
Вот Анна — сообщник природы,
всего, с чем вовеки не споришь,
лишь смотришь — мгновенья и годы.
У трав, у луны, у тумана
и малого нет недостатка.
И я понимаю, что Анна —
явление того же порядка.
Но если вблизи ипподрома,
но если в саду ресторана
и Анна, хотя и продрогла,
смеется так мило и странно,
я стану резвей и развязней
и вымолвлю тост неизбежный:
— Ах, Анна, я прелести вашей
такой почитатель прилежный.
Позвольте спросить вас: а разве
ваш стих — не такая ж загадка,
как встреча Куры и Арагви
близ Мцхета во время заката?
Как эти прекрасные реки
слились для иного значенья,

так вашей единственной речи
нерасторжимо теченья.
В ней чудно слова уцелели,
сколь есть их у Грузии милой,
и раньше — до Свети-Цховели,
и дальше — за нашей могилой.
Но, Анна, вот сад ресторана,
веселье вблизи ипподрома,
и слышно, как ржет неустанно
коней неусыпная дрёма.
Вы, Анна, — ребенок и витязь,
вы — маленький стебель бесстрашный,
но, Анна, клянитесь, клянитесь,
что прежде вы не были в хашной! —
И Анна клялась и смеялась,
смеялась и клятву давала:
— Зарёй, затевающей алость,
клянусь, что еще не бывала! —
О жизнь, я люблю твою сущность:
луну, и деревья, и Анну,
и Анны смятенье и ужас,
когда подступали к духану.
Слагала душа потаенно
свой шелест, в награду за это
присутствие Галактиона
равнялось избытку рассвета,
не то чтобы видимо зренью,
но очевидно для сердца,
и слышалось: — Есмь я и рею
вот здесь, у открытого среза
скалы и домов, что нависли
над бездной Куры близ Метехи.
Люблю ваши детские мысли
и ваши простые утехи. —
И я помышляла: покуда
соседом той тени не стану,
дай, жизнь, отслужить твое чудо,
ту ночь, и то утро, и Анну...

1975

Белла Ахмадулина

Гие Маргвелашвили

Я столько раз была мертва
иль думала, что умираю,
что я безгрешный лист мараю,
когда пишу на нем слова.

Меня терзали жизнь, нужда,
страх поутру, что всё сначала.
Но Грузия меня всегда
звала к себе и выручала.

До чудных слёз любви в зрачках
и по причине неизвестной,
о, как, когда б вы знали, — как
меня любил тот край прелестный.

Тифлис, не знаю, невдомёк —
каким родителем суровым
я брошена на твой порог
подкидышем большеголовым?

Тифлис, ты мне не объяснял,
и я ни разу не спросила:
за что дарами осыпал
и мне же говорил „спасибо“?

Какую жизнь ни сотворю
из дней грядущих, из тумана, —
чтоб отслужить любовь твою,
всё будет тщетно или мало...

1975

Помню — как вижу, зрачки затемню
вёками, вижу: о, как загорело
всё, что растёт, и, как песнь, затаю
имя земли и любви: Сакартвело.

Чуждое чудо, грузинская речь,
Тереком буйствуй в теснине гортани,
ах, я не выговорю — без предтеч
крови, воспитанной теми горами.

Вас ли, о, вас ли, Шота и Важа,
в предки не взять и родство опровергнуть?
Ваше — во мне, если в почву вошла
косточка — выйдет она на поверхность.

Слепы уста мои, где поводырь,
чтобы мой голос впотьмах порезвился?
Леса ли оклик услышу, воды ль —
кажется: вот говорят по-грузински.

Как я люблю, славянин и простак,
недостигаемость скороговорки,
помнишь: лягушки в болоте... О, как
мучают горло предгорья, пригорки

грамоты той, чьи вершины в снегу
Ушбы надменной. О, вздор альпенштока!
Гмерто, ужель никогда не смогу
высказать то — несказанное что-то?

Только во сне — велика и чиста,
словно снега́, — разрастаюсь и рею,
сколько хочу услаждаю уста
речью грузинской, грузинскою речью...

1975

Я знаю, всё будет: архивы, таблицы...
Жила-была Белла... потом умерла...
И впрямь я жила! Я летела в Тбилиси,
где Гия и Шура встречали меня.

О, длилось бы вечно, что прежде бывало:
с небес упал солнцепёк проливной,
и не было в городе этом подвала,
где б Гия и Шура не пили со мной.

Как свечи мерцают родимые лица.
Я пла́чу, и влажен мой хлеб от вина.
Нас нет, но в крутых закоулках Тифлиса
мы встретимся: Гия, и Шура, и я.

Счастливица, знаю, что люди другие
в другие помянут меня времена.
Спасибо! — Да тщетно: как Шура и Гия,
никто никогда не полюбит меня.

1975

МОСКВА НОЧЬЮ ПРИ СНЕГОПАДЕ

Борису Мессереру

Родитель-хранитель-ревнитель души,
что ластишься чудом и чадом?
Усни, не таращ на луну этажи,
не мучь Александровским садом.

Москву ли дразнить белизною Афин
в ночь первого сильного снега?
(Мой друг, твое имя окликнет с афиш
из отчужденья, как с неба.

То ль скареда лампа жалеет огня,
то ль так непроглядна погода,
мой друг, твое имя читает меня
и не узнает пешехода.)

Эй, чудище, храмище, больно смотреть,
орды угомон и поминки,
блаженная пестрядь, родимая речь —
всей кровью из губ без запинки.

Деньга за щекою, раскосый башмак
в садочке, в калине-малине.
И вдруг ни с того ни с сего, просто так,
в ресницах — слеза по Марине...

1975

Я школу Гнесиных люблю,
пока влечет меня прогулка
по снегу, от угла к углу,
вдоль Скатертного переулка.

Дорожка — скатертью, богат
крахмал порфиросной прачки.
Моих две тени по бокам —
две хилых пристяжных в упряжке.

Я школу Гнесиных люблю
за песнь, за превышение прозы,
за желтый цвет, что ноябрю
предъявлен, словно гроздь мимозы.

Когда смеркается досуг
за толщей желтой штукатурки,
что делает согбенный звук
внутри захлопнутой шкатулки?

Сподвижник музыки ушел —
где музыка? Душа погасла
для сна, но сон творим душой,
и музыка не есть огласка.

Не потревожена смычком
и не доказана нимало,
что делает тайком, молчком
ее материя немая?

В тигриных мышцах тишины
она растет прыжком подспудным,
и сны ее совершенны
сокрытым от людей поступком.

Я школу Гнесиных люблю
в ночи, но более при свете,
скользя по утреннему льду,
ловить еду в худые сети.

Влеку суму житья-бытья.
Иному подлежа влеченью,
возвышенно бредет дитя
с огромною виолончелью.

И в две слезы, словно в бинокль,
с недоумением обнаружу,
что безбоязненный бемоль
порхнул в губительную стужу.

Чтобы душа была чиста,
ей надобно доверье к храму,
где чьи-то детские уста
вовсеки распевают гамму,

и крошка-музыкант таков,
что, бодрствуя в наш час дремотный,
один вдоль улиц и веков
всегда бредет он с папкой нотной.

Я школу Гнесиных люблю,
когда бела ее ограда
и сладкозвучную ладью
колышут волны снегопада.

Люблю ее, когда весна
велит, чтоб вылезли петунии,
и в даль открытого окна
доверчиво глядят певунии.

Зачем я около стою?
Мы слух на слух не обменяем:
мой – обращен во глубь мою,
к сторонним звукам невменяем.

Прислушаюсь – лишь боль и резь,
а кажется – легко, легко ведь...
Сначала – музыка. Но речь
вольна о музыке глаголить.

1975

Двенадцать часов. День июля десятый
исчерпан, одиннадцатый — не почат.
Меж зреющей датой и датой иссякшей —
мгновенье, когда телеграф и почтамт
меняют тавро на тавро и печально
вдоль времени следуют бланк и конверт.
До времени, до телеграфа, почтамта
мне дальше, чем до близлежащей, — о нет,
до близплывущей, пылающей ниже,
насушней, чем мой рукотворный огонь
в той нише, где я и крылатые мыши, —
луны, опаляющей глаз сквозь ладонь,
загаром русалок окрасившей кожу,
в оклад серебра облекающей лоб,
и фосфор, демаскирующий кошку,
отныне и есть моя брэнная плоть.
Я мучу доверчивый ум рыболова,
когда, запалив восковую звезду,
взмываю в бревенчатой ступе балкона,
предавшись сверканью, как будто труду.
Всю ночь напролёт для неведомой цели
бессмысленно светится подвиг души,
как будто на ветку рождественской ели
повесили шар для красы и ушли.
Сообщник и прихвостень лунного света,
смотрю, как живет на бумаге строка
сама по себе. И бездействие это
сильнее поступка и слаще стиха.

С луной разделив ее труд и мытарство,
последним усилием свечу загашу
и слепо тащусь в направленья матраца.
За горизонт бытия захожу.

1976

Деревни Бёхово крестьянин...
А звался как и жил когда —
всё мох сокрыл, затмил кустарник,
размыла долгая вода.
Не вычитать из недомолвок
непрочного известняка:
вдруг, бедный, он остался молод?
Да, лишь одно наверняка
известно.
И не больше вздора
всё прочее, на что строку
потратить лень.
Дождь.
С косогора
вид на Тарусу и Оку.

1976

ПУТНИК

Анели Судакевич

Прекрасной медленной дорогой
иду в Алёкино (оно
зовет себя: Алекинó),
и дух мой, мерный и здоровый,
мне внове, словно не знаком
и, может быть, не современник
мне тот, по склону, сквозь репейник,
в Алёкино за молоком
бредущий путник. Да туда ли,
затем ли, ныне ль он идет,
врисован в луг и небосвод
для чьей-то думы и печали?
Я — лишь сейчас, в сей миг, а он —
всегда: пространства завсегда,
подошвами худых сандалий
осуществляет ход времен
вдоль вечности и косогора.
Приняв на лоб припёк огня
небесного, он от меня
всё дальше и — исчезнет скоро.
Смотрю вослед моей душе,
как в сумерках на убыль света,
отсутствую и брезжу где-то —
то ли еще, то ли уже.

И, выпроставшись из артерий,
громоздких пульсов и костей,
вишу, как стайка новостей,
в ночи не принятых антенной.

Белла Ахмадулина

Мое сознание растолкав
и заново его туманя
дремотной речью, тетя Маня
протягивает мне стакан
парной и первобытной влаги.
Сижу. Смеркается. Дождит.
Я вновь жива и вновь должник
вдали белеющей бумаги.
Старуха рада, что зятя
убрали сено. Тишь. Беспечность.
Течет, впадая в бесконечность,
журчание житья-бытья.
И снова путник одержимый
вступает в низкую зарю,
и вчуже долго я смотрю
на бег его непостижимый.
Непоправимо сир и жив,
он строго шествует куда-то,
как будто за красу заката
на нём ответственность лежит.

1976

ПРИМЕТЫ МАСТЕРСКОЙ

Б.М.

О гость грядущий, гость любезный!
Под этой крышей поднебесной,
которая одной лишь бездной
всевышней мглы превзойдена,
там, где четыре граммофона
взирают на тебя с амвона,
пируй и пей за время оно,
за граммофоны, за меня!

В какой немыслимой отлучке
я ныне пребываю, — лучше
не думать! Ломаной полушки
жаль на помин души моей,
коль не смогу твой пир обильный
потешить шуткой замогильной
и, как всеведущий Вергилий,
тебя не встречу у дверей.

Войди же в дом невероятный,
где быт — в соседях со вселенной,
где вечности озноб мгновенный
был ведом людям и вещам
и всплеск серебряных сердечек
о сквозняке пространств нездешних
гостей, когда-то здесь сидевших,
таинственно оповещал.

У ног, взошедших на Голгофу,
доверься моему глаголу

Белла Ахмадулина

и, возведя себя на гору
поверх шестого этажа,
благослови любую малость,
почти предметов небывалость,
не смей, чтобы тебя боялась
шарманки детская душа.

Сверкнет ли в окнах луч закатный,
всплакнет ли ящик музыкальный
иль призрак севера печальный
вдруг вздыбит желтизну седин —
пусть реет над юдолью скушной
дом, как заблудший шар воздушный,
чтоб ты, о гость мой простодушный,
чужбину неба посетил...

1976

Вот не такой, как двадцать лет назад,
а тот же день. Он мною в половине
покинут был, и сумерки на сад
тогда не пали и падут лишь ныне.

Барометр, своим умом дошед
до истины, что жарко, тем же делом
и мнением занят. И оса — дюшес
когтит и гложет ненасытным телом.

Я узнаю пейзаж и натюрморт.
И тот же некто около почтамта
до сей поры конверт не надорвет,
страшась, что весть окажется печальна.

Всё та же в море бледность пустоты.
Купальщик, тем же опаленный светом,
переступает моря и строфы
туманный край, став мокрым и воспетым.

Соединились море и пловец,
кефаль и чайка, ржавый мёд и жало.
И у меня своя здесь жертва есть:
вот след в песке — здесь девочка бежала.

Я помню — ту, имевшую в виду
писать в тетрадь до сини предрассветной.
Я медленно навстречу ей иду —
на двадцать лет красивей и предсмертной.

— Всё пишешь, — я с усмешкой говорю.
Брось, отступишь от рокового дела.
Как я жалею молодость твою.
И как нелепо ты, дитя, одета.

Как тщетно всё, чего ты ждешь теперь.
Всё будет: книги, и любовь, и слава.
Но страшен мне канун твоих потерь.
Молчи. Я знаю. Я имею право.

И ты надменна к прочим людям. Ты
не можешь знать того, что знаю ныне:
в чудовищных веригах немоты
оплачешь ты свою вину пред ними.

Беги не бед — сохранности от бед.
Страшись тщеты смертельного излишка.
Ты что-то важно говоришь в ответ,
но мне — тебя, тебе — меня не слышно.

1977

Марине Цветаевой

I

Какая зелень глаз вам свойственна, однако...
И тьмы подошв — такой травы не изомнут.
С откоса на Оку вы глянули когда-то:
на дне Оки лежит и смотрит изумруд.

Какая зелень глаз вам свойственна, однако...
Давно из-под ресниц обронен изумруд.
Или у вас — ронять в Оку и в глушь оврага
есть что-то зеленей, не знаю, как зовут?

Какая зелень глаз вам свойственна, однако...
Чтобы навек вселить в пространство изумруд,
вам стоило взглянуть и отвернуться: надо
спешить, уже темно и ужинать зовут.

II

Здесь дом стоял. Столетие назад
был день: рояль в гостиной водворили,
ввели детей, открыли окна в сад,
где ныне лют ревнитель викторины.

Ты победил. Виктория — твоя.
Вот здесь был дом, где ныне танцплощадка,
площадка-танц, иль как ее... Видна
звезда небес, как бред и опечатка

в твоём дикоязычном букваре.
Ура, ты победил, недаром злился
и морщил лоб при этих — в серебре,
безумных и недремлющих из гипса.

Белла Ахмадулина

Дом отдыха — и отдыхай, старик.
Прости меня. Ты не виновен вовсе,
что вижу я, как дом в саду стоит
и музыка витает оконazole.

III

Морская — так иди в свои моря!
Оставь меня, скитайся вольной птицей!
Умри во мне, как в мире умерла,
темно и тесно быть твоей темницей.

Мне негде быть, хоть всё это — мое.
Я узнаю твою неблагоклонность
к тому, что спёрто, замкнуто, мало.
Ты — рвущийся из душной кожи лотос.

Ступай в моря! Но коль уйдешь с земли,
я без тебя не уцелею. Разве —
как чешуя, в которой нет змеи:
лишь стройный воздух, вьющийся в пространстве.

IV

Молчали той, зато хвалима эта.
И то сказать — иные времена:
не вняли крику, но целуют эхо,
к ней опоздав, благословив меня.

Зато, ее любившие, брезгливы
ко мне чернила, и тетрадь гола.
Рак на безрыбье или на безглыбье
пригорок — вот вам рыба и гора.

Людской хвале внимая, разум слепнет.
Пред той потупясь, коротаю дни
и слышу вдруг: не осуждай за лепет
живых людей — ты хуже, чем они.

Коль нужно им, возглыбься над низиной
их бедных бед, а рыба немота

не есть ли крик, неслышимый, но зримый,
оранжево запекшийся у рта.

V

Растает снег. Я в зоопарк схожу.
С почтением и холодком по коже
увиджу льва и: — Это лев! — скажу.
Словечко и предметище не схожи.

А той со львами только веселей!
Ей незачем заискивать при встрече
с тем, о котором вымолвит: — Се лев. —
Какая львиность норова и речи!

Я целовала крутолобье волн,
просила море: — Притворись водою!
Страшусь тебя, словно изгнали вон
в зыбь вечности с невнятной звездой.

Та любит твердь за тернии пути,
пыланью брызг предпочитает пыльность
и скажет: — Прочь! Мне надобно пройти. —
И вот проходит — море расступилось.

VI

Как знать, вдруг — мало, а не много:
невхожести в уют, в приют
такой, что даже и острога
столь бесприютным не дают;

мгновения: завидев Блока,
гордыней скул порозоветь,
как больно смотрит он, как блекло,
огромную приемля весть
из детской ручки;

ручки этой,
в страданье о которой спишь,

безумием твоим одетой
в рассеянные грёзы спиц;

расчета: властью никакой
немыслимо пресечь твою
гортань и можно лишь рукою
твоею, —

мало, говорю,
всего, чтоб заплатить за чудный
снег, осыпавший дом Трёхпрудный,
и пруд, и труд коньков нетрудный,
а гений глаза изумрудный
всё знал и всё имел в виду.

Две барышни, слетев из детской
светёлки, шли на мост Кузнецкий
с копейкой удалой купецкой:
Сочельник, нужно наконец-то
для ёлки приобрести звезду.

Влекла их толчея людская,
пред строгим Пушкиным сникая,
от Елисеева таская
кульки и свёртки, вся Тверская —
в мигании, во мгле, в огне.

Всё время важно и вельможно
шел снег, себя даря и множа.
Сереза, поздно же, темно же!
Раз так пройти, а дальше — можно
стать прахом неизвестно где.

1977–1979

ПУТЕШЕСТВИЕ

Человек, засыпая, из мглы выкликает звезду,
ту, которую он почему-то считает своею,
и пеняет звезде: „Воз житья я на кручу везу.
Выдох лёгких таков, что отвергнут голодной свирелью.

Я твой дар раздарил, и не ведает книга моя,
что брезгливей, чем я, не подыщет себе рецензента.
Дай отпраздновать праздность. Сошли на курорт забытья.
Дай уста отомкнуть не для пеня, а для ротозейства”.

Человек засыпает. Часы возвещают отбой.
Свой снотворный привет посылает страдальцу аптека.
А звезда, воссияв, причиняет лишь совесть и боль,
и лишь в этом ее неусыпная власть и опека.

Между тем это — ложь и притворство влюбленной звезды.
Каждый волен узнать, что звезде он известен и жалок.
И доносится шелест: „Ты просишь? Ты хочешь? Возьми!”
Человек просыпается. Бодро встает. Уезжает.

Он предвидел и видит, что замки увиты плющом.
Еще рань и февраль, а природа цвести притерпелась.
Обнаженным зрачком и продутым навывлет плечом
знаменитых каналов он сносит промозглую прелесть.

Завсегдатай соборов и мраморных хладных пустынь,
он продрог до костей, беззащитный, как все иноземцы.
Может, после он скажет, какую он тайну постиг,
в благородных руинах себе раздобыв инфлюэнцы.

Чем южнее его бег, тем мимоза темней и лысей.
Там, где брег и лазурь непомерны, как бред и бравада,
человек опечален, он вспомнил свой старый лицей,
ибо вот где лежит уроженец Тверского бульвара.

Сколько мук, и еще этот юг, где уместнее пляж,
чем захоронье. Прощай. Что растет из гранитных расселин?
Сторож долго решает: откуда же вывез свой плач
посетитель кладбища? Глициния — имя растений.

Путник следует дальше. Собак разноцветные лбы
он целует, их слух повергая в восторженный ужас
тем, что есть его речь, содержание и образ судьбы,
так же просто, как свет для свечи — и занятие, и сущность.

Человек замечает, что взор его слишком велик,
будто есть в нем такой, от него не зависящий, опыт:
если глянет сильнее — невинную жизнь опалит,
и на розовом лице останется шрам или копоть.

Раз он видел и думал: неужто столетья подряд,
чуть меняясь в чертах, процветает вот это семейство? —
и рукою махнул, обрывая ладонью свой взгляд
(благоденствуйте, дескать), — хоть вовремя, но неуместно.

Так он вчуже глядит и себя застигает врасплох
на громоздкой печали в кафе под шатром полосатым.
Это так же удобно, как если бы чертополох
вдруг пожаловал в гости и заполонил палисадник.

Ободрав голый локоть о цепкий шиповник весны,
он берет эту ранку на память. Прощай, мимолетность.
Вот он дома достиг и, при сильной усмешке звезды,
с недоверьем косится на оцарапанный локоть.

Что еще? В магазине он слушает говор старух.
Озирает прохожих и втайне печется о каждом.
Словно в этом его путешествия смысл и триумф,
он стоит где-нибудь и подолгу глядит на сограждан.

1977

Александрю Кушнеру

Вид рынка в Гагре душу веселит.
На злато дыни медный грош промотан.
Не есть ли я ленивый властелин,
чей взор пресыщен пурпуром и мёдом?

Вздыхает нега, бодрствует расчет,
лоснится благоденствие Кавказа.
Торговли огнедышащий зрачок
разнежен сном и узок от коварства.

Где, визирь мой, цветочные ряды?
С пристрастьем станем выбирать наложниц.
Хвалю твои беспечные труды,
владелец сада и садовых ножниц.

Знай, я полушки ломаной не дам
за бледность черт, чья быстротечна участь.
Я красоту люблю, как всякий дар,
за прочный позвоночник, за живучесть.

Я алчно озираюсь. Наконец,
как старый царь — невольницу младую,
влеку я розу в бедный мой дворец
и на свои седины негодную.

Эй вы, плавней, кто тянет паланкин!
Моих два локтя понукаю, то есть —
хранить ее, пока меж половин
всего, что в нём, расплющил нас автобус.

Белла Ахмадулина

В беспамятстве, в росе еще живой,
спи, жизнь моя, твой обморок не вечен.
Как соразмерно мощный стебель твой
прелестно малой головой увенчан.

Уф, отдышусь. Вот дом, в чей бок тавро
впечатано: „Дом творчества”. Как просто!
Есть дом у нас, чтоб сотворить твоё
бессмертие на белом свете, роза!

Пока юлит перед тобой глагол,
твой гений сразу обретает навык
дышать водой, опередив глоток
сестёр твоих — прислужниц и чернавок.

Прости, дитя, что, из родимых куц
изъяв тебя, томлю тебя беседой.
Лишь для того мой разум всемогущ,
чтоб стала ты пусть мертвой, но воспетой.

Что розе этот вздор? Уныл и дряхл
хваленый ум, и всяк эпитет скуден.
Он бесполезней и скучнее драхм
ее красе, что занята искусством

растеньем быть, а не предметом для
хвалы моей. О, как светает грозно.
Я говорю при первом свете дня:
— Как ты прекрасна, розовая роза!

Та роза ныне — слабый призрак, вздох.
Но у нее заступник есть в природе.
Как беспощадно он взимает долг
с немой души, робеющей при розе.

1977

Что — музыка? Зачем? Я — не искатель мўки.
Я всё нашла уже и всё превозмогла.
Но быть живой невмочь при этом лишнем звуке,
о мука мук моих, о музыка моя.

Излишек музык — две. Мне — и одной довольно,
той, для какой пришла, была и умерла.
Но всё это — одно. Как много и как больно.
Чужая — и не тронь, о музыка моя.

Что нужно остриям оргána? При оргáne
я знала, что распят, кто, говорят, распят.
О музыка, вся жизнь — с тобою пререканье,
и в этом смысл двойной моих услад-расплат.

Единожды жила — и дважды быть убитой?
Мне, впрочем, — впору. Жизнь так сладостно мала.
Меж музыкой и мной был музыкант любимый.
Ты — лишь затем моя, о музыка моя.

Нет, ты есть он, а он — тебя предрекший рокот,
он проводил ко мне всё то, что ты рекла.
Как папоротник тих, как проповедник кроток
и — краткий острый свет, опасный для зрачка.

Увидела: лицо и бархат цвета... цвета? —
зеленого, слабей, чем блеск и изумруд:
как тина или мох. И лишь при том здесь это,
что совершенен он, как склон, как холм, как пруд —

столь тихие вблизи громокипящей распри.
Не мне ее прощать: мне та земля мила,
где Гёте, Рейн, и он, и музыка — прекрасны,
Германия моя, гармония моя.

Вид музыки так прост: он схож с его улыбкой.
Еще там были: шум, бокалы, торжество,
тот ученик его прельстительно великий,
и я — какой ни есть, но ученик его.

1977

Что в Калифорнии, Булат, —
не знаю. Знаю, что прелестный,
просторный край. В природе летней
похолодает, говорят.
Пока — не холодно. Блестит
простор воды, идущий зною.
Над розой, что отрадно взору,
колибри пристально висит.
Ну, вот и всё. Пригож и юн
народ. Июль вступает в розы.
А я же „Вестником Европы”
свой вялый развлекаю ум.
Всё знаю я про пятый год
столетья прошлого: раздоры,
открытья, пререканья, вздоры
и что потом произойдет.
Откуда „Вестник”? Дин, мой друг,
славист, профессор, знаний светоч,
вполне и трогательно сведущ
в словесности, чей вкус и звук
нигде тебя, нигде меня
не отпускает из полона.
Крепчает дух Наполеона.
Графиня Некто умерла,
до крайних лет судьбы дойдя.
Все пишут: кто стихи, кто прозу.
А тот, кто нам мороз и розу
преподнесет, — еще дитя
безвестное, но не вполне:
он — знаменитого поэта
племянник, стало быть, родне

известен. Дальше — буря, мгла.
Булат, ты не горюй, всё вроде
о'кей. Но „Вестником Европы”
зачитываться я могла,
могла бы там, где ты и я
брели вдоль пруда Химок возле.
Колибри зорко видит в розе
насущенный смысл житья-бытья.
Меж тем Тому́ — уже шесть лет!
Еще что в мире так же дивно?
Всё это удивляет Дина.
Засим прощай, Булат, мой свет.

1977

ШУТОЧНОЕ ПОСЛАНИЕ К ДРУГУ

Покуда жилкой голубою
безумья орошен висок,
Булат, возьми меня с собою,
люблю твой лёгонький возок.

Ямщик! Я, что ли, — завсегдатай
саней? Скорей! Пора домой,
в былое. О Булат, солдатик,
родимый, неубитый мой.

А остальное — обойдется,
приложится, как ты сказал.
Вот зал, и вальс из окон льется.
Вот бал, а нас никто не звал.

А всё ж — войдем. Там, у колонны...
так смугл и бледен... Сей любви
не перенести! То — Он. Да Он ли?
Не надо знать, и не гляди.

Зачем дано? Зачем мы вхожи
в красу чужбин, в чужие дни?
Булат, везде одно и то же.
Булат, садись! Ямщик, гони!

Как снег летит! Как снегу много!
Как мною ты любим, мой брат!
Какая долгая дорога
из Петербурга в Ленинград.

1977

Опять дана глазам награда Ленинграда...
Когда сверкает шпиль, он причиняет боль.
Вы неразлучны с ним, вы — острière и рана,
и здесь всегда твоя второстепенна роль.

Зрачок пронзён насквозь, но зрение на убыль
покуда не идет, и по причине той,
что для него всегда целебен круглый купол,
спасительно простой и скромно золотой.

Невинный Летний сад обрёл себя на иней,
но сей изыск списать не предстоит перу.
Осталось, к небесам закинув лоб наивный,
решать: зачем душа потворствует Петру?

Не всадник и не конь, удержанный на месте
всевластною рукой, не слава и не смерть —
их общий стройный жест, изваянный из меди,
влияет на тебя, плоть обращая в медь.

Всяк царь мне дик и чужд. Знать не хочу! И всё же
мне не подсудна власть — уставить в землю перст,
и причинить земле колонн и шпилей всходы,
и предрешить того, кто должен их воспеть.

Из Африки изъять и приручить арапа,
привить ожог чужбин Опочке и Твери —
смысл до поры сокрыт, в уме — темно и рано,
но зреет близкий ямб в неграмотной крови...

Так некто размышлял... Однако в Ленинграде
какой февраль стоит, как весело смотреть:
всё правильно окрест, как в пушкинской тетради,
раз навсегда, влопад и только так, как есть!

1978

Не добела раскалена,
и все-таки уже белеет
ночь над Невую.
Ум болеет
тоской и негой молодой.
Когда о купол золотой
луч разобьется предрассветный
и лето входит в Летний сад,
каких наград, каких услад
иных
просить у жизни этой?

1978

ВОЗВРАЩЕНИЕ ИЗ ЛЕНИНГРАДА

Всё б глаз не отрывать от города Петрова,
гармонию читать во всех его чертах
и думать: вот гранит, а дышит, как природа...
Да надобно домой. Перрон. Подъезд. Чердак.

Былая жизнь моя — предгорье сих ступеней.
Как улица стара, где жили повара.
Развязно юн пред ней пригожий дом столетний.
Светает, а луна трудов не прервала.

Как велика луна вблизи окна. Мы сами
затеяли жильё вблизи небесных недр.
Попробуем продлить привал судьбы в мансарде:
ведь выше — только глушь, где нас с тобою нет.

Плеск вечности в ночи подтачивает стены
и зарится на миг, где рядом ты и я.
Какая даль видна! И коль взглянуть острее,
возможно различить границу бытия.

Вселенная в окне — букварь для грамотея,
читаю по складам и не хочу прочесть.
Объятую зарей, дымами и метелью,
как я люблю Москву, куда время есть.

И давешняя мысль — не больше безрассудства.
Светает на глазах, всё шире, всё быстреей.
Уже совсем светло. Но, позабыв проснуться,
простёр Тверской бульвар цепочку фонарей.

1978

Петра там нет. Не эту же великость
дымов и лязгов он держал в уме.
И хочется скорей покинуть Липецк,
хоть жаль холма и дома на холме.

Оттуда вид печальнее и шире
на местность и на помысел о том,
как, смиренного уезда на вершине,
быльём своим был обитаем дом.

Вцепился охранительный малинник
в нескромный взор, которым мещанин
смотрел на окна: сколько ж именинник
гостей созвал и света учинил.

Здесь ныне процветает учрежденье.
И, в сумерках смущая секретарш,
зачем, — не понимает привиденье
план составлять и штаты сокращать?

Мы — верхоглядь и не обессудим
чужую жизнь, где мы не ко двору,
но ревность придирается, что скуден
столп, посвященный городом Петру.

1978

ТИФЛИС

Отару и Тамазу Чиладзе

Как любила я жизнь! — О любимая, длись! —
я вослед Тициану твердила.
Я такая живучая, старый Тифлис,
твое сердце во мне невредимо.

Как мацонщик, чей ослик любим, как никто,
возвещаю восход и мацони.
Коль кинто не придет, я приду, как кинто,
веселить вас, гуляки и сони.

Ничего мне не жалко для ваших услад.
Я — любовь ваша, слухи и басни.
Я нырну в огнедышащий маленький ад
за стихом, как за хлебом — хабази.

Жил во мне соловей, всё о вас он звенел,
и не то ль меня сблизило с вами,
что на вас я взирала глазами зверей
той породы, что знал Пиросмани.

Без Тифлиса жила, по Тифлису томясь.
Есть такие края неужели,
где бы я преминула, Отар и Тамаз,
вспомнить вас, чтоб глаза повлажнели?

А когда остановит дыханье и речь
та, последняя в жизни превратность,
я успею подумать: позволь умереть
за тебя, мой Тифлис, моя радость!

1978

Мне Тифлис горбатый снится..

Осип Мандельштам

То снился он тебе, а ныне ты — ему.
И жизнь твоя теперь — Тифлиса сновиденье.
Поскольку город сей непостижим уму,
он нам при жизни дан в посмертные владенья.

К нам родина щедра, чтоб голос отдышал,
когда поет о ней. Перед дорогой дальней
нам всё же дан привал, когда войдем в духан,
где чем душа светлей, тем пение печальней.

Клянусь тебе своей склоненной головой
и воздухом, что весь — душа Галактиона,
что город над Курой — всё милосердней твой,
ты в нём не меньше есть, чем был во время оно.

Чем наш декабрь белей, когда роняет снег,
тем там платан красней, когда роняет листья.
Пусть краткому „теперь” был тесен белый свет,
пространному „потом” — достаточно Тифлиса.

1978

Фазилу Искандеру

Как будто сон тягучий и огромный,
клубится день огромный и тягучий.
Пугаясь роста и красоты магнолий,
в нём кто-то плачет над кофейной гущей.

Он ослабел — не отогнать осу вот,
над вещей гущей нависает если.
Он то ли болен, то ли так тоскует,
что терпит боль, не меньшую болезни.

Нисходит сумрак. Созревают громы.
Страшусь узнать: что эта гуща знает?
О, горе мне, магнолии и горы.
О море, впрямь ли смысл твой лучезарен?

Я — мертвый гость беспечности курортной:
пусть пьет вино, лоснится и хохочет.
Где жизнь моя? Вот блеск ее короткий
за мыс заходит, навсегда заходит.

Как тяжек день — но он не повторится.
Брег каменный, мы вместе каменеем.
На набережной в заведенье „Рица”
я юношам кажусь Хемингуэем.

Идут ловцы стаканов и тарелок.
Печаль моя относится не к ним ли?
Неужто всё — для этих, загорелых
и ни одной не прочитавших книги?

Я упасу их от моей печали,
от грамоты моей высокопарной.
Пусть всегда толпятся на причале,
вблизи прибоя — с ленью и опаской.

О Море-Небо! Ниспошли им легкость.
Дай мне беды, а им — добра и чуда.
Так расточает жизни мимолетность
тот человек, который — я покуда.

1979

Пришелец, этих мест название: курорт.
Пляж озабочен тем, чтоб стал ты позолочен.
Страдалец, извлеки из северных корост
всей бледности твоей озябший позвоночник.

Магнолий белый огонь в честь возожжен твою.
Ты ниц — возьми себе плодов и роз излишек.
Власть моря велика — и всякую вину
оно простит тебе и боль ума залижет.

Уж ты влюблен в балкон — в цветах лиловых весь.
Балкон средь облаков висит и весь в лиловом.
Не знаю кто, но есть тебе пославший весть
об упоенье уст лилово-винным словом.

Счастливец вновь спешит страданья раздобыть.
В избытке райских кущ он хочет быть в убытке.
Придрался вот к чему и вот чего забыть
не хочет, говорит: я здесь — а где убыхи?

Нет, вовсе не курорт названье этих мест.
Край этот милосерд, но я в нём только странник.
Гость родины чужой, о горе мне, я — есмь,
но нет убыхов здесь и мёртв язык-изгнанник.

К Аллаху ли взывать, иль Боже говорить,
иль Гмерто восклицать — всё верный способ зова.
Прошу: не одаряй. Ненадобно дарить.
У всех не отними ни родины, ни слова.

1979

Сухуми

Как холодно в Эшери и как строго.
На пир дождя не звал нас небосвод.
Нет никого. Лишь бодрствует дорога
влекомых морем хладных горных вод.

Вино не приглашает к утешенью
условному. Ум раны трезв и наг.
Ущелье ныне мрачно, как ущелью
пристало быть. И остается нам

случайную пустыню ресторана
принять за совершенство пустоты.
И, в сущности, как мало расстоянья
меж тем и этим. Милый друг, прости.

Как дней грядущих призрачный историк
смотрю на жизнь, где вместе ты и я,
где сир и дик средь мирозданья столик,
накрытый на краю небытия.

Нет никого в ущелье... Лишь ущелье,
где звук воды велик, как звук судьбы.
Ах нет, мой друг, то просто дождь в Эшери.
Так я солгу — и ты мне так солги.

1979

БАБОЧКА

Антонине Чернышёвой

День октября шестнадцатый столь тёпел,
жара в окне так приторно желта,
что бабочка, усопшая меж стекол,
смерть прервала для краткого житья.

Не страшно ли, не скушно ли? Не зря ли
очнулась ты от участи сестер,
жаднейшая до бренных лакомств яви
среди прочих шоколадниц и сладён?

Из мертвой хватки, из загробной дрёмы
ты рвешься так, что, слух острее будь,
пришлось бы мне, как на аэродроме,
глаза прикрыть и голову пригнуть.

Перстам неотпускающим, незримым
отдав щепотку боли и пыльцы,
пари, предавшись помыслам орлиным,
сверкай и нежься, гибни и прости.

Умру иль нет, но прежде изнурю я
свечу и лоб: пусть выдумают — как
благословлю я хищность жизнелюбья
с добычей жизни в меркнувших зрачках.

Пора! В окне горит огонь-затворник.
Усугубилась складка меж бровей.
Пишу: октябрь, шестнадцатое, вторник —
и Воскресенье бабочки моей.

1979

Илье Дадашидзе

Смеркается в пятом часу, а к пяти
уж смерклось. Что сладостней поздних
шатаний, стояний, скитаний в пути
не так ли, мой пёс и мой посох?

Трава и сугробы, октябрь, но февраль.
Тьму выбрав, как свет и идею,
не хочет свободный и дикий фонарь
служить эдисонову делу.

Я предана этим бессветным местам,
безлюдью их и безлунью,
науськавшим гнаться за мной по пятам
позёмку, как свору борзую.

Полога дорога, но есть перевал
меж скромным подъемом и спуском.
Отсюда я вижу, как волен и ал
огонь в обиталище узком.

Терзаясь значеньем окна и огня,
всяк путник умерит здесь поступь,
здесь всадник ночной придержал бы коня,
здесь медлят мой пёс и мой посох.

Ответствуйте, верные поводыри:
за склоном и за поворотом
что там за сияющий замо́к вдали,
и если не замо́к, то что там?

Белла Ахмадулина

Зачем этот пламень так смел и велик?
Чьи падают слёзы и пряди?
Какой же избранник ее и должник
в пленительном пекле багряном?

Кто ей из веков отвечает кивком?
Чьим латам, сединам и ранам
не жаль и не мало пропасть мотыльком
в пленительном пекле багряном?

Ведуний там иль чернокнижников пост?
Иль пьется богам и богиням?
Ужайший мой круг, мой посох и пёс,
рванемся туда и погибнем.

Я вижу, вам путь этот странный знаком,
во мгле что горит неусыпно?
— То лампа твоя под твоим же платком,
под красным, — ответила свита.

Там, значит, никто не колдует, не пьет?
Но вот, что страшней и смешнее:
отчасти мы все, мой посох и пёс,
той лампы моей измышленье.

И это в селенье, где нет поселян, —
спасенье, мой пёс и мой посох.
А кто нам спасительный свет посылал —
неважно. Спасибо, что послан.

Октябрь—ноябрь 1979

Переделкино

Мы начали вместе: рабочие, я и зима.
Рабочих свезли, чтобы строить гараж с кабинетом
соседу. Из них мне знакомы Матвей и Кузьма
и Павел-меньшой, окруженные кордебалетом.

Окно, под каким я сижу для затеи моей,
выходит в их шум, порицающий силу раствора.
Прошло без помех увядание рощ и полей,
листва поредела, и стало светло и просторно.

Зима поспешала. Холодный сентябрь иссякал.
Затея томила и не давалась мне что-то.
Коль кончилось курево или вдруг нужен стакан,
ко мне отражали за прибылью Павла-меньшого.

Спрошу: — Как дела? — Засмеется: — Как сажа бела.
То нет кирпича, то застряла машина с цементом.
— Вот-вот, — говорю, — и мои таковы же дела.
Утешимся, Павел, печальным напитком целебным.

Октябрь наступил. Стало Пушкина больше вокруг,
верней, только он и остался в уме и природе.
Пока у зимы не валилась работа из рук,
Матвей и Кузьма на моём появлялись пороге.

— Ну что? — говорят. Говорю: — Для затеи пустой,
наверно, живу. — Ничего, — говорят, — не печалься.
Ты видишь в окно: и у нас то и дело простой.
Тебе веселей: без зарплаты, а всё ж — без начальства...

Нежданно-негаданно — невидаль: зной в октябре.
Кирпич и цемент обрели наконец-то единство.
Все травы и твари разнежились в чуждом тепле,
в саду толчая: кто расцвел, кто воскрес, кто родился.

У друга какого, у юга неужто займы
наш север выпрашивал блики, и блески, и тени?
Меня ободряла промашка неловкой зимы,
не боле меня преуспевшей в заветной затее.

Сияет и греет, но рано сгущается темь,
и тотчас же стройка уходит, забыв о постройке.
Как, Пушкин, мне быть в октября девятнадцатый день?
Смеркается — к смерти. А где же друзья, где восторги?

И век мой жесточе, и дар мой совсем никакой.
Всё кофе варю и сижу, пригорюнясь, на кухне.
Вдруг — что-то живое ползет меж щекой и рукой.
Слезу не узнала. Давай посвятим ее Кюхле.

Зима отслужила безумье каникул своих
и за ночь такие хоромы воздвигла, что диво.
Уж некуда выше, а снег всё валил и валил.
Как строят — не видно, окно — непроглядная льдина.

Мы начали вместе. Зима завершила труды.
Стекло поскребла: ну и ну, с новосельем соседа!
Прилажена крыша, и дым произрос из трубы.
А я всё сижую, всё гляжу на падение снега.

Вот Павел, Матвей и Кузьма попрощаться пришли.
— Прощай, — говорят. — Мы-то знаем тебя не по книжкам.
А всё же для смеха стишок и про нас напиши.
Ты нам не чужая — такая простая, что слишком...

Ну что же, спасибо, и я тебя крепко люблю,
заснеженных этих равнин и дорог обитатель.
За все рукоделья, за кроткий твой гнев во хмелю,
еще и за то, что не ты моих книжек читатель.

Уходят. Сказали: — К Ноябрьским уж точно сдадим.
Соседу в толкуй: всё же праздник, пусть будет попроще... —
Ноябрь на дворе. И горит мой огонь-нелюдим.
Без шума соседнего в комнате тихо, как в роще.

А что же затея? И в чём ее тайная связь
с окном, возлюбившим строительства скромную новость?

Не знаю.

Как Пушкину нынче луна удалась!

На славу мутна и огромна, к морозу, должно быть!

1979



*Белла
Ахмадулина*

СОЧИНЕНИЯ • ТОМ 1
ПЕРЕВОДЫ
ИЗ ГРУЗИНСКОЙ
ПОЭЗИИ

Николоз Бараташвили

МЕРАНИ

Мчится Конь — без дорог, отвергая дорогу люблю.
Вслед мне каркает ворон злоокий: живым я не буду.
Мчись, Мерани, пока не паду я на землю сырую!
С ветром бега смешай моих помыслов мрачную бурю!

Нет предела тебе! Лишь прыжка опрометчивость страстная —
Над водою, горою, над бездною бедствия всякого.
Мой летящий, лети, сократи мои муки и странствия.
Не жалея, не щади твоего безрассудного всадника!

Пусть отчизну покину, лишу себя друга и сверстника,
Не увижу родных и любимую, сладкоречивую, —
Но и в небе чужбины звезда моей родины светится,
Только ей я поведаю тайну страдания чистую!

Всё, что в сердце осталось, — влеку я во мглу голубую,
Всё, что в разуме живо, — безумному бегу дарую!
С ветром бега смешай моих помыслов мрачную бурю!
Мчись, Мерани, пока не паду я на землю сырую!

Пусть не ведать мне ласки родного кладбища пустынного,
Тени предков со мной не поделятся миром и славою!
Черный ворон мне роет могилу средь поля постылого.
И останки костей моих будут для вихрей забавою.

Не сойдутся родные — простить мне грехи и провинности,
Не заплачет любимая — крикнут голодные коршуны!
Мчись, Мерани, вперед, за пределы судьбы меня вынеси,
Не бывал я покорным и впредь не узнаю покорности!

Пусть, отвергнутый всеми и проклятый всеми, умру я.
Враг судьбы — презираю разящую силу слепую!
Мчись, Мерани, пока не упал я на землю сырую!
С ветром бега смешай моих помыслов мрачную бурю!

Не бесплодно стремленье души обреченной и раненой!
Мой собрат небывалый продолжит прыжок мой
над пропастью.
Неспроста, о Мерани, не зря, не впустую, Мерани мой,
Мы полёт затевали, гнушаясь расчётом и робостью!

Мчится Конь — без дорог, отвергая дорогу любую.
Вслед мне каркает ворон злоокий: живым я не буду.
Мчись, Мерани, пока не паду я на землю сырую!
С ветром бега смешай моих помыслов мрачную бурю!

1842

ПЕРСИКОВОЕ ДЕРЕВО

Опять смеркается, и надо,
Пока не смерклось и светло,
Следить за увяданьем сада
Сквозь запотевшее стекло.

Давно ли, приминая гравий,
Я здесь бродил, и на виду,
Словно букет меж чистых граней,
Стояло дерево в цвету.

Как иноземная царица,
Казало странные черты,
И пахли горько и целебно
Им оброненные цветы.

Его плодов румяный сахар
Я собирал между ветвей.
Оно смеялось — добрый знахарь
Той детской радости моей.

И всё затем, чтоб днем печальным
Смотреть немея, не дыша,
Как в легком выдохе прощальном
Возносится его душа.

И — всё охвачено верченьем,
Круженьем, и в глазах темно.
Как будто в небе предвечернем,
В саду моём красным-красно.

Сиротства огненный оттенок
Ложится на лицо и грудь,
Обозначается на стенах
В кирпич окрашенная грусть.

Я сам, как дерево седое,
Внутри оранжевой каймы,
Над пламенем и над водою
Стою в предчувствии зимы.

1915

МЕРИ

Венчалась Мери в ночь дождей,
И в ночь дождей я проклял Мери.
Не мог я отворить дверей,
Восставших между мной и ей,
И я поцеловал те двери.

Я знал — там упадают ниц,
Колечком палец награждают.
Послушай! Так кольцуют птиц!
Рабынь так рабством утруждают!

Но я забыл твое лицо!
Твой профиль нежный, твой дикарский,
Должно быть, тёмн, как крыльцо
Ненастною порой декабрьской?

И ты, должно быть, на виду
Толпы заботливой и праздной
Прносишь белую фату,
Как будто траур безобразный?

Не хорони меня! Я жив!
Я счастлив! Я любим судьбою!
Как запах приторен, как лжив
Всех роз твоих... Но Бог с тобою.

Не ведал я, что говорю, —
Уже рукою обрученной
И головою обреченной
Она склонилась к алтарю.

И не было на них суда —
На две руки, летящих мимо...
О, как я молод был тогда.
Как стар теперь.
Я шел среди дыма,

Вкруг дома твоего плутал,
Во всякой сомневался вере.
Сто лет прошло. И, как платан,
Стою теперь.
Кто знает, Мери,

Зачем мне показалось вдруг,
Что нищий я? И в эту осень
Я обезумел — перстни с рук
Я поснимал и кинул оземь?

Зачем „Могильщика” я пел?
Зачем среди луж огромных плавал?
И холод бедственный терпел,
И „Я и ночь” читал и плакал?

А дождик лил всю ночь и лил
Всё утро, и во мгле опасной
Всё плакал я, как старый Лир,
Как бедный Лир, как Лир прекрасный.

1915

СНЕГ

Лишь бы жить, лишь бы пальцами трогать,
Лишь бы помнить, как подле моста,
Снег по-женски закидывал локоть,
И была его кожа чиста.

Уважать драгоценную важность
Снега, павшего в руки твои,
И нести в себе зимнюю влажность
И такое терпенье любви.

Да уж поздно. О милая! Стыну
И старею.
О, взлёт наших лиц —
В снегопаданье, в бархат, в пустыню,
Как в уют старомодных кулис.

Было ль это? Как чисто, как крупно
Снег летит... И наверно, как встарь,
С январем побрататься нетрудно.
Но минуй меня, брат мой, январь.

Пролетание и прохожденье —
Твой урок я усвоил, зима.
Уводящее в вечность движенье
Омывает нас, сводит с ума.

Дорогая, с каким снегопадом
Я тебя отпустил в белизну
В синем, синеньком, синеватом
Том пальтишке — одну, о, одну?

Твоего я не выследил следа
И не выгадал выгоды нам —
Я следил расстиланье снега,
Его склонность к лиловым тонам.

Как подумаю — радуг неровность,
Гром небесный, и звезды, и дым —
О какая нависла огромность
Над печальным сердечком твоим.

Но с тех пор, властью всех твоих качеств,
Снег целует и губит меня.
О, запинок, улыбок, чудачеств
Снегопад среди белого дня!

Ты меня не утетишь свободой,
И в великом терпенье любви
Всею белой и синей природой
Ты ложишься на плечи мои.

Как снежит... И стою я под снегом
На мосту, между двух фонарей,
Как под плачем твоим, как под смехом,
Как под вечной заботой твоей.

Всё играешь, метелишь, хлопчешь.
Сжалься же наконец надо мной —
Как-нибудь, как угодно, как хочешь,
Только дай разминуться с зимой.

1916

ТЕБЕ ТРИНАДЦАТЬ ЛЕТ

Тебе тринадцать лет. О старость этих
Двух рук моих! О добрый мир земной,
Где детские уста всех арифметик
Тринадцать раз смеются надо мной!
Я путаюсь в тринадцати решеньях —
Как весело! Как голова седа!
Тринадцать пуль отлей мне, оружейник,
И столько ж раз я погублю себя.
О девочка, ребенок с детским жестом,
Привставшая над голубым мячом,
Как смело ты владеешь вечно женским
И мудрым от рождения плечом.
Я возведен — о, точность построенья! —
Причудой несчастливого числа
В тринадцатую степень повторенья.
О как, шутник, твоя слеза чиста!

1916

СКОРЕЕ — ЗНАМЁНА!

Светает! И огненный шар
раскаленный встает из-за моря...
Скорее — знамёна!
Возжаждала воли душа
и, раннею ранью, отвесной тропею,
раненой ланью спеша,
летит к водопою...
Терпеть ей осталось немного.
Скорее — знамёна!
Слава тебе, муку принявший
и павший в сражении витязь!
Клич твой над нами витает:
— Идите за мною, за мною!
Светает!
Сомкнитесь, сомкнитесь, сомкнитесь!
Знамёна, знамёна...
Скорее — знамёна!

13 марта 1917

ОРЛЫ УСНУЛИ

Вот сказки первые слова:
Орлы уснули, как орлята, —
И у орлов в часы заката
Ко сну клонится голова.

Орлы, прошу вас, не теперь,
Нет, не теперь смежайте очи!
Но спите — и огонь средь ночи
Походкой женской входит в дверь.

В дверь ваших гор и облаков
Кулак оранжевый стучится,
И знает, что беда случится,
Семейство прозорливых сов.

Но спите вы, как детвора,
Там, в ваших сумерках неверных,
И трубы ваших снов военных
Молчат, не говорят: „Пора!“

О пламя, не обидь орла!
Спасутся маленькие птахи,
Меж тем как обгорят на плахе
Два величавые крыла.

Но поздно! Перья их на треть
Ожог губительный отметил.
Не дай мне Бог, как птицам этим,
Проснуться, чтобы умереть.

С веселой алчностью орды
Плясал пожар, и птиц оравы
Взлетали, и у вод Арагвы
Поникли головой орлы.

„Я видел ворона. Дрожа
От низости, терзал он тело,
Что брезговать землей умело
И умерло”, – сказал Важа.

1918

ПОЭЗИЯ – ПРЕЖДЕ ВСЕГО

О друзья, лишь поэзия прежде, чем вы,
Прежде времени, прежде меня самого,
Прежде первой любви, прежде первой травы,
Прежде первого снега и прежде всего.

Наши души белеют белее, чем снег,
Занимается день у окна моего,
И приходит поэзия прежде, чем свет,
Прежде Свети-Цховели и прежде всего.

Что же, город мой милый, на ласку ты скуп?
Лишь последнего жду я венка твоего,
И уже заклинанья срываются с губ:
Жизнь, и Смерть, и Поэзия – прежде всего.

12 декабря 1920

НАТЭЛА ИЗ ЦИНАНДАЛИ

Я птицей был, мне разрешалось,
Как в небо, ринуться в силок.
Я ринулся — и всё смешалось:
Натэла, Цинандали, жадность
К тебе, о виноградный сок.

Зачем я вырвался, Натэла?
Зачем освободил крыла?
Когда я вышел, ночь светлела,
Была уже светлым-светла.

Уже рассветный ветер дунул,
И птиц возникли голоса,
И я о Тинатин подумал
И к небу обратил глаза.

А в небе было звезд так мало,
Так нежно было и светло,
Там всё качалось, уплывало
И повториться не могло...

1922

Мир состоит из гор,
Из неба и лесов,
Мир — это только спор
Двух детских голосов.

Земля в нём и вода,
Вопрос в нём и ответ:
На всякое „о, да!“
Доносится „о, нет!“.

Среди зеленых трав,
Где шествуют стада,
Как этот мальчик прав,
Что говорит: „о, да!“.

Как девочка права,
Что говорит: „о, нет!“,
И правы все слова,
И полночь, и рассвет.

Так в лепете детей
Враждуют „нет“ и „да“,
Как и в душе моей,
Как и во всём всегда.

1924

ПЛАТАНЫ ШИНДИСИ

Как порядок метафоры прост —
Переключка предмета с предметом.
Где один задает свой вопрос,
Там другой не замедлит с ответом.

Хитроумный сравнитель, мастак,
Без труда разрешал я задачу.
Всё я сравнивал эдак и так.
Что ж теперь о Шиндиси я плачу?

С чем платаны Шиндиси сравню?
С чем сравню той поры несравненность?
Ее утро, ведущее к дню,
Ее детских молитв откровенность?

С чем тебя я сравню, моя мать?
Что ж не брошусь я к скважинам, щёлкам,
К окнам, чтобы на миг увидеть,
Как идешь, как белеешь ты шелком?

О платаны в Шиндиси моём!
Я не понял закона простого —
Да, напомнит одно о другом,
Но одно не заменит другого.

Так о детстве всерьез и шутя
Я заплакал, отверженный странник.
Уж не я, а иное дитя —
Его новый и милый избранник.

Белла Ахмадулина

Нет замены вокруг ничему:
Ни пичужке, порхающей в выси,
Ни цветку, ни лицу моему,
Ни платанам в далеком Шиндиси.

1925

ИЗ РАССКАЗАННОГО ЛУНОЙ...

К реке подходит маленький олень
И лакомство воды лакает.
Но что ж луна так медлит, так лукавит,
И двинуться ей боязно и лень?

Ужель и для нее, как для меня,
Дождаться дня и на свету погибнуть —
Всё ж веселей, чем, не дождавшись дня,
Вас, небеса грузинские, покинуть?

Пока закат и сумерки длинны,
Я ждал ее — после дневной разлуки,
И свет луны, как будто звук луны,
Я принимал в протянутые руки.

Я знал наперечет ее слова,
И вот они:
— Полночную порою,
В печали — зла и в нежности — слаба,
О Грузия, я становлюсь тобою.

И мне, сиявшей меж твоих ветвей,
Твоих небес отведавшей однажды,
О Грузия, без свежести твоей
Как дальше быть, как не устать от жажды?

Нет, никогда границы стран иных
Не голубели так, не розовели.
Никто еще из сыновей земных
Не плакал так, как плакал Руставели.

Белла Ахмадулина

Еще дитя — он жил в моих ночах,
Но был мне брат, не как другие братья,
И уж смыкались на его плечах
Прекрасного несчастья объятья.

Нет, никогда границы стран иных...
Я думала, — и, как сосуд, как ваза
С одним цветком средь граней ледяных,
Сияли подо мной снега Кавказа.

Здесь Амирани бедствие терпел,
И здесь освобожден был Амирани,
И женский голос сетовал и пел,
И царственные старцы умирали.

... Так и внимал я лепету луны,
И был восход исходом нашей встречи.
И вот я объяснил вам эти речи,
Пока закат и сумерки длинны.

1938

Всё желтое становится желтей,
И радуга семь раз желта над нами,
И россыпь драгоценных желудей
Всё копит дуб и нежит меж корнями.

Всё — в паутине, весело смотреть,
Как бьется в ней природа пред зимою.
Счастлив рыбак, который эту сеть
Наполнил золотою чешуёю.

Пока в дубах стозвонный звон стоит
И шум летит над буркою Арсена,
Прикосновеньем осень осенит
Всё то, что было неприкосновенно.

1956

Тициан Табидзе

* * *

Брат мой, для пеня пришли, не для распрей,
для преклоненья колен пред землю,
для восклицанья:
— Прекрасная, здравствуй,
жизнь моя, ты обожаема мною!

Кто там в Мухрани насытил марани
алою влагой?

Кем солнце ведомо,
чтоб в осиянных долинах Арагви
зрела и близилась алавердоба?

Кто-то другой и умрет, не заметив,
смертью займется, как будничным делом...
О, что мне делать с величием этим
гор, обращающих карликов в дэвов?

Господи, слишком велик виноградник!
Проще в постылой чужбине скитаться,
чем этой родины невероятной
видеть красу и от слёз удержаться.

Где еще Грузия — Грузии кроме?
Край мой, ты прелесть
и крайняя крайность!
Что понукает движение крови
в жилах, как ты, моя жизнь, моя радость?

Если рожден я — рожден не на время,
а навсегда, обожатель и раб твой.
Смерть я снесу, и бессмертия бремя
не утомит меня... Жизнь моя, здравствуй!

Январь 1928

Слова ни разу я не обронил
для сочинения стихотворенья.
Пульс-сочинитель отверст и раним,
страшно: не выдержу сердцебиенья.

Если не высказал то, что хотел
выговорить, во мгновеньях последних
наспех скажу: не повинен я в тех
тайнствах, чей я отгадчик, посредник.

О, дорогие мои, никакой
силой не вынудить слово и слово,
сердце и сердце к согласью. Строкой
стройною стал произвол небосвода.

Вкратце твое — а потом нарасхват
кровное, скрытное стихотворенье.
Слово — деянье и подвиг. Раскат
славы — досужее слов говоренье.

Стих — это стих, это он, это огонь,
вчуже возжегшийся волей своею.
Спетого мной я услышать не мог.
Спето — и станет бессмертной свирелью.

Мнится мне: ночь этот стих соткала.
Бывший ее рукоделием малым,
он увеличится сам — и тогда
хлынет и грянет грозой и обвалом.

Прянув с вершин, устрашив высотой
чести, страдания и сострадания, —
выстоит слабой свечой восковой,
светом питающей мглу мироздания.

10 июля 1936

ТАК ЖЕ ПРОСТО, КАК В МУХРАНИ

Так же просто, как в Мухрани, заране, травы
выходят навстречу весне — о, нежней, о, скорее! —
так же просто, не сложнее, чем в водах Арагвы
взблескивает под солнцем быстрое тело форели...

Так же просто, как ласточка, истосковавшись,
возвращается к своим прошлогодним угольям...
Пшавского мальчика простота такова же,
когда он спит, а заря приходится ему возглавием и изголовьем.

Так же просто, да, да, как овчарка, то неподвижно, то в беге,
сторожит овец, и подвиг ее незатейлив...
Или — как туман возлежит на Казбеке
и потом упадает на воющий Терек...

Так же просто, бесхитростно, как пахарь поет, волов понукая,
или, как хлеб выпекая, ласково, кротко, любовно
смотрела на меня моя кормилица — о, какая
добрая, как это просто, как давно, как больно...

Так же просто, как стоит поверх многоточий
возожженных огней
Святая гора с осанкою доблестной, рыцарской, львиной, —
стих простодушный содеять хочу для земли моей отчей,
для Родины — вечно вольнолюбивой, любимой.

15 сентября 1937

Георгий Леонидзе

МОЙ ПАОЛО И МОЙ ТИЦИАН

Склон Удзо высокой луной осиян.
Что там происходит? Размолвка, помолвка
у соловьев? Как поют, Тициан!
Как майская ночь неоглядна, Паоло!

Вином не успел я наполнить стакан,
не вышло! Моими слезами он полон.
Во здравье, Паоло! За жизнь, Тициан!
Я выжил! Зачем, Тициан и Паоло?

Вином поминальным я хлеб окропил,
но мне ваших крыл не вернуть из полёта
на грешную землю, где горек мой пир.
Эгей, Тициан! Что мне делать, Паоло?

Пошел бы за вами — да Бог уберег.
Вот вход в небеса — да не знаю пароля.
Я пел бы за вас — да запекся мой рот.
Один подниму у пустого порога
слезами моими наполненный рог,
о братья мои, Тициан и Паоло...

Чего еще ты ждешь и хочешь, время?
Каких стихов ты требуешь, ответствуй!
Дай мне покоя! И, покоем вея,
дай мне воды, прозрачной и отвесной.

Зачем вокруг выи духоту смыкаешь?
Нет крыл моих. Нет исцеленья ранам.
Один стою. О, что ты сделал, Каин!
Твой мертвый брат мне приходился братом.

Как в каспийской воде изнывает лосось,
на камнях добывает ушибы и раны
и тоскует о том, что кипело, неслось,
и туманилось, и называлось: Арагви, —
так тянусь я к тебе, о возлюбленный край!
Отчий край, приюти в твоём блещущем русле
мою душу —местилище скорби и ран.
Помещусь ли я в искре твоей, помещусь ли?

ЭТА РОЗА

Эта роза —
воистину роза моя!
Адрес розы — иной, чем у сада и грядок.
Стих, продли это время на все времена:
краткий день не окончится, полночь не грянет.

День не окончится, полночь не грянет, но дню
день перескажет, нашепчет: что держит в секрете.
Я не состарюсь и не онемею, продлю
свет проливной, упаданье воды и соцветий.

Это — любовь, из сверканья небес и полян
злато добуду и новой предам его доле,
чтобы, любимая, длился, и цвел, и пылал
блеск драгоценности, что не дается ладони.

ФРЕСКА АНГЕЛА

Ты показала мне Ангела. Много
фресок я видел. Но кроток и ласков
этот на диво. Как быть одиноко
столь долгокрылым и столь большеглазым.

Слабым движеньем руки грациозной
ты обращала Тамар венценосной
давнее время во время живое.
И недомыслию тайна открылась:
та большеглазость и та долгокрылость
не одинока. Вас, белых, здесь двое.

Ты была схожа с восходом в первейший
день мирозданья и свет излучала.
Теплился скромно двойник твой померкший,
он — повторенье, а ты — изначально.

Ангелов — два, и один недостойный
их созерцатель. Я был снегопадом
света осыпан, и слышался стройный
грохот Куры, протекающей рядом.

Я видел с выси сумрачные свитки
истории: все бедствия, и вихри,
и реки крови. Как в отверстой книге
величье родины я прочитал не в них ли?

Не знает мха отвес скалы Дарьяльской,
не иссякает жизнь лозы дарящей...
Вершинам гор неведома тщета,
и лишь Эльбрусу впору и по росту
постичь людей высокую породу,
из коих тот, кого зовут Шота.

НА РАССВЕТЕ ПРИХОДИТ МОЛОЧНИЦА

Ко мне на рассвете приходит молочница,
трезвонит Кура золотыми бубенчиками.
О, что за нашествие, что за паломничество
с дарами обещанными и не обещанными.

По Картли, по морю его изумрудному
ткемали летят паруса белоснежные,
и Пиросмани в духане зарю мою
тоже встречает, и, всмотримся ежели,
птицу увидим, что им нарисована.
В небе — фиалок нависшие заросли.
Сколько даров! Принимаю их снова я
в сердце, принявшее дар лучезарности.

Кто-нибудь, здравствуй, иди и гляди со мной:
в утреннем облаке — ласточек росчерки.
Как я люблю этот город единственный.
Сколько в корнях его силы и прочности!

МОРСКАЯ РАКОВИНА

Я, как Шекспир, доверюсь монологу
в честь раковины, найденной в земле.
Ты послужила морю молодому,
теперь верни его звучанье мне.

Нет, древний череп я не взял бы в руки.
В нём знак печали, вечной и мирской.
А в раковине — воскресают звуки,
умершие среди глубины морской.

Она, как келья, приютила гулы
и шелест флагов, буйный и цветной.
И шепчут ее сомкнутые губы,
и сам Риони говорит со мной.

О раковина, я твой голос вещей
хотел бы в сердце обрести своим,
чтоб соль морей и песни человечьи
собрать под перламутровым крылом.

И сохранить среди прочих шумов — милый
шум детства, различимый в тишине.
Пусть так и будет. И с такой же силой
пусть он звучит и бодрствует во мне.

Пускай твой кубок звуки разливает
и всё же ими полнится всегда.
Пусть развлечет меня — как развлекает
усталого погонщика звезда.

1937

О стихи, я бы вас начинал,
начиная любое движенье.
Я бы с вами в ночи ночевал,
я бы с вами вступал в пробужденье.
Но когда лист бумаги так бел,
так некстати уста молчаливы.
Как я ваших приливов робел!
Как оплакивал ваши отливы!
Если был я присвоить вас рад,
вы свою охраняли отдельность.
Раз, затеяв пустой маскарад,
вы мою любимой оделись.
Были вы — то глухой водоём,
то подснежник на клумбе ледовой,
и болели вы в теле моем,
и текли у меня из ладоней.
Вас всегда уносили плоты,
вы погоне моей не давались,
и любовным плесканьем плотвы
вы мелькали и в воду скрывались.
Так, пока мой затылок сидел
и любимой любовь угасала,
я с пустыми руками сидел,
ваших ласк не отведав нимало.
Видно, так голубое лицо
звездочет к небесам обращает,
так девчонка теряет кольцо,
что ее с женихом обручает.

Белла Ахмадулина

Вот уже завершается круг.
Прежде сердце живее стучало.
И перо выпадает из рук
и опять предвкушает начало.

1940

Три стихотворения о Серафите

Во время археологических раскопок древнего города-крепости Армази, близ Мцхеты, была обнаружена гробница юной и прекрасной девушки — Серафиты, чей облик чудом сохранился до наших дней в своей живой прелести. В гроб ее проник корень гранатового дерева, проскользнувший в кольцо браслета.

РАЗДУМЬЯ О СЕРАФИТЕ

Как вникал я в твоё многолетие, Мцхета.
Прислонившись к тебе, ощущал я плечом
мышцы трав и камней, пульсы звука и цвета
вдох стены, затруднённый огромным плющом.

Я хотел приобщить себя к чуждому ритму
всех старений, столетий, страстей и смертей.
Но не сведущий в этом, я звал Серафиту,
умудренную возрастом звезд и детей.

Я сказал ей: — Тебе всё равно, Серафита:
умерла, и воскресла, и вечно жива.
Так явись мне воочью, как эта равнина,
как Армази, созвездия и дерева.

Не явилась воочью. Невнятной беседой
искушал я напрасно твою немоту.
Ты — лишь бедный ребенок, случайно бессмертный,
но изведавший смерть, пустоту и тщету.

Белла Ахмадулина

Всё — тщета! — я подумал. — Богатые камни
неусыпных надгробий — лишь прах, нищета.
— Всё — тщета! — повторил я. И вздрогнул: — А Картли?
Как же Картли? Неужто и Картли — тщета?

Ничего я не ведал. Но острая влага
округлила зрачок мой, сложилась в слезу.
Вспомнил я — только ель, ежевику и благо,
снизошедшее в этом году на лозу.

И пока мои веки печаль серебрила
и пугал меня истины сладостный риск,
продолжала во веки веков Серафита
красоты и бессмертия детский каприз.

Как тебе удалось — над убитой боями
и воскресшей землею, на все времена,
утвердить независимый свет обаянья,
золотого и прочного, словно луна?

Разве может быть свет без источника света?
Или тень без предмета? Что делаешь ты!
Но тебе ль разделять здравомыслие это
в роковом заблужденье твоей красоты!

Что тебе до других? Умирать притерпелись,
не умеют без этого жить и стареть.
Ты в себе не вольна — неизбывная прелесть
не кончается, длится, не даст умереть.

Так прощай или здравствуй! Покуда не в тягость
небесам над Армази большая звезда, —
всем дано претерпеть эту муку и благодать,
ничему не дано миновать без следа.

1941

ЗОВУ СЕРАФИТУ

Не умерла, не предана земле.
Ты — на земле живешь, как все.
Но разве,
заметив боль в пораненном крыле,
не над тобою плакал твой Армази?

О, как давно последние дары
тебе живая суета дарила!
С тех пор я жду на берегах Куры,
и засухой опалена долина.

Не умерла.
И так была умна,
что в спешке доброты и нетерпенья
достиг твой шелест моего гумна:
вдох тишины и слабый выдох пенья.

Что делаешь? Идешь?
Или пока
тяжелым гребнем волосы неволишь?
Не торопись.
Я жду тебя — века́.
Не более того.
Века́ всего лишь.

Еще помедли, но приди. Свежа
и не трудна твоя дорога в Мцхету.
Души моей приветная свеча
уже взошла и предается свету.

Белла Ахмадулина

Уж собраны и ждут тебя плоды
и лакомства, стесненные корзиной.
Как милосердно быть такой, как ты:
сюда идущей и такой красивой.

В молчании твой голос виноват.
Воспой глубоким горлом лебединым
и виноградаря, и виноград,
и виноградники в краю родимом.

Младенческою песней умудрен,
я разгадаю древние затеи
и вызволю из тесноты времен
отцов и дедов доблестные тени.

Бессмертное не может быть мертво.
Но знает ли о том земля сырая,
ошибку ожиданья моего
оплакивая и благословляя?

Как твой удел серьезен и высок:
в мгновенных измененьях мирозданья
всё бодрствует великий голосок
бессмертного блаженства и страданья.

1941

**ГРАНАТОВОЕ ДЕРЕВО У ГРОБНИЦЫ
СЕРАФИТЫ**

И встретились:
бессмертья твоего
прекрасная и мертвая громада
и маленькое дерево граната,
возникшее во мгле из ничего.

Ум дерева не ведает иной
премудрости:
лишь детское хотенье
и впредь расти, осуществлять цветенье
и алчно брать у щедрости земной.

Не брезгуя глубокой тьмой земли,
в блаженном бессознании умнейшем,
деревья обращаются к умершим
и рыщут пользы в прахе и пыли.

Но что имел в виду живой росток,
перерастая должные границы,
когда проник он в замкнутость гробницы
и в ней сплоченность мрамора расторг?

Влекло его твое небытие
пройти сквозь твердь плиты непроходимой,
чтобы припасть к твоей руке родимой,
удостоверясь в тонкости ее.

С великим милосердием дерев
разнял он узкий холодок браслета

Белла Ахмадулина

и горевал, что ты была бессмертна
лишь вечно, лишь потом, лишь умерев.

Гранат внушал запястью твоему
всё то, что знал об алых пульсах крови
в больших плодах, не умещенных в кроне
и по ночам слетающих во тьму.

Он звал тебя узнать про шум ветвей
с наивностью, присущею растениям, —
истерзанный тяжелым тяготеньем,
кровоточеньем спелости своей.

Какая же корысть владела им,
вела его в таинственные своды
явить великодушие природы —
в последний раз! — твоим рукам немым?

Не Грузии ли древней тишина
велит очнуться песенке туманной:
„Зачем так блещут слезы, мой желанный?
Зачем мне эта легкость тяжела?“

Не Грузии ли древней колдовство
велит гранату караулить плиты
и слабое дыханье Серафиты
не упускать из сердца своего?

1941

ОСКОЛКИ ГЛИНЯНОЙ ЧАШИ

Некогда Амирани, рассердившись,
разбил вдребезги глиняную чашу,
но осколки ее, желая содиниться,
с громом и звоном улетели в небо.

Из народного сказания

... И ныне помню этот самолет
и смею молвить: нет, я не был смелым.
Я не владел своим лицом и телом.
Бежал я долго, но устал и лёг.

Нет, не имел я твердости колен,
чтоб снова встать. Пустой и одинокий,
я всё лежал, покуда взрыв высокий
землей чернел и пламенем алел.

Во мне скрестились холод и жара.
Свистел пропеллер смерти одичавшей.
И стал я грубой, маленькою чашей,
исполненною жизни и добра.

Как он желал свести меня на нет,
разбить меня, как глиняную цельность,
своим смертельным острием прицелься
в непрочный и таинственный предмет.

И вспомнил я: в былые времена,
глупец, мудрец, я счастлив был так часто.
А вот теперь я — лишь пустяк, лишь чаша.
И хрупкость чаши стала мне смешна.

Что оставалось делать мне? Вот-вот
я золотыми дребезгами гряну,
предамся я вселенскому туману,
на искру увеличив небосвод.

Белла Ахмадулина

Пусть так и будет. Ночью как-нибудь
мелькну звездой возле созвездья Девы...
Печальные меня проводят дэвы
в мой Млечный и уже последний путь.

Разрозненность сиротская моя
воспрянет вдруг, в зарю соединяясь.
И, может быть, я всё ж вернусь, как аист,
на милый зов родимого жилья.

Земля моя, всегда меня хранит
твоя любовь. И все-таки — ответствуй:
кто выручит меня из мглы отвесной
и отсветы души соединит?

1944

у Азовского моря

В той давности, в том времени условном
что́ был я прежде? Облако? Звезда?
Не пробужденный колдовством любовным,
алгетский камень, чистый, как вода?

Ценой любви у вечности откуплен,
я был изъят из тьмы, я был рожден.
Я — человек. Я — как поющий купол,
округло и таинственно сложен.

Познавший мудрость, сведущий в искусствах,
в тот день я крикнул:
— О земля моя!
Даруй мне тень!
Пошли хоть малый кустик —
простить меня и защитить меня!

Там, в небесах, не склонный к проволочке,
сияющий нацелен окуляр,
чтобы вкусил я беззащитность точки,
которой алчет перпендикуляр.

Я по колено в гибели! По пояс!
Я вязну в ней! Тесно дышать груди!
О школьник обезумевший! Опомнись!
Губительной прямой не проводи!

Я человек! И драгоценен пламень
в душе моей!

Но нет, я не хочу
сиять заметно!
Я — алгетский камень!
О Господи задуи во мне свечу!

И отдалился грохот равномерный.
И куст дышал. И я дышал под ним.
Немилосердный ангел современный
побрезговал ничтожеством моим.

И в этот мир, где пахло и желтело,
смеркалось, пело, силилось сверкнуть,
я нежно вынес собственного тела
родимую и жалостную суть.

Заплакал я, всему живому близкий,
вдыхающий, трепещущий, живой.
О высота моей молитвы низкой,
я подтверждаю бедный лепет твой.

Я видел одинокое, большое
свое лицо. Из этого огня
себя я вынес, как дитя чужое,
слегка напоминавшее меня.

Не за свое молился долговечье
в тот год, в тот час, в той темной тишине —
за чье-то золотое, человечье,
случайно обитавшее во мне.

И выжило оно. И над водою
стоял я долго. Я устал тогда.
Мне стать хотелось облаком, звездой,
алгетским камнем, чистым, как вода.

1947

БЫКИ

Что за рога украсили быка!
Я видел что-то чистое, рябое,
как будто не быки, а облака
там шли, обремененные арбою.

Понравились мне красные быки.
Их одурманил запах урожая.
Угрюмо-напряженные белки
смотрели добро, мне не угрожая.

О, их рога меня с ума свели!
Они стояли прямо и навесно.
Они сияли, словно две свечи,
и свечи те зажгла моя невеста.

Я шел с арбой. И пахло всё сильнее
чем-то осенним, праздничным и сытым.
О виноградник юности моей,
опять я янтарем твоим осыпан.

Смотрю сквозь эти добрые рога
и вижу то, что видывал когда-то:
расставленные на лугу стога,
гумно и надвижение заката.

Мне помнится — здесь девочка была,
в тени ореха засыпать любила.
О женщина, ведущая быка,
сестра моя! Давно ли это было?

Белла Ахмадулина

Прими меня в моих местах родных
и одари теплом и тишиною!
Пусть светлые рога быков твоих,
как месяцы, восходят надо мною.

1948

ОЛЕНИ НА ГУМНЕ

Я молод был. Я чужд был лени.
Хлеб молотил я на гумне.
Я их упрашивал:
— Олени!
Олени, помогите мне!

Они послушались. И славно
работали мы дотемна.
О, как смеялись мы, как сладко
дышали запахом зерна!

Нас солнце красное касалось
и отражалось в их рогах.
Рога я трогал — и казалось,
что солнце я держу в руках.

Дома виднелись. Их фасаду
закат заглядывал в лицо.
И вдруг, подобная фазану,
невеста вышла на крыльцо.

Я ей сказал:
— О, совпадение!
Ты тоже здесь? Ты — наяву?
Но будь со мной, как сновиденье,
когда засну, упав в траву.

Ты мне привидишься босая,
босая на краю гумна.

Белла Ахмадулина

Но, косы за плечи бросая,
ты выйдешь за пределы сна.

И я скажу тебе:
— Оденем
оленьям на рога цветы.
Напьемся молоком оленьим
иль буйвольим — как хочешь ты.

Меж тем смеркается, и вилы
крестьянин прислонил к стене,
и возникает запах винный,
и пар клубится на столе.

Присесть за столик земледельца
и, в сладком предвкушенье сна,
в глаза оленьи заглядеться
и выпить доброго вина...

1948

АНАНИЯ

Люблю я старинные эти старания:
сбор винограда в ущелье Атэни.
Волов погоняет крестьянин Анания,
по ягодам туты ступают их тени.

Пылает оранжевым шея вола!
Рогам золотым его — мир и хвала!
Сквозь них мне безмерная осень видна.
Уже виноград претерпел умиранье.

Но он воскресает с рождением вина,
в младенчестве влаги, что зрела века.
Ведь эта дорога и прежде вела
туда, где хранит свои тайны марани.

Ах, осени этой труды и сияния!
А вон и ореха обширная крона, —
как часто под ней засыпал ты, Анания,
и было лицо твое славно и кротко.

Меж тем вечереет, и, в новой долине,
всё тени бредут в неживой вышине,
как луны, мерцают волы при луне,
и столько добра и усталости в теле.

Как часто всё это припомнится мне:
тяжелые скрипы арбы в тишине
и, в мирном и медленном лунном огне,
Анания, и волы, и Атэни...

1949

ПРЕКРАТИМ ЭТИ РЕЧИ НА МИГ...

Прекратим эти речи на миг,
пусть и дождь свое слово промолвит
и среди тутовых веток немых
очи дремлющей птицы промоет.

Где-то рядом, у глаз и у щёк,
драгоценный узор уже соткан —
шелкопряды мотают свой шелк
на запястья верийским красоткам.

Всё дрожит золотая блесна,
и по милости этой погоды
так далекая юность близка,
так свежо ощущение свободы.

О, ходить, как я хаживал, впредь
и твердить, что пора, что пора ведь
в твои очи сквозь слезы смотреть
и шиповником пальцы поранить.

Так сияй своим детским лицом!
Знаешь, нравится мне в этих грозах,
как стоят над жемчужным яйцом
аистихи в затопленных гнёздах.

Как миндаль облетел и намок!
Дождь дорогу марает и моет —
это он подает мне намёк,
что не столько я стар, сколько молод.

Белла Ахмадулина

Слышишь? — в туговых ветках немых
голос птицы свежее и резче.
Прекратим эти речи на миг,
лишь на миг прекратим эти речи.

1953

НА НАБЕРЕЖНОЙ

Я в семь часов иду — так повелось —
по набережной, в направленье дома,
и продавец лукавый папирос
мне смотрит вслед задумчиво и долго.

С лотком своим он на углу стоит,
уставится в меня и не мигает.
Будь он неладен, взбалмошный старик!
Что знает он, на что он намекает?..

О, неужели ведомо ему,
что, человек почтенный и семейный,
в своем дому, в своем пустом дому,
томлюсь я от чудачеств и сомнений?

Я чиркну спичкой — огонек сырой
возникнет. Я смотрю на это тленье,
и думы мои бродят над Курой,
как бы стада, что ищут утоленья.

Те ясени, что посадил Важа,
я перенес в глубокую долину,
и нежность моя в корни их вошла
и щедро их цветеньем одарила.

Я сердце свое в тонэ закалил,
и сердце стало вспльчивым и буйным.
И всё ж порою из последних сил
тянул я лямку — одинокий буйвол.

Белла Ахмадулина

О старость, приговор твой отмени
и детского не обмани доверья.
Не трогай палисадники мои,
кизильные не побей деревья.

Позволь, я закатаю рукава.
От молодости я изнемогаю —
пока живу, пока растет трава,
пока люблю, пока стихи слагаю.

1956

Над Метехи я звезды считал,
письменам их священным дивился.
В небесах, как на древних щитах,
я разгадывал знаки девиза.

Мне всегда объясняла одно
эта клинопись с отсветом синим —
будто бы не теперь, а давно,
о Метехи, я был твоим сыном.

Ты меня создавал из ребра,
из камней твоих сокровенных,
и наказывал мне серебра
не жалеть для нарядов военных.

Пораженный монгольской стрелой,
я дышал так прощально и слабо
под твоей крепостною стеной,
где навек успокоился Або.

За Махатской горой много дней
ты меня окунал во туманы,
колдовской паутиной твоей
врачевал мои бедные раны.

И, когда-то спасенный тобой,
я пришел к тебе снова, Метехи.
Ворожи над моей головой,
обнови золотые доспехи.

Одари же, как прежде, меня
Йорским облаком и небесами,
подведи под уздцы мне коня,
чтоб скакать над холмами Исани.

А когда доскажу все слова
и вздохну так прощально и слабо,
пусть коснется моя голова
головы опечаленной Або.

1958

Две округлых улыбки – Телети и Цхнети,
и Кумиси и Лиси – два чистых зрачка.
О, назвать их опять! И названия эти
затрудняют гортань, как избыток глотка.

Подставляю ладонь под щекотную каплю,
что усилием всех мышц высекает гора.
Не пора ль мне, прибегнув к алгетскому камню,
высечь точную мысль красоты и добра?

Тих и женственен мир этих сумерек слабых,
но Кура не вполне обновила волну
и, как дуб, затвердев, помнит вспльчивость сабель,
топот конских копыт, означавший войну.

Этот древний туман так не полон – в нём стрелы
многих луков пробили глубокий просвет.
Он и я – мы лишь известь, скрепившая стены
вкрут картлийской столицы на тысячу лет.

С кем сражусь на восходе и с кем на закате,
чтоб хранить равновесье двух разных огней:
солнце там, на Мтацминде, луна на Махате,
совмещенные в небе любовью моей.

Отпиваю мацони, слежу за лесами,
за небесами, за посветлевшей водой.
Уж с Гомборской горы упадает в Исани
первый луч – неумелый, совсем молодой.

Сколько в этих горах я камней пересилил!
И тесал их и мучил, как слово лепил.
Превозмог и освоил цвет белый и синий.
Теплый воздух и иней равно я любил.

И еще что я выдумал: ветку оливы
я жестоко и нежно привил к миндалю,
поместил ее точно под солнце и ливни.
И все выдумки эти Тбилиси дарю.

1958

ПО ПУТИ В СВАНЕТИЮ

Теперь и сам я думаю: ужели
по той дороге, странник и чужак,
я проходил?
Горвашское ущелье,
о, подтверди, что это было так.

Я проходил. И детскую прилежность
твоей походки я увидел.
Ты
за мужем шла покорная, —
но нежность,
сиянье нежности возшло из темноты.

Наши глаза увиделись.
Ревниво
взглянул твой муж.
Но как это давно
случилось.
И спасла меня равнина,
где было мне состариться дано.

Однако повезло тому, другому, —
не ведая опасности в пути,
по той дороге он дошел до дому,
никто не помешал ему дойти.

Не гикнули с откоса печенег,
не ухватились за косы твои,
не растрепали их.

Белла Ахмадулина

Не почернели
глаза твои от страха и любви.

И, так и не изведавшая муки,
ты канула, как бедная звезда.
На белом муле, о, на белом муле
в Ушгули ты спустилась навсегда.

Но всё равно — на этом перевале
ликует и живет твоя краса.
О, как лукавили, как горевали
глаза твои, прекрасные глаза.

1958

ЗАДУМАННОЕ ПОВЕДАЙ ОБЛАКАМ

А после — шаль висела у огня,
и волосы, не знавшие законов
причёски, отряхнулись от заколок
и медленно обволокли меня.

Я в них входил, как бы входил в туман
в горах сванетских, чтобы там погибнуть,
и все-таки я их не мог покинуть,
и я плутал в них и впадал в обман.

Так погибал я в облаке твоём.
Ты догадалась — и встряхнула ситом,
пахнуло запахом земным и сытым,
и хлеб ячменный мы пекли вдвоем.

Очаг дышал всё жарче, всё сильней.
О, как похожи были ты и пламя,
как вы горели трепетно и плавно,
и я гостил меж этих двух огней.

Ты находилась рядом и вокруг,
но в лепете невнятного наречья,
изогнутою, около Двуречья
тебя увидеть захотел я вдруг.

Чуть не сказал тебе я: „О лоза,
о нежная, расцветшая так рано...“
В Сванетии не знают винограда,
я не сказал. И я закрыл глаза.

Расстались мы. И вот, скорей старик,
чем мальчик, не справляюсь я с собою,
и наклоняюсь головой седою,
и надо мной опять туман стоит.

Верни меня к твоим словам, к рукам.
Задуманное облакам поведай,
я догадаюсь — по дождю, по ветру.
Прошу тебя, поведай облакам!

1958

ДЕВЯТЬ ДУБОВ

Мне снился сон — и что мне было делать?
Мне снился сон — я наблюдал его.
Как точен был расчет — их было девять:
дубов и дэвов. Только и всего.

Да, девять дэвов, девять капель яда
на черных листьях, сникших тяжело.
Мой сон исчез, как всякий сон. Но я-то,
я не забыл то древнее число.

Вот девять гор, сужающихся кверху,
как бы сосуды на моем пути.
И девять пчел слетаются на кевври
и кевври тех — не больше девяти.

Я шел, надежду тайную лелея
узнать дубы среди других лесов.
Мне чудится — они поют „Лилео”.
О, это пенье в девять голосов!

Я шел и шел за девятью морями.
Число их подтверждали неспроста
девять ворот, и девять плит Марабды,
и девяти колодцев чистота.

Вдруг я увидел: посреди тумана
стоят деревья. Их черты добры.
И выбегает босиком Тамара
и девять раз целует те дубы.

Белла Ахмадулина

Я исходил все девять гор. Колени
я укрепил ходьбою. По утрам
я просыпался радостный. Олени,
когда я звал, сбегали по горам.

В глаза чудес, исполненные света,
всю жизнь смотрел я, не устав смотреть.
О, девять раз изведавшему это
не боязно однажды умереть.

Мои дубы помогут мне. Упрямо
я к их корням приникну. Довезти
меня возьметса буйволов упряжка.
И снова я сочту до девяти.

1959

ОТ ЭТОГО ПОРОГА...

От этого порога до того
работы переделал я немало.
Чинары я сажал — в честь твоего
лица, что мне увидеть предстояло.

Пока я отыскал твои следы
и шел за ними, призванный тобою,
состарился я. Волосы седые.
Ступни мои изнурены ходьбою.

И всё ж от этой улицы до той
я собирал оброненные листья,
и наблюдали пристально за мной
прохожих озадаченные лица.

То солнце жгло, то дождик лил — всего
не перескажешь. Так длинна дорога
от этого порога до того
и от того до этого порога.

И все-таки в том стареньком доме
всё нашими населено следами,
и где-то там, на чердаке, в дыму,
лежит платок с забытыми слезами.

От этого и до того огня
ты шила мне мешок для провианта.
Ты звездную одеда на меня
рубаху. Ты мешок мой проверяла.

Белла Ахмадулина

От этого порога до того
я шел один среди жары и стужи,
к бокам коней прикладывал тавро,
и воду пил, толлок я воду в ступе.

Я плыл по рекам и не знал — куда,
и там, пока плыла моя пирога,
я слышал, как глаголила Кура —
от этого и до того порога.

1959

В СИГНАХИ, НА ГОРЕ

Я размышлял в Сигнахи, на горе,
над этим миром, склонным к переменам.
Движенье неба от зари к заре
казалось мне поспешным и мгновенным.

Еще восхода жив и свеж ожог,
и новый день лишь обретает имя,
уже закатом завершен прыжок,
влекущий землю из огня в полымя.

Еще начало! — прочности дневной
не научились заново колени.
Уже конец! — сомкнулось надо мной
ночное благо слабости и лени.

Давно ли спал младенец-виноград
в тени моей ладони утомленной?
А вот теперь я пью вино и рад,
что был так добр к той малости зеленой.

Так наблюдал я бег всего, что есть,
то ликовал, то очень огорчился,
как будто, пребывая там и здесь,
раскачивал качели и качался!

1962

Карло Каладзе

* * *

Летит с небес плетеная корзина.
Ах, как нетрезвость осени красива!
Задор любви сквозит в ее чертах.
В честь истины, которую мы ждали,
доверимся младенчеству маджари!
А ну-ка чашу! Чашу и черпак.

Опустимся пред квеври на колени,
затем поднимем брови в изумленье:
что за вино послал нам нынче Бог!
Пылают наши щёки нетерпеньем,
и, если щёки не утешить пенъем,
что делать нам с пыланьем наших щёк?

Лоза хмельная ластится к ограде.
Не будем горевать о винограде —
душа вина бессмертна и чиста.
Пусть виночерпий, как и подобает,
услады виноградарям добавит —
им подобает усладить уста.

1961

Когда расцеловал я влагу
двух глаз твоих и совершенство
их нежной мрачности постиг,
сказал я: я имел отвагу
жить на земле и знать блаженство —
я жил, я знал, и Бог простит.

Сегодня я заметил странность,
увы, заметил я, что море
твой образ знает и творит:
в нём бодрствует твоя усталость,
и губы узнают в нём горе
тех слёз твоих, о, слёз твоих.

1966

А. Твардовскому

Я повторю: „Бежит, грохочет Терек”.
Кровопролитья древнего тщета
И ныне осеняет этот берег:
Вот след клинка, вот ржавчина щита.

Покуда люди в жизнь и смерть играли,
Соблазном — жить — их Терек одарял.
Здесь нет Орбелиани и Ярали,
Но, как и встарь, сквозит меж скал Дарьял.

Пленяет зренье глубина Дарьяла,
Познать ее не все обречены.
Лишь доблестное сердце выбирало
Красу и сумрак этой глубины.

— Эгей! — я крикнул. Эхо не померкло
До этих пор. И если в мире есть
Для гостя и хозяина проверка, —
Мой гость, проверим наши души здесь.

Да, здесь, где не забыт и не затерян
След путника, который, в час беды,
В Россию шел, преодолая Терек,
Помедлил и испил его воды.

Плач саламури еле слышен в гуле
Реки священной. Мой черёд настал
Испить воды, и быть „тергдалеули”,
И распахнуть пред гостем тайну скал.

Здесь только над вершиной перевала
Летят орлы на самый синий свет.
Здесь золотых орлов как не бывало.
Здесь демона и не было и нет.

Войди сюда не гостем — побратимом!
Водой свободной награди уста!
Но ты и сам, прыжком необратимым,
Уже взошел на крутизну моста.

В минуту этой радости высокой
Осанка гор сурова и важна,
И где-то, на вершине одинокой,
Всё бодрствует живая тень Важа.

1966

Сны о Грузии – вот радость!
И под утро так чиста
виноградная сладость,
осенившая уста.

Белла Ахмадулина

Быть может, всё это и впрямь сновиденье,
А вовсе не утро? Во все не Белла?
Вот занавес дрогнул в тревожном смятенье,
Вот дверь приоткрылась неслышно, несмело.

Я вглядывался в молодую улыбку,
Предвосхищенную шелестом платья,
Завороженную предутренней зыбью,
Преображенную хмелем заката.

Я сразу заметил, как звонок тот голос,
Сопровождаемый вздохами свиты.
Я поклонился виденью – войдите! –
Оно же на сон и на явь раскололось.

Старейшине бражников и стихотворцев,
Мне по душе и застолье и бденье,
Но если строка не запенится солнцем,
Я к черту пошлю и слух свой и зренья.

Но вы поглядите – замолкла и Белла,
И птицей-певуньей выгнула шею.
О, нет, не слова ей нужны, а напевы –
Душу свою нам излить, хорошея.

О утро! Ты всё предвосхитило мудро:
Мгновенье прекрасно, – значит, извечно!
По капельке блеск его и свеченье
Красуются на бокалах и люстрах.

И разве мы глухи и слепы? И разве
Ласка и нежность ее не об этом?
И что же есть сон, как не память тех празднеств,
Выстраданных и воспетых поэтом?

И сон этот в руку... Явилась — исчезла.
Нам ли судить и судачить — мы квиты.
Пришла, приземлилась и снова к небесной
Стезе воспарила, всё с тою же свитой.

С гор и холмов, ни в чем не виноватых,
к лугам спешил я, как учил ручей.
Мой голос среди троп витиеватых
служил витиеватости речей.

Там, над ручьем, сплеталась с веткой ветка,
как если бы затеяли кусты
от любопытства солнечного света
таить секрет глубокой темноты.

Я покидал ручей: он ведал средство
мои два слова в лепет свой вплетать,
чтоб выдать тайну замкнутого сердца,
забыть о ней и выпытать опять.

Весть обо мне он вынес на свободу,
и мельницы, что кривы и малы,
с той алчностью присваивали воду,
с какою слух вкушает вздор молвы.

Ручей не скрытен был, он падал с кручи,
о жернов бился чистотою лба,
и, наостривши узенькие уши,
тем жалобам внимали желоба.

Общительность его души исторгла
речь обо мне. Напрасно был я строг:
смеялся я, скрывая плач восторга,
он — плакал, оглашая мой восторг.

Пока миниатюрность и нелепость
являл в ночи доверчивый ручей,
великих гор неколебимый эпос
дышал вокруг — божественный, ничей.

В них тишина грядущих гроз гудела.
В них драгоценно длился каждый час.
До нас, ничтожных, не было им дела,
сил не было — любить, ничтожных, нас.

Пусть будет так! Не смея, не надеясь
занять собою их всевышний взор,
ручей благословляет их надменность
и льется с гор, не утруждая гор.

Простим ему, что безобидна малость
воды его, — над малою водой
плывет любви безмерная туманность,
поет азарт отваги молодой.

Хвала ручью, летящему в пространство!
Вы замечали, как заметил я, —
краса ручья особенно прекрасна,
когда цветет растение иа.

1967

Эти склоны одела трава.
Сколько красок сюда залетело!
А меня одолели слова.
Слово слабой душой завладело.

Как всё желто, бело и красно!
Знать, и мак свою силу здесь тратил.
Как понять пестроту? Всё равно!
Погляди и забудь, о читатель.

Нет, и Бог не расстелет ковра
одноцветного, не расписного.
Я лелеял и помнил слова,
но не понял — где главное слово.

Всем словам, что объемлет язык,
я был добрый и верный приятель.
Но какое ж мне выбрать из них,
чтоб тебе угодить, о читатель?

1967

На берегу то ль ночи, то ли дня,
над бездною юдоли, полной муки,
за то, что не отринули меня,
благодарю вас, доли и дудуки.

Мои дудуки, саламури, стон
исторгшие, и ты, веселый доли,
взывают к вам вино, и хлеб, и соль:
останьтесь в этом одиноком доме.

Во мне привычка к старости стара.
Но что за ветер в эту ночь запущен?
Мне, во главе пустынного стола,
осталось быть и страждущим, и пьющим.

Играет ветер в тени, в голоса,
из винной чаши, утомившей руки,
в мои глаза глядят мои глаза,
что влюблены в вас, доли и дудуки.

Но для Тбилиси, что возжег свечу,
не вы ли были милы и родимы?
Кому пресечь ту хрупкость по плечу?
Кто смел не пожалеть вас, побратимы?

Без вас в ночи всё сиром и мертво.
Покуда доли воплощает в звуки
все перебои сердца моего, —
мой стон звучит в стенании дудуки.

1967

Белла Ахмадулина

В горле моём заглушенного горя мгновенье —
вот преткновенье для вдоха, и где дуновенье
воздуха? — Вымер он весь иль повеять ленится?
Тяжко, неможется, душно дубам Леонидзе.
Гогла, твой дом опален твоим жаром последним.
Грозный ожог угрожает деревьям соседним.
Гогла, платан, что привык быть тобою воспетым,
проклятый пеплом, горит и становится пеплом.
Если и сосен к себе не зовешь пред разлукой, —
как же ты занят своей огнедышащей мукой!
Доблестный Мцыри, скиталец нездешней пустыни,
где же та пустынь, в которой отшельник ты ныне?
Слово одно исцелит твое бедное горло,
ты ли не знаешь об этом, о Гогла, о Гогла!
Смертная мука пребудет блаженством всего лишь,
если гортань ты о ней говорить приневолишь.
Лютую смерть, бездыханную участь предмета
вытерпеть легче, чем слышать безмолвье поэта.
Грузии речь, ликование, страданье, награда,
не покидай Леонидзе так рано, не надо,
лишь без тебя он не вынес бы жизни на свете,
лишь без тебя для него бесполезно бессмертье.

1966

Вот виноградник, но я виноградного сока
не собиратель, а созерцатель. Смешно
сердцу от боли: зачем одинокому столько
лоз виноградных, в которых погибнет вино?

Я одинок. Претерпел я и муку, и скуку
жить, когда солнце уходит за мыс, вон — за тот.
О, мой Нодар, если встретишь Джансуга — Джансугу
всё же скажи: пусть придет, когда солнце зайдет.
Вот что я вспомнил, Нодар, этим утром. Я вспомнил
птиц твоих бедных. Да, птиц твоих бедных беру.
Миг воспаренья и время уныния — сон лишь,
вместе придите, ведь я — не смогу, не приду.
Что же мне делать? Мне нечего делать. Всех истин
скорбь я узнал: эта скорбь велика.
Не говорите другим: поздравительных писем
больше не пишет, уже не напишет рука.
Но — колдовство! Волшебство! Мой несбывшийся, робкий
почерк — не к чайкам ли, чтобы лететь и дрожать
белую почтою над равнодушной Европой,
писем столь белых не станут же дома держать.
В море и в сердце такого объема и роста
длится минута, что ей миновать я не дам.
С-с-с — это море и удочка, просьба и проза,
что мне другие! А ты — разгадаешь, Нодар.
Что с этим небом, чей пламень склоняется к мысу,
но не склонился? Не вечен ли этот закат?
Я без тебя и последнего мрака не мыслю.
В сумерках этих войди, напевая, в мой сад.
Есть благодать: уберечь поднебесные гроздья.

Я бы содеял вино, если б знал для кого.
Будь здесь хозяин — прошу драгоценного гостя.
То и другое сложу, это строки Карло.
Нам лишь сентябрь подыграет. Беспечно, бесслезно
свидимся, друг, и Джансуга с собой позови.
Щуришься ты как от солнца, иль щурится солнце
Так вот, как ты.
В крайний миг бытия и любви.

ЖИЗНЬ ЛОЗЫ

НОВЕЛЛА В ЧЕТЫРЕХ ДЕЙСТВИЯХ

I

Солнце гуляет по-над берегами Иори,
Зной непомерный свершился, а день в половине.
Лютое солнце спалило поля — не его ли
Станем учить, как лелеять цветы полевые?
Все-таки, все-таки только природе доверюсь:
Книга горы, где любая глава — виноградник,
Рукопись солнца: сложенная гением ересь,
Вникнуть бы в смысл этих надписей невероятных!
Чу! Виноградарей песня зовет не меня ли
Зрением слёз созерцать этот край изобилья?
Если умру и забудусь — небес и Манави
Встреча и в том забытье да не будет забыта!
Если б строку совершенной лозе уподобить!
Я — только голос, чтоб хору всё пелось и пелось,
Я — только глаз, чтобы взгляд был всевидяще-добрым,
Видя и ведая зелень, и вольность, и прелесть.
Не шелохнувшись, мгновение длится, как время.
Разве помыслишь о зле, о вражде и о вздоре?
Я не случайно избрал для любви и доверья
Бег, и стремленье, и легкую поступь Иори.
Солнце — мое! И на радостях мне захотелось
Солнце, как шапку, забросить в небесную чашу.
Тот, только тот, кто в уста целовал ркацители,
Видел светило, вмещенное в винную чашу!

— Лоза, о лоза, узнаю твой ускоренный пульс,
Твое и мое одинаковы сердцебиенья.
Ты — прежде, ты — мастер, я — твой подражатель.
И пусть! —
Тебе посвящу ученичество стихотворенья.

Белла Ахмадулина

II

Слава. Манави, тому, кто затеял однажды
Вечность любви, и сады, и судьбу, и угодыя.
Крепость в руинах, и та изнывает от жажды
Верить в бессмертье цветения и плодородья.
Мёртв от рожденья, кто верит в скончание света,
Свет будет длиться — без перерыва и риска.
Ты, виноградник, поведай, как было всё это:
Лоз исчисление — триста, и триста, и триста.
Воздух прозрачен, как будто отсутствует вовсе,
Помысел сердца в нём явственно опубликован.
Домики эти всегда помышляют о госте,
Пялясь в пространство высокими лбами балконов.
Сразу, врасплох, со спины — на ликующий полдень
Обрушился град, нещадная грянула ярость.
Пал виноградник и смертного мига не понял,
Черное облако, смерти слепая всеядность.
Только минута прошла: непогода с погодой
Насмерть схватились непоправимо и быстро.
Солнце опомнилось. Полдень очнулся спокойный.
Нет ни того, кто убит, ни того, кто убийца.
Мертвой лежит драгоценная малость и радость,
Веточка, чудо, казенное детство побега,
И улетучилась, и не сбылась виноградность...
Вёдро. Глаза прозревают от влаги от века.

— Лоза, о лоза, узнаю твой ускоренный пульс:
Бессонница крови, ямб — пауза и ударенье.
Во мне — твоя кровь. Золотой виноградиной уст,
Тебя восхваляя, свершается стихотворенье.

III

Было — но есть, ибо память не знает разлуки
С временем прошлым, и знать не научится вскоре.

Ношею горя обремененные руки.
Памятник битве неравной. Безмолвие скорби.
Брат виноградарь, когда бы глупей иль умнее
Был, я б забыл о былом, но не рано ль, не рано ль?
В наших зрачках те события окаменели,
Сердце прострелено градом, о брат виноградарь.
Если нахмурюсь и молвлю: — Я помню. Ты помнишь?
Мне собеседник ответит: — Ты помнишь? Я помню.
Жизнь — это средство смертельно рвануться на помощь
Жизни чужой: человеку, и саду, и полдню.
Что из того, что навряд ли и трёх очевидцев
Бой пощадил, чтобы длилась суровая тризна.
Может быть, трое осталось из тех арагвинцев,
Много и мало их было, а было их триста.
Женщины реяли, черные крылья надевши,
В высях печали, которую ум не постигнет.
Встань, виноградник, предайся труду и надежде!
Ты — непреклонен, вовек ты не будешь пустынен.
Ты, как и я, завсегдай горы зеленейшей.
Я, как и ты, уроженец и крестник Манави.
Сводит с ума — так родим, и громоздок, и нежен
Поскрип колес до отверстого входа в марани!

— Лоза, о лоза, узнаю твой ускоренный пульс,
Благоговею пред страстью твоею к даренью.
Ты мою кровь понукаешь спешить, тороплюсь:
Благодаренье окажется стихотвореньем.

IV

Хочет лоза говорить, повисая бессильно,
Изнемогая, вздыхая всё тише и реже.
Чтобы потом сожаление нас не бесило,
Пусть говорит! Как добры ее чудные речи!
— Может быть, дух испущу — и тогда не отчаюсь.
Я одолею меня испытующий ужас.
Непрерываемость жизни, любви неслучайность,

Длительность времени — мне отведенная участь.
Вечно стремлюсь, как Иори и как Алазани,
Как продвиженье светил в глубине мирозданья,
Тысячелетья меня провожают глазами,
Вечно стремлюсь исцелить и утешить страданья.
Помню грузин, что о Грузии так трепетали:
О, лишь возьми мою жизнь, и дыханье, и трепет.
Жизнь не умеет забыться для сна и печали,
И виноградник живет, когда бедствие терпит.
Дудочки осени празднество нам возвестили.
Слушайте, воины и земледельцы, мужчины!
Той же рукою, которой меня вы взрастили,
Ввысь поднимите с великою влагой кувшины.
Жажда — была и, как горе, сплыла, миновала,
Быть ей, не быть — не колеблясь и не канителя.
Тот, кто на солнце смотрел сквозь стакан ркацители,
Может сказать: меня солнце в уста целовало!

— Лоза, о лоза, узнаю твой ускоренный пульс,
Тот пульс, что во мне, это только твое повторенье,
Пока он так громок, насыщен тобой и не пуст,
Прошу: о, прими подношение стихотворенья!

Ираклий Абашидзе

КОРНИ

Вознесен над Евфратом и Тигром,
сверху вниз я смотрел на века,
обведенные смутным пунктиром,
цвета глины и цвета песка.

И клонилась, клонилась средь ночи
к Междуречью моя голова.
Я без страха глядел в его очи,
словно в очи заснувшего льва.

Там, вверху, я оплакал утрату
тех времен, что теперь далеки,
когда белая темень Урарту
вдруг мои осенила зрачки.

И когда в повороте капризном
промелькнул, словно тень меж ресниц,
дорогой и таинственный призрак
шумерийских и хеттских границ.

Приласкать мои руки хотели, —
но лишь воздух остался в руках, —
голубей, обитавших в Халдее,
в разоренных ее облаках.

Что-то было тревожное в этом
вихревом и высоком дыму,
белым цветом и розовым цветом
восходившем к лицу моему.

Белла Ахмадулина

О, куда бы себя ни умчала,
свой исток да припомнит река!
Кровь моя обрела здесь начало
и меня дожидалась века.

В скольких женщинах, скольких мужчинах
билась пульсов моих частота.
Так вино созревает в кувшинах
и потом услаждает уста.

И пока тяжелы мои корни
посреди занесенных полей,
я — всего лишь подобие кроны
над могилую этих корней.

ХВАМЛИ

Я, как к женщинам, шел к городам.
Города, был обласкан я вами.
Но когда я любил Амстердам,
в Амстердаме я плакал о Хвамли.

Скромным жестом богини ко мне
протянула ты руки, Эллада.
Я в садах твоих спал, и во сне
видел Хвамли я в день снегопада.

О Эмпайр, по воле твоей
я парил высоко над Гудзоном.
Сумма всех площадей и полей
представлялась мне малым газоном.

Но твердил я: — О Хвамли, лишь ты,
лишь снегов твоих вечный порядок,
древний воздух твоей высоты
так тяжел моим лёгким и сладок.

Гент, ответь мне, Родос, подтверди —
вас ли я не любил? И не к вам ли
я спешил, чтоб у вас на груди
опечаленно вспомнить о Хвамли?

Благодарствуй, земля! Женских глаз
над тобой так огромно свечение.
Но лишь раз я любил. И лишь раз
всё на свете имело значенье.

Белла Ахмадулина

Воплотивший единственность ту,
Хвамли, выйди ко мне из тумана,
и вольюсь я в твою высоту —
обреченный, как сын Амираана.

ОПУСТЕВШАЯ ДАЧА

Увы, ущелие пустое!
Давно ли в сетке гамака
желтело платице простое,
как птица в глубине силка?

Давно ли женщина глядела
глазами чуть наискосок?
Кто улетел? Что улетело
и след впечатало в песок?

Давно ль смородиной зеленой
играли пальчики любви
и на веранде застекленной
шел спор меж милыми людьми?

Но кто ж возник здесь? Что возникло?
Кто плакал и не вытер слёз?
Какой бесчинствовал возница?
Куда увез? Зачем увез?

Под сенью бедного ореха
чего я жду? Кого я жду?
Какого голоса и смеха?
Какого шепота в саду?

Так утром, при погоде славной,
я шел меж опустевших дач,
овеянный печалью сладкой
и предвкушеньем неудач.

Белла Ахмадулина

Я книгочей, я в темень книг глядел,
я звездочет, я созерцал пространство,
невежда, я не ведал — где предел
любви, что беспредельна и прекрасна.

Есть край бескрайним лепетам молитв,
и мера есть безмерным лептам плача.
Как я молился! Сколько слёз пролил!
Избыток муки — вот моя удача.

Я ранен был, и мертв, и снова жил,
и, в бесконечной грусти мирозданья,
грущу о том, что мало послужил
оплошности чрезмерного страданья.

ДАЛЕКАЯ ШХЕЛДА

Тот снег — в ожидании нового снега,
скажу лишь о нём, остальное я скрою.
И прошлой зимой длилось действие неба
над Шхелдою, над осиянной горою.

Свеченья и тьмы непрерывная смена —
вот опыт горы, умудряющий разум.
Тот снег в ожидании нового снега —
в неподвижности, но и в азарте прекрасном.

Неистовый дух, вечно алчущий света,
молящийся, страждущий и дерзновенный.
Тот снег в ожидании нового снега.
Далекая Шхелда и сумрак вселенной.

1958

Я сравнивал. Я точен был в расчетах.
Я применял к предметам власть свою.
Но с тайною стихов неизреченных
что мне поделать? С чем я их сравню?

Не с кладом ли, который вдруг поранит
корыстный заступ, тронувший курган?
Иль равен им таинственный пергамент,
чей внятный смысл от всех сокрыл Кумран?

Иль есть в них сходство с недрами Армази,
присвоившими гибель древних чаш?
Их черепки сверкнут светлей алмаза,
но не теперь, — когда настанет час.

Иль с Ванскими пещерами? Забава
какой судьбы в тех знаках на стене?
Или с Колхидой, копья и забра́ла
хранящей в темноте и тишине?

Нет, с нежным чудом несвершенной речи
сравниться могут — не сравнившись с ней —
лишь вѣщей Мцхеты сумрачные свечи,
в чьем пламени живет душа теней.

Не искушай, метафора, не мучай
ни уст немых, ни золотых чернил!
Всему, что есть, давно уж выпал случай —
со всем, что есть, его поэт сравнил.

Но скрытная, как клинопись на стенах,
душа моя, средь бдения и снов,
всё алчет несравнимых, несравненных,
несказанных и несказанных слов.

Рука моя спешит предаться жесту —
к чернильнице и вправо вдоль стола.
Но бесполезный плач по совершенству —
всего лишь немота, а не слова.

О, как желает сделаться строкою
невнятность сердца на исходе дня!
Так, будучи до времени скалою,
надгробный камень где-то ждет меня.

1959

Ты увидел? Заметил? Вгляделся?
В мире — прятанье, поиск, игра:
улепётывать с резвостью детства,
притаиться, воскликнуть: „Пора!“

Обыскав ледники и теплицы,
перестав притворяться зимой,
март взывает: „Откликнись, Тбилиси!
Ты — мой баловень, неженка мой“.

Кутерьма адресатов и почты:
блеск загара грустит по лицу,
рыщет дерево: где его почки?
Не они ль утаили листву?

Ищет сад — пребывания втайне,
ищет ливень — пролиться куда,
что скрывает Куры бормотанье,
что теряет и ищет Кура?

Наконец все находят друг друга,
всех загадок разгадка ясна,
и внутри драгоценного круга
обретает Тбилиси весна.

1959

Деревья гор, я поздравляю вас:
младенчество листвы — вот ваша прибыль,
вас, девушки, затеявшие вальс,
вас, волны, что угодны юным рыбам,

вас, небеса, — вам весела гроза,
тебя, гроза, — тобой полны овраги,
и вас, леса, глядящие в глаза
расплывчатым зрачком зеленой влаги,

я поздравляю с пчёлами луга,
я поздравляю пчёл с избытком мёда
и эту землю с тем, что велика
любви и слёз беспечная погода.

Как тяжек труд пристрастия к весне
и белый свет так бел, что видеть больно.
Но заклинаю — не внемлите мне,
когда скажу: „Я изнемог. Довольно”.

1969

Жаждешь узреть — это необходимо
(необходимо? зачем? почему?), —
жаждешь узреть и собрать воедино
всё, что известно уму твоему.

Жаждешь, торопишься, путаешь, Боже,
вот сколько нужно: глаза, голоса,
горе... А радости? Радости тоже!
Радости, шалости и чудеса!

Жаждешь и думаешь: помню ль? могу ли?
Вечер в Риони, клонящий к слезам
солнцем и свадьбою: „Лиле”... „Макрули”...
И Алазань? Как забыть Алазань?

Жаждешь в душе твоей, в бедном ковчеге,
соединить без утрат и помех
всё, что творится при солнце и снеге:
речи, поступки, и солнце, и снег.

Жаждешь... Но если, Всевышним веленьем,
вдруг обретешь это чудо и жуть,
как совладаешь с чрезмерным виденьем,
словом каким наречешь его суть?

1969

ПАМЯТЬ

В час, когда осень щедра на дожди
и лихорадка осину колотит,
глянешь — а детство блестит позади
кроткой луною, упавшей в колодец.

Кажется — вовсе цела и ясна
жизнь, что была же когда-то моею.
Хрупкий узор дорогого лица
время сносило, как будто монету.

Мой — только памяти пристальный свет,
дар обладания тем, чего нет.

Я сам не знаю, что со мной творится:
другой красы душа не понимает,
и холм чужбины в зрении двоится,
и Грузию мою напоминает.

Ее свеча восходит солнцем малым
среди звезд и лун, при ветреной погоде.
Есть похвала тому, что изумляет:
о, как это на Грузию похоже.

Природе только слово соразмерно.
Смотрю, от обожания немею
и всё, что в этом мире несравненно,
я сравниваю с Грузией моею.

Из стихов Турмана Торели

1. НА БОЙНЕ

Грянула буря. На празднестве боли
хаосом крови пролился уют.
Я, ослепленный, метался по бойне,
где убивают, пока не убьют.

В белой рубашке опрятного детства
шел я, теснимый золой и огнем,
не понимавший значенья злодейства
и навсегда провинившийся в нём.

Я не узнал огнедышащей влаги.
Верил: гроза, закусив удила,
с алым закатом схватилась в овраге.
Я — ни при чем, и одежда бела.

Кто убиенного слышал ребенка
крик поднебесный, — тот проклят иль мертв.
Больно ль, когда опьяневшая бойня
пьет свой багровый и приторный мёд?

Я не поддался двуликому ветру.
Вот я — в рубахе, невинной, как снег.
Ну, а душа? Ее новому цвету
нет ни прощенья, ни имени нет.

Было, убито, прошло, миновало.
Сломаны — но расцвели дерева...
Что расплывается грязно и ало
в черной ночи моего существа?

Белла Ахмадулина

2. ЕДИНСТВЕННЫЙ СВЕТ

Глядит из бездны прежней жизни остов.
Потоки крови пестуют ладью.
Но ждет меня обетованный остров,
чьи суть и имя: я тебя люблю.

Лишь я — его властитель и географ,
знаток его лазури и тепла.
Там — я спасен. Там — я Святой Георгий,
поправший змия. Я люблю тебя.

Среди растленья, гибели и блуда
смешна лишь мысль, что губы знали смех.
Но свет души, каким тебя люблю я,
в былую прелесть красит белый свет.

Ночь непроглядна, непомерна стужа.
Куда мне плыть — не ведомо рулю.
Но в темноте победно и насущно
встает сиянье: я тебя люблю.

Лишь этот луч хранит меня от бедствий,
и жизнь темна, да не вполне темна.
Меж обреченной плотью и меж бездной
есть дух живучий: я люблю тебя.

Так я плыву с ослепшими очами.
И я еще вдохну и пригублю
заветный остров, где уже в начале
грядущий день и я тебя люблю.

Иосиф Нонешвили

* * *

Вот я смотрю на косы твои грузные,
Как падают,
 как вьются тяжело...
О, если б ты была царицей Грузии, —
О, как тебе бы это подошло!
О, как бы подошло тебе приказывать! —
Недаром твои помыслы чисты:
Ты говоришь —
 и гóрода прекрасного
В пустыне
 намечаются
 черты!
Вот ты выходишь в бархате лиловом,
Печальная и бледная слегка,
И, умудренные твоим прощальным словом,
К победе
 устремляются
 войска.
Хатгайский шелк пошел бы твоей коже.
О, как бы этот шелк тебе пошел,
Чтоб в белой башне
 из слоновой кости
Ступени целовали твой подол.
Ты молишься —
 и скорбь молитвы этой
Так недоступна нам и так светла,
И нежно посвящает Кошуэта
Тебе одной свои колокола.
Орбелиани пред тобой, как в храме,

Белла Ахмадулина

МРАВАЛЖАМИЕР

Твоим вершинам,
белым и синим,
Дарьялу и Тереку,
рекам твоим,
твоим джигитам,
статным и сильным,
а также женщинам,
верным им, —

мравалжामीер, многие лета!

Твоим потокам,
седым потокам,
твоим насупленным ледникам,
предкам твоим
и твоим потомкам,
их песням,
танцам
и смуглым рукам —

мравалжामीер, многие лета!

Твоим героям,
делам их ратным,
их вечной памяти на земле,
твоим языкам и наречьям разным,
лету,
осени,

весне
и зиме —

мравалжáмиер, многие лета!

Горам и ущельям,
низу и долу,
каждому деревцу во дворе,
Волге твоей,
и Днепру,
и Дону,
Сырдарье
и Амударье —

мравалжáмиер, многие лета!

Твоим строителям неутомимым,
могучей
жизни
живой струе,
тебе, овеянной светом и миром,
тебе,
моей дорогой стране, —

мравалжáмиер, многие лета!

1952

Где же еще Грузия другая?

Гр. Орбелиани

Всё, что видела и читала,
всё —
твое,
о тебе,
с тобой.
В моём сердце
растет чинара,
ночью ставшая голубой.
И в минуту самую грустную
предо мною одна.
дорогая,
ты, прекрасная Грузия.

„Где же еще Грузия другая?“

О луга моей Карталинии,
олени с большими рогами
и такие хрупкие лилии,
что страшно потрогать руками.
Ты об этом помнить велишь мне.
Я смотрю на тебя,
не мешая,
край,
овеянный былым величьем...

„Где же еще Грузия другая?“

Травы синие
лягут на плечи.
С этих трав

я росинки сняла.
О мои виноградные плети!
О Тетнудьи большие снега!
Зажигаются звёзды со звоном,
искры белые
извергая.
Я слежу
за далеким их зовом:

„Где же еще Грузия другая?”

Пусть герои твои умирали —
слава их
разнеслась далеко.
Прямо к солнцу
взмывает Мерани,
и печально звучит
„Сулико”.
Живы Алуда и Лела.
Устал Онисэ,
размышляя.
О родина песен и лета!

„Где же еще Грузия другая?”

С тихими долгими песнями
проходят
твои вечера.
Плачут
горийские персики,
когда наступает пора.
Они нависают с ветки.
Ветка густая,
большая.
Разве ты не одна на свете?

„Где же еще Грузия другая?”

1945

Ты такое глубокое,
небо грузинское,
ты такое глубокое и голубое.
Никто из тех, кто тебе грозился,
приюта не обрёл под тобою.
Ни турки, ни персы
и ни монголы
не отдохнули под тобой на траве,
не заслонили цветов магнолий,
нарисованных на твоей синеве.
Ошки
и Зарзма,
и древний Тао
поют о величье твоём,
о небо!
Птицы в тебе летают
и теряются в тебе,
голубом...

1945

Вот солнце
на носки привстало,
и город потянулся сонно.
Ему быть темным
не пристало.
Входило солнце
в город солнца.
И воздух был прозрачный,
ранний,
просвечивающий изнутри.
Стоял Тбилиси, как Ираклий
у древней крепости Нарі.
Такая ли была погода,
когда в Тифлис вступали персы
и не сдавались им подолгу
его воинственные песни?

1945

ВХОДИЛА В ГУРИЮ КАЛАНДА

Я помню изгородь под инеем.
Снег падал тихо и светло.
Кричит петух — и вспоминаю я
мое гурийское село.
Проламывалась наледь тонкая
под грузом шага моего,
и лаяла устало Толия,
сама не зная, на кого.
Похожий на большую букву,
один на вековом посту
дуб укрывался, словно в бурку,
в свою дырявую листву.
Глубокий снег следы марали,
тропинка далеко вела,
и возле вещего марани
был ветер пьяным от вина.
Всё это — где-то и когда-то,
но позабыть о том нельзя...
Входила в Гурию каланда
и чичилаки нам несла.

1945

Охотники легко и дерзко
раскладывают западни.
Здесь ходит горная индейка —
ее подстерегут они.
О, по опасной той аллее
мы пробегаем много дней.
Как годовалые олени,
пугаемся своих теней.
О, будь, индейка, осторожна,
не проходи по той тропе.
Ты слышишь? —
Горестно,
тревожно
твой милый
плачет о тебе.

1945

Громче шелести,
осина,
громче, мать-земля, гуди.
Живы мы!
И зло и сильно
сердце прыгает в груди.
Лес!
У нас есть листья,
губы —
целоваться,
говорить.
О, гуди — пусть эти гуды
будут в воздухе бродить!

1945

Когда прохожу
по долине росистой,
меня,
как ребенка,
смешит роса.
Цветы
 приоткрывают
 ресницы,
к моим глазам
обращают глаза.
Я вижу
движение каждого пестика,
различаю границу
утра и дня.
Ветер,
подай мне цветок персика,
травой и листьями
обсыпь меня!
Я,
эти цветы нашедшая,
хочу,
чтоб они из земли вылезали.
И как сумасшедшая —
о, сумасшедшая! —
хохочет трава
с растрепанными волосами.
Деревья сняли
свои драгоценности
и левой пригоршней

меня забросали.
Вот драгоценности —
все они в целости.
Деревья,
вы понимаете сами.
Я тоже,
я тоже сошла с ума.
Всего мне мало,
и всё мне малó!
Хохочет,
хохочет —
не я сама! —
хохочет,
хохочет сердце мое!
И ты
на исходе этого дня
листьями и травой прогоркшей
обсыпь меня,
да, обсыпь меня,
но только правой пригоршней!

1945

О бабочек взлеты и слеты!
Может быть, я ошибаюсь.
То слезы,
то добрые слезы.
Я плачу
и улыбаюсь.

Я выросла в поле,
где на травинках
капли росы навешены.
Я веточка,
полная зеленых кровинок,
срезанная невеждами.

Я стану свирелью,
свирелью зеленой!
Нагряну к вам трелью,
трелью залетной!

Я —
этого воздуха обитательница,
не страшаясь ничего.
Я —
плачущая обладательница
сердца твоего.
С горных пастбищ,
для любви навеяна,
медленно
я поднимаюсь кверху.

О земля,
если б ты мне не верила, —
я бы обратилась
к ветру:
— О ветер,
докажем,
докажем скорей,
докажем каждому,
что я —
свирель.

Дохни —
и медленно и жалобно
польется песня
из зеленого желоба.
И прислушаются люди чутко,
и уловят
мое дыхание,
и поймут они
силу чувства,
обращенного в это звучание.

1945

Он безмолвствует,
спит на крышах,
но вот он гудеть начинает,
и тогда
на зеленых крыльях
поднимаются
к солнцу
чинары.
Страх перед ним осилив,
плача от тяжелой печали,
взмывают мои осины,
шевели
большими плечами.

1945

Перекликаются куропатки...
И, рассеивая аромат,
в том парке
и в этом парке
цветы танцуют и говорят.
Опьяненные ими долины
в пятнах света и темноты,
и опять,
опять неделимы
бабочки
и цветы.
Ветры землю проветривают,
начинаясь там,
у реки.
Пчелы волшебниц проведывают.
Сплетничают мотыльки.
Который год,
о, который год
повторяются эти порядки.
Сумерки опускаются с гор...
Исступленно перекликаются куропатки.

1945

ТУТА

Чего,
чего же хочет тут?
Среди ветвей ее темно.
Она поскрипывает туго,
как будто просится в окно.
Она вдоль дома так и ходит,
след оставляет на траве.
Она меня погладить хочет
рукой своей по голове.
О тут,
нужно в дом проникнуть
и в темноте его пропасть,
и всей корой ко мне прикинуть,
и всей листвою ко мне припасть.

Когда наступит ночь
и вычернит
все камни и цветы вокруг,
когда на небе месяц вычертит
свой точный
неразрывный круг
и склонятся ко сну
все травы,
все люди,
все живые твари, —
луч месяца соединится
со снегом чистым, молодым,
то белым светом озарится,
то розовым,
то голубым.
Их поцелуй так тих,
так светел.
Магнолиями пахнет ветер.
Лишь палочкою вырубальной
там птица вдалеке стучит.
Кавкасион величавый
всё видит,
слышит
и молчит.

1945

Что делает весна
с владениями роз?
Ей хочется
заботой их порадовать.
Шиповник
медленный свой замечает рост,
и начинают веточки подрагивать.
Как голоса
влюбленные пернатые
над каждою лужайкой и тропой!
А вот цветы, поникшие,
прямые,
перемешанные с травой.
Их, верно, парни девушкам дарили.
У тех же, видно,
помыслы свои:
они сбегают весело
в долины,
где новые цветы и соловьи.

О ты, чинара,
взмывшая высоко, —
страшны ли тебе ветер и гроза?
На фоне просветлевшего востока
ты открываешь медленно глаза.
Всей кожей на рассвете холодея,
ты распуши листву
и так замри,
безмолвная,
как Тао и Халдея,
соединеньем неба и земли.
Назначена
для страсти и восторга
бровей твоих
надменная краса...
О, ты, чинара,
взмывшая высоко, —
страшны ли тебе ветер и гроза?!

1945

РАЗГОВОР С ЧИАМАРИЕЙ В ДЕНЬ ПОБЕДЫ

О медлительная побелка
этих яблоневых лепестков!
Так здравствуй, победа,
победа,
победа во веки веков!
Выходи,
чиамария,
празднуй,
тонко крылышками трубя.
Мои руки совсем не опасны —
мои руки
ласкают тебя.
Возмужавшей земле обожженной
не управиться
с новой травой.
Где наш враг?
Он лежит,
пораженный
справедливой и меткой стрелой.
Чиамария,
как мы тужили,
как мы плакали,
горе терпя,
но смеется
герой Цицишвили,
защитивший меня и тебя.
Чиамария,
мир, а не горе!
И, вступая в привычки труда,

тут степенно пройдетя Никора,
и воскреснет за ним борозда.
Как Никора доволен работой!
Как глаза его добро глядят!
Я стою среди луга рябого.
„Гу-гу-гу...”
Это вязы гудят...

1946

Я СОВСЕМ МАЛЕНЬКАЯ ВЕТОЧКА...

Вот я стою — не женщина, не девочка,
и ветер меня гладит по плечам.
Я — маленькая-маленькая веточка.
Садовник, утоли мою печаль.

Садовник, заслони меня от ветра:
мой он разоряет лепестки.
Что сделаю я, маленькая ветка?
Ведь у меня ни слова, ни руки.

О, подойди, скажи: не солгала ты,
ты, маленькая веточка, прости.
А ветер — он буян и соглядатай,
и ты меня от ветра защити.

1946

СКАЖИ МНЕ, ЧИАМАРИЯ...

Чиамария, чиамария,
отшумел этот дождик сполна.
Ты такая смешная и маленькая.
Чиамария, где ты спала?

Твои крылышки, верно, простыли,
когда капля тебя волокла.
Я кажусь тебе тенью в пустыне, —
так я рядом с тобой велика.

Чиамария, в чем твоя радость?
Эти крапинки кто намечал?
Чиамария, в чем наша разность?
Ведь и мне этот дождь не мешал.

Маленькой Виоле

Какие розовые щёки,
и в каждой светит по костру,
и глаз голубенькие щёлки
еще не клонятся ко сну.
О девочка,
что „Деда-эна”
тебе расскажет о земле?
Как виноград лисица ела?
Как заяц белым стал к зиме?
С какую трогательной грустью
ты плачешь! Вздрагивают плечики.
Зачем лисице с белой грудью
попались маленькие птенчики?!
О, радость первого незнания!
Ты выговорила едва
цветов красивые названия:
„а-и нар-ги-зи, а-и и-а”.
Всё в маленьком твоём рассудке
запечатлелось, но опять
ласкаешь пестрые рисунки.
Устала книжка,
хочет спать.
День к вечеру переломился.
Вот месяц вышел и горит,
а язычок не утомился.
Смеется он
и говорит.
Жизнь будет сложная и долгая.
О девочка,

запомни так:
страна твоя большая,
добрая,
она вся в реках и цветах.
А ты играешь с мамой в ладушки —
тебе ли думать о судьбе!
Ромашки,
маки
или ландыши —
что больше нравится тебе?

1946

ЛАДО АСАТИАНИ

Вспомнят меня, как Никалу,
наступят на теплую могилу мою.

Ладо Асатиани

Где-то поблизости
солнце и ветры
дадут акации
зацвести поскорей,
и осыплются эти белые ветви,
осыплются
над могилой твоей.
Я-то знаю,
что под этою елью
ты уснул,
положив свою голову в маки.
Взбудораженный любовью,
наполненный ею,
ты лежишь,
как лежат все поэты и маги.
А земля наполняется парусами
и цветами,
которые тебя так манили...
А Пиросмани?
О, Пиросмани
придет к твоей теплой могиле...
Ты умер, окончился,
но снова прокрался
в эту жизнь.
Велики твои радость и грусть.
О весна! Взгляни, сколь она прекрасна!
А цветы всё падают и падают тебе на грудь...

1946

Долгой жизни тебе,
о фиалка!
Твоим синим и милым глазам.
Чтобы ветром тебя не сразило!
Чтобы градом тебя не задело!
Чтоб тебя не ушибли ногой!

1946

О, пусть ласточки обрадуют нас вестью
о появлении первых роз.
Пусть мотылек
поцелуется с яблонею ветвью
и та приоткроет
свой маленький рот.
О, снова март,
и снова это деленье
на голубое с зеленым
с примесью красок других.
Цветы начинаются на земле,
поднимаются на деревья,
и март
раскрывает
их.

Тень яблони
живет на красивом лугу.
Она дышит,
пугливо меняет рисунок.
Там же живет самшит,
влюбленный в луну,
одетый кольчугой росинок.
Цикады собираются оркестрами.
Их музыка
достойна удивленья,
и шепчутся с деревьями окрестными
около растущие деревья.
А к утру затихнет их шепот,
погаснет
и ветром задунется.
О, есть что-то,
безмерно заставляющее задуматься...

1946

МОЛИТВА ЗМЕИ

Как холодна змея,
красива,
когда черты ее видны.
Все крапинки ее курсива
так четко распределены.
Внимая древнему мотиву,
она касается земли
и погружается в молитву,
молитву страшную змеи.
Знать, душу грешную свою
с надеждой Богу поверяет,
в молитве с нею порывает
и просит:
„Бог, прости змею!”
О, нету,
нету больше мочи! —
и к скалам приникает грудь,
и вдруг таинственная грусть
змеиные заслонит очи.
И будет шепот этот литься
с ее двойного языка,
пока вокруг сухие листья
толкают руки ветерка.
Сейчас пусти ее в пески,
не попрекни смертельным делом —
с глазами,
полными тоски,
и к солнцу обращенным телом.
Пусть отстоит

свою молитву,
и чудно полосы свернет,
и сквозь просвирник и малину
всей кожей крапчатой сверкнет.
Пусть после этих странных таинств
она взовется вдалеке,
чтоб отплясать свой страшный танец
как будто с бубнами в руке.
Так пусть отпляшет разудало,
своими кольцами звеня.
Быть может,
старый узундара
сегодня выберет змея...

1946

Татарка девушка,
сыграй на желтом бубне,
здесь, возле рынка, где кричит баран.
Татарка девушка,
нарушим эти будни,
отпразднуем торжественно байрам.
О, сколько клиньев,
красных и сиреневых,
в себя включает
странный твой наряд.
Сплетенья маленьких монет серебряных
на шее твоей тоненькой горят!
Возьми свой бубен.
Пусть в него вселится
вся молодость твоя и удалство.
Пусть и моя душа повеселится
на празднике веселья твоего.

БУБНЫ

Когда я говорить устану,
когда наскучат мне слова,
когда я изменю уставу
веселости и торжества, —
выходят из подвалов бубны
тогда,
о, именно тогда,
все их движения так буйны,
и песня их так молода.
Осенним солнцем залитые,
они на площади сидят,
и бьют в ладошки золотые
и весело вокруг глядят.

ЗВЁЗДЫ

Апрельская тихая ночь теперь.
Те птицы и эти
свои голоса сверяют.
О звёзды, —
невозможно терпеть,
как они сверкают,
как они сверкают!
Земле и небу
они воздают благодать
и, нарушая
темноту этой ночи,
сверкают,
сверкают —
издалека видать! —
мои звёзды
и твои очи.
Теперь апрельская тихая ночь,
и глаза
к ней медленно привыкают.
О звёзды, —
мне это всё невмочь, —
как они сверкают!
Как они сверкают!

1952

Как пелось мне и бежалось мне,
как хотелось
петь и бежать!
Недоверчивой и безжалостной
мне никогда не бывать.
Когда месяц встает
за крепостной стеной
Орбелиани,
там,
вдалеке,
я, как дудка, следую за тобой
и отражаюсь в реке.
Идешь ли ты за арбою,
или у родника
стоишь, —
я иду за тобою,
и походка моя легка.
Недоверчивой и безжалостной никогда
мне не бывать
с тобой.
Поверь,
когда засияет звезда
предрассветная
во мгле голубой, —
это ты мне свой посылаешь привет,
просишь помнить,
не забывать.
Недоверчивой и безжалостной —
нет! —
мне никогда не бывать!

1953

Белла Ахмадулина

О МАГНОЛИЯ, КАК Я ХОЧУ
БЫТЬ С ТОБОЙ!

За листом твоим,
листом дорогим,
не угнаться —
он летит по воде и по суше.
Так и сердце его:
другим, другим,
другим его сердце послушно.

О моя магнолия,
лист твой поднят
ветром —
не видать тебе твоего листа.
Наверно, не помнит он меня,
наверно, не помнит,
конечно, не помнит он моего лица.

Девятиглазого солнца
и бушующих морей
мы несем любовь,
только ты и я.
Но почему он не помнит
об этой любви моей,
почему, магнолия,
он не помнит меня?

У тебя, быть может,
был такой же час,
и он снова вернется,
и всё это развеется?..
Нет, чтобы южные ветры
навсегда покинули нас,

мне что-то не верится,
что-то не верится.

Как он горд, магнолия,
как он горд.
Но с нами любовь
и цвет голубой
прекрасных морей,
прекрасных гор.
О магнолия, как я хочу быть с тобой!

1953

ОБЛАКА

Грозы́ и солнца перемирие,
и облака́ несут утрату
дождя —
над всем:
над пирамидами,
над Хеттой,
Мидией,
Урарту.
И радуга —
грозы́ напарница —
встает,
и пенится Кура.
Куда теперь они направятся?
Куда? Не ведаю.
Куда?

1953

В ШИОМГВИМИ

Железный балкон,
уютный и ветхий.
О, люди редко бывают тут.
Зато миндаль
сюда наклоняется веткой,
и липы опадают,
когда отцветут.

Эти деревья намного старше,
намного старше,
чем я и ты.
Но неужели
этим деревьям не страшно
одинокство келий и темноты?

1954

ПО ДОРОГЕ В БЕТАНИЮ

Шиповник,
смородина,
и черника,
и боярышник иногда.
Дождь прошел...
И привольно и дико
по горам сбегает вода.

Мы идем...
И холодные, ясные
дуют ветры.
Деревья дрожат.
На тропинке —
каштановые,
ясеневые
и дубовые
листья лежат.

Мы подходим к ущелью Самадло.
Снова дождь нас вводит в обман.
Я хочу быть с тобою.
Сама я —
словно горы и словно туман.

Шиповник,
смородина,
и черника,
и боярышник иногда.
Дождь прошел...
И привольно и дико
по горам сбегает вода.

1954

Снег аджаро-гурийских гор,
моих гор родных.
О, какой там большой простор,
какой чистый родник!
Маленькая мельница на Губазеули
у ворот моего двора.
Там лавровишни давно уснули,
и роса их сладка и добра.
О родина,
уже, наверное, год
я не видалась с ней!
Снег аджаро-гурийских гор,
туман и снег...

1954

Над Зедазени мерцает Венера,
мерцает Венера бледным огнем.
Забывать бы его!
Но она велела
помнить о нём,
думать о нём.

Сколько звуков,
какая музыка странная!
Постоим
молчаливо в этом огне.
Что несет нам Венера,
прекрасная, старая?
— Счастье, конечно.
И тебе.
И мне.

1954

В ЗЕДАЗЕНИ

Лето заканчивается поспешно,
лето заканчивается на дворе.
Поспела ежевика,
ежевика поспела
и боярышник на горе.

Листвою заметает овраги,
здесь эхо такое большое да ломкое.
А небо над ущельем Арагви
всё такое же синее и далекое.

Хорошо иметь его,
хорошо иметь его
в сердце...
О, как стройна
дорога на Имеретию,
дорога на Имеретию
прямая, словно струна.

Как эти места чисты и добры,
как быстро здесь дни летят.
Над Зедазени шелестят дубы,
дубы шелестят...

1955

Я СЛЕЧУ, СИРЕНЬ...

Небо синее,
нет у неба предела
здесь, близко,
и там, далеко.
Появилось облачко
и поредело.
Небу
тайну хранить нелегко.

Я прикрою веки,
прикрою веки,
чтобы мир едва голубел и серел.
Слечу я
на твои синие ветки,
на твои синие ветки
слечу,
сирень!

Я буду петь твоим мелким цветочкам,
о, буду петь,
буду только петь —
твоим прожилкам,
крапинкам,
точкам,
потому что не смогу утерпеть.

Я буду петь голосисто и тонко.
Как мне хочется петь, сирень!
Никому так не хочется!

Может быть, только
небу хочется так же синеть.

О облака!
Я догнать их надеюсь,
я за ними следую
всегда и сейчас.
Но куда я денусь?
О, никуда не денусь,
сирень,
от твоих сиреневых глаз.

О, зачем мне скрывать эту тайну?
Навеки,
навсегда
одного хочу.
Я слечу на твои синие ветки,
на твои синие ветки слечу.

1955

Что за ночь — по реке и по рощам!
Что за ночь окружает меня!
Ты кричишь: „Эй, паромщик, паромщик!”
Но вокруг ни души, ни огня.

Как далеки и Дзегви, и Мцхета,
и таинственный месяц в реке.
Он молчит, но так слышимо это.
Что он думает там, вдалеке?

1955

Я тебя увенчаю короной,
я тебе жемчугов надарю.
Захочу я — и славой короткой,
громкой славой тебя наделю.

А когда ты затихнешь в восторге,
я сама засмеюсь, удивлюсь.
Для тебя я взошла на востоке,
для тебя я на запад склонюсь.

Свирель поет печально,
стройно,
и птица напрягает мускулы.
О, как задумчиво и строго
акация
внимает музыке.
Взлетает птица
выше,
выше,
туда,
где солнце и цветенье,
а маленькая ветка вишни
хранит ее прикосновенье.

1955

Самшвилде, фиалковая тропка...
Голос задержал меня неробкий:
— Что проходишь равнодушно мимо?
Ведь тот самый я — я твой любимый!..

— Так же точно и других, мой друг,
ранили твои стрела и лук...
Только, знаешь, как это ни странно,
разные у каждой в сердце раны!..

1955

Из чехословацкой тетради

ВЛТАВА

Влтава сверкает у моста Карла,
слегка касаясь плакучих ив.
Я — в Чехии.
И сбывается карта,
и превращается в город,
и город красив.

О Влтава,
стремительная погоня
воды за ветром.
И высокий туман.
О Влтава,
ты чиста и покойна,
как сердце чехов
и всех добрых славян.

Так глубока твоя каждая капля,
и в каждой огни,
и огни горят.
Вода засыпает у острова Кампа,
ивы склоняются и говорят.

Уже зацветают каштаны Праги,
и занимается новый день.
Исполненная отваги и правды,
встает Яна Гуса строгая тень.

Город украшен серебряными венками,
они посвечивают всю ночь до утра.

Так чтут героев, погибавших веками,
желавших тебе,
о Прага,
добра.

Рассвет возникает туманно и жидко.
Память сражений чиста и строга.
На горе Виткова сражался Жижка
и отвел от города руки врага.

О Чехия,
суровая кара
всегда постигала врагов твоих.
Влтава сверкает у моста Карла,
слегка касаясь плакучих ив.

ПРАЖСКАЯ ВЕНЕЦИЯ

Подвластные прежнему навыку,
дома
опираются
на воду.
Всё, как в Венеции.
Я поверить готова.
Но где же, Венеция,
твоя гондола?
Где же,
Венеция,
гондольеры твои?
Где их гортанные песни любви?
Где баркаролы старинные звуки?
Где итальянок прекрасные руки?

**НА ВЫСТАВКЕ МЕКСИКАНСКИХ
ХУДОЖНИКОВ В БРАТИСЛАВЕ**

Это синие горы Ромеро Ороско.
Этой земли
каждая малая пядь.
„Прощай”, — я ухожу.
„Здравствуй”, — о, робко
я возвращаюсь опять.

О строгое и нежное месиво
дождя,
и солнца,
и свежей травы.
Это ты, Мексика?
Это ты, Мексика, —
с бахромчатой шляпой вокруг головы.

Поет гитара.
И возвышаются росло
синие горы.
Я на синие горы гляжу.
Я приближаюсь к тебе, Ромеро Ороско,
и опять ухожу.

ЗЛАТА УЛИЧКА

На этой улице,
в потёмках старины,
всё двигалось в каком-то мертвом темпе.
Здесь госпожа таинственная Тепи
вещала и разгадывала сны.

Она, накидку черную надевши,
шептала и впадала в немоту.
Исполнены отчаянной надежды,
алхимики смотрели в темноту.

И, извиваясь, словно тело кобры,
горело пламя, выбившись из сил,
но мертвенно отсвечивали колбы:
„Беспомощен ты, мудрый эликсир”.

Здесь слышны звоны дальние Лореты.
И только камни помнят:
в старину
надменные придворные поэты
здесь хаживали,
вперившись в луну.

Прославиться им, бедным,
дал ли Бог?
Но ты живешь,
всё так же строг и волен,
к поверженным взывавший Далибор,
ты, гордый дух,

ты, неподкупный воин.
Умолкли те зловещие уста,
и в воздухе, пронизанном грачами,
так расцветает и шумит листва
деревьев, примыкающих к Градчанам.

* * *

В соборе Витта,
о, святого Витта,
безмолвен малахитовый оргán,
и лишь звучат расписанные плиты,
отчетливо ответствуя шагам.

И поступь здесь осмыслена, как танец,
и высотой заслонен предел.
О добрый чародей-венецианец,
как величаво кистью ты владел!

О стены древние!
Как хорошо вас видно!
Ты рисовал здесь,
и оргán играл.
В соборе Витта,
о, святого Витта,
безмолвен малахитовый оргán.

ТЕЧЕТ ДУНАЙ...

О, быстрое движение сини
и голубизны...
Прикрываются веки,
и кажется —
в Дунае шелестят осины
и кверху поднимаются ветки.
Покойный,
как добрая эта страна,
течет он.
Сверкает его струя.
О Дунай,
стремительный,
как стрела, —
как величава поступь твоя!

ЮЛИУС ФУЧИК В ПРАГЕ

Вот я над Влтавой встала,
цветок держа в руке.
Играет тихо Влтава
на золотом песке.
Весенней доброй правдой
весенних добрых дней
сияет день над Прагой
и надо мною — в ней.
И, молодо бунтуя,
сливаются, плеща,
шуршанье ив, и туи,
и лавра, и плюща.
О Прага,
я волнуюсь!..
Я представляю, как
двором тюремным
Юлиус
шагал с цветком в руках.
Дитя двора тюремного,
мерцал, как огонек,
чуть синий,
чуть сиреневый,
чуть беленький цветок.
Но как бессмертна юность
и солнце надо мной,
так ты бессмертен,
Юлиус,
среди живых — живой.
Вот, вместе с нами празднуя,

под уличный галдёж
свободной гордой Прагою
свободный ты идешь.
Идешь ты, не сутулясь.
Ты молод и высок.
И ты смеешься, Юлиус,
и даришь мне цветок!

1956–1958

Арчил Сулакаури

* * *

Опять нет снега у земли.
Снег недоступен и диковин.
Приемлю солнцепёк зимы,
облокотясь о подоконник.

Дымы из труб — как словеса,
чей важный смысл — абракадабра,
и голубые небеса
дивятся странности подарка.

Я даровал бы крышам снег,
будь я художник иль природа, —
иначе совершенства нет
в пейзаже с тенью дымохода.

Я И ТЫ

Лиле

О, уезжай! Играй, играй
В отъезд. Он нас не разлучает.
Ты — это я. И где же грань,
Что нас с тобою различает?

Я сам разлуку затевал,
Но в ней я ничего не понял.
Я никогда не забывал
Тебя. И о тебе не помнил.

Мне кажется игрой смешной
Мое с тобою расставанье.
Ты — это я. Меж мной и мной
Не существует расстоянья.

О глупенькая! Рви цветы,
Спи сладко иль вставай с постели.
Ты думаешь, что это ты
Идешь проспектом Руставели?

А это — я. Мои глаза
Ты опускаешь, поднимаешь,
Моих знакомых голоса
Ты слушаешь и понимаешь.

И лишь одно страшит меня
И угрожает непрерывно:
Ты — это я! Ты — это я!

А если бы меня не стало?

1962

Белла Ахмадулина

Старый дуб, словно прутик, сгибаю,
 Достая в синем небе орла.
 Я один колоброжу, гуляю,
 Гогочу, как лихая орда.

Я хозяин заброшенных хижин,
 Что мелькают в лесу кое-где.
 Осторожный и стройный, как хищник,
 Жадно я припадаю к еде.

Мне повадно и в стужу, и в ветер
 Здесь бродить и ступать тяжело.
 Этот лес — словно шкура медведя,
 Так в нём густо, темно и тепло.

Я охотник. С тяжелою ношей
 Прихожу и сажусь у огня.
 Я смеюсь этой темною ночью,
 Я оди — и довольно с меня!

Сказки сказываю до рассвета
 И пою. А кому — никому!
 Я себе открываю всё это.
 Я-то всё рассужу и пойму.

Я по бору хожу. Слава бору!
 Город — там, где отроги темны.
 Мне не видно его. Слава Богу,
 Даже ветер с другой стороны.

Только облако в небе. Да эхо.
Да рассвет предстоящего дня.
Лишь одно только облако это, —
Нет знакомых других у меня!

С длинным посохом, долгие годы,
Одинокий и вечный старик,
Я брожу... И, как крепость свободы,
В чаще леса мой домик стоит!

1946

БЕГСТВО ОТ ТЕБЯ В МЦХЕТУ

О, как дожди в то лето лили!
А я бежал от нас двоих.
Я помню мертвенные лики
Старух молящихся,
До них, —
О, не было до них мне дела,
Их вид меня не поражал.
Я помню лишь, как ты глядела,
Как улыбалась...
Я бежал!

И здесь, в старинной Мцхете вѣщей,
Смеялся я, от солнца слеп,
Но в этой клинописи вечной
Твоей руки я видел след.
Ты здесь играла, рисовала,
Ты и тогда была умна
И камням этим раздавала
Иероглифы и имена.

Гора лежала, словно буйвол, —
Так тяжела и высока,
У ног ее, в движенье буйном,
Текла и падала река.
И ворот неба был распахнут,
И синевою обжигал,
И луг был заново распахан...
А я — всё от тебя бежал!

Зеленые, как у рыбачки,
Глаза мне виделись твои, —
Я словно в каменной рубашке
Спасался от твоей любви.
Я помню плач и конский храп.
Как долго мной ты помыкала!
Я гордо превращался в храм,
Но... это мне не помогало!

1948

Меж деревьев и дач — тишина.
Подметание улиц. Поливка.
Море... поступь его тяжела.
Кипарис... его ветка поникла.

И вот тонкий, как будто игла,
Звук возник и предался огласке:
Начинается в море игра —
В смену темной и светлой окраски.

Домик около моря. И ты,
Только ты, только я — в этом доме.
И неведомой формы цветы
Ты приносишь и держишь в ладони.

И один только вид из окна:
Море, море вокруг — без предела.
Спали мы. И его глубина
Подступала и в окна глядела.

Мы бежали к нему по утрам,
И оно нас в себя принимало.
И текло по плечам, по рукам,
И легко холодком принимало.

Нас вода окружала, вода, —
Литься ей и вовек не пролиться.
И тогда знали мы, и тогда,
Что недолго всё это продлится.

Всё смешается: море и ты,
Вся печаль твоя, тайна и прелесть,
И неведомой формы цветы,
И травы увядающей прелесть.

В каждом слове твоём — соловьи
Пели, крылышками трепетали.
Были губы твои солонны,
Твои волосы низко спадали...

Снова море. И снова бела
Кромка пены. И это извечно.
Ты была? В самом деле была,
Или нет? Это мне неизвестно.

1950

КОНЕЦ ОХОТНИЧЬЕГО СЕЗОНА

Октябрь. Зимы и лета перепалка.
Как старый фолиант без переплёта —
потрепанная ветром ветхость парка.
И вновь ко мне взывает перепёлка.

Зовет: — Приди, губитель мой родимый.
Боюсь я жить в моем пустынном поле.
Охотник милосердный и ретивый,
верши судьбу моей последней боли. —

Но медлю я в ночи благословенной,
украшенной созвездьями и тишью.
И безнадежно длится во вселенной
любовь меж мной и этой странной птицей.

С ТЕХ ПОР.

Сколько хлопьев с тех пор,
сколько капель,
сколько малых снежинок в снегу,
сколько крапинок вдавлено в камень,
что лежит на морском берегу,
сколько раз дождик лил по трубе,
сколько раз ветерок этот дунул, —
столько раз о тебе, о тебе,
столько раз о тебе я подумал!

1954

„О милая!” — так я хотел назвать
ту, что мила, но не была мне милой.
Я возжелал свободы легкокрылой,
снедал меня ее пустой азарт.

Но кто-то был — в дому, или в толпе,
или во мне... Он брал меня за локоть
и прекращал моих движений легкость,
повелевая помнить о тебе.

Он был мой враг, он врал: „Прекрасна та”.
Ты, стало быть. Ты не была прекрасна.
Как мне уйти, я думал, как прокрасться
туда, где нет тебя, где пустота?

Как он любил, как он жалел твою
извечную привычку быть любимой!
Всё кончено. Побег необходимый
я никогда уже не сотворю.

Но кто он был, твоим глазам, слезам
столь преданный, поникший пред тобою?
Я вычислял и мудростью тупою
вдруг вычислил, что это был я сам.

В ночи непроходимой, беспросветной
Являлась смерть больной душе моей
И говорила мне: — За мною следуй!.. —
И я молчал. И следовал за ней.

Я шел за ней до рокового края.
В пустое совершенство глубины
Вела стена — холодная, сырая.
Я осязал камня той стены.

Подумал я в живой тоске последней,
Внушающей беспамятство уму:
„Неужто опыт мудрости посмертной
Я испытаю раньше, чем умру?“

Я видел тайну, и открытье это
Мне и поныне холодит чело:
Там не было ни темноты, ни света,
Ни тишины, ни звука — *ничего*.

1961

НА СМЕРТЬ Э. ХЕМИНГУЭЯ

Охотник непреклонный!
Целясь,
ученого ты был точней.
Весь мир оплакал драгоценность
последней точности твоей.

1961

ТИЙЮ

*Эстонской девушке
по имени Тийю*

Чужой страны познал я речь,
И было в ней одно лишь слово.
Одно — для проводов и встреч,
Одно — для птиц и птицелова.

О Тийю! Этих двух слогов
Достанет для „прощай” и „здравствуй”,
В них знак немилости и зов,
И „не за что”, и „благодарствуй”.

О Тийю! В слове том слегка
Будто посвистывает что-то,
В нём явственны — акцент стекла
Разбитого и птичья нота.

Чтоб „Тийю” молвить, по утрам
Мы все протягивали губы.
Как в балагане — тарарам,
В том имени — звонки и трубы.

И наконец, — о, как добра! —
Долга, как плеть, проста, как парус,
На голос птиц и серебра,
Оправдывать высокопарность, —

Всплывала Тийю сквозь пласты
Воды морской и белой пены...
О скромница, как все пловцы!
Бесстыдница, как все сирены!

О, слово „Тийю”! Им одним,
Единственно знакомым словом,
Прощался я с лицом твоим
И с берегом твоим сосновым.

Тий-ю! (Как голова бела!)
Тий-ю! (Не плачь, какая польза!)
Тий-ю! (Прощай!)
Тий-ю! (Всегда!)
Как скоро всё это... как поздно...

1962

Когда бы я, не ведая стыда,
просил прохожих оказать мне милость
иль гения нелепая звезда
во лбу моём причудливо светилась, —

вовек не оглянулась бы толпа,
снедаемая суетой слепую.
Но я хотел поцеловать тебя
и потому был окружен толпою.

Пойдем же на вокзал! Там благодать,
там не до нас, там торопливы речи.
Лишь там тебя смогу я целовать —
в честь нашей то ль разлуки, то ли встречи.

1962

В ПОЕЗДЕ

Между нами — лишь день расстоянья.
Не прошло еще целого дня
От тебя — до меня, до сиянья
Глаз твоих, провожавших меня.

А за окнами — горы и горы.
Деловое движенье колес.
День. О Господи! Годы и годы
Я твоих не касался волос!

Я соседа плечом задеваю.
„Эхе-хе!” — я себе говорю.
Разговор о тебе затеваю.
У окошка стою. И курю.

1963

ДАЧНАЯ СЮИТА

Старомодные тайны субботы
соблюдают свой нежный сюжет.
В этот сад, что исполнен свободы
и томленья полночных существ,

ты не выйдешь — с таинственным мужем
ты в столовой сидишь допоздна.
Продлевают ваш медленный ужин
две свечи, два бокала вина.

И в окне золотого горенья
все дыханья, все жесты твои
вняты сердцу и скрыты от зренья,
как алгетских садов соловьи.

ПЕСНЯ

Я, как гроза, угрюм. А ты горда,
как город, превзошедший города
красой и славой, светом и стеклом.
И вряд ли ты займешься пустяком
души моей. Сегодня, как всегда,
уходят из Тбилиси поезда.

Уходят годы. Бодрствует беда
в душе моей, которая тверда
в своей привычке узнавать в луне
твое лицо, ниспосланное мне.
Но что луне невзрачная звезда!
Уходят из Тбилиси поезда.

Уходит жизнь — не ведаю куда.
Ты не умрешь. Ты будешь молода.
Вовеки оставайся весела.
Труд двух смертей возьму я на себя.
О, не грусти в час сумерек, когда
уходят из Тбилиси поезда.

1966

Он ждал возникновенья своего
из чащ небытия, из мглы вселенной.
Затем он ждал — всё к этому вело —
то юности, то зрелости степенной.

Печально ждал спасения любви,
затем спасенья от любви печальной.
Хвалы людей и власти над людьми
он ждал, словно удачи чрезвычайной.

Когда он умер, он узнал про смерть,
что только в ней есть завершенность жеста.
Так первый раз сумел он преуспеть
вполне и навсегда, до совершенства.

Родное — я помню немало родных
и лиц, и предметов... Но сколько?
Родное — всего лишь холодный родник,
потрогаешь камень — и скользко,
и чисто,

и весело,

и глубоко.

Дышать там легко, а видать — далеко.
В подоле горы, в подоле горы
подольше гори, подольше гори...
А он говорит и на солнце горит,
и всё это так не расскажется.
О сердце, немало ты примешь обид
и всё же потом не раскаешься...

Как комната была велика!
Она была, как земля, широка
И глубока, как река.
Я тогда не знал потолка
Выше ее потолка.
И все-таки быстро жизнь потекла,
Пошвыряла меня, потолкла...
Я смеялся, купался и грёб...
О детских печалей и радостей смесь:
Каждое здание — как небоскрёб,
Каждая обида — как смерть!
Я играл, и любимой игрой
Был мир — огромный, завидный:
Мир меж Мтацминдою и Курой,
Мир меж Курой и Мтацминдой...
Я помню: у девушки на плечах
Загар лежал влажно и ровно,
И взгляд ее, выражавший печаль,
Звал меня властно и робко.
Я помню: в реке большая вода,
Маленькие следы у реки...
Как были годы длинны тогда,
Как они сейчас коротки!

Когда я целую тебя,
ты на цыпочки привстаешь, —
ты едва до меня достаешь,
когда я целую тебя...

Как я мало еще совершил.
Я — как путник в далеком пути.
Словно до недоступных вершин,
до тебя мне идти и идти.

СЕВЕРНАЯ БАЛЛАДА

Только степи и снег.
Торжество белизны совершенной.
И безвестного путника вдруг оборвавшийся след.

Как отважился он
фамильярничать с бездной вселенной?
В чем разгадка строки,
ненадолго записанной в снег?

Иероглиф судьбы,
наделенный значением крика, —
человеческий след,
уводящий сознание во тьму...

И сияет пространство,
как будто открытая книга,
чья высокая мудрость
вовсеки невнятна уму.

1967

**СТИХОТВОРЕНИЕ
С ПРОПУЩЕННОЙ СТРОКОЙ**

Земля, он мертв. Себе его возьми.
Тебе одной принадлежит он ныне.
Как сеятели горестной весны,
хлопочут о цветах его родные.

Чем обернется мертвость мертвеца?
Цветком? Виденьем? Холодком по коже?
Живых людей усталые сердца
чего-то ждут от мертвых. Но чего же?

Какая связь меж теми, кто сейчас
лежат во тьме, насыщенной веками,
и теми, кто заплаканностью глаз
вникают в надпись на могильном камне?

.....
Что толку в наших помыслах умнейших?
Взывает к нам: — Не забывайте нас! —
бессмертное тщеславие умерших.

1968

НОСТАЛЬГИЯ

„Беговая”, „Отрадное” ... Радость и бег
этих мест — не мои, не со мною.
Чужеземец озябший, смотрю я на снег,
что затеян чужою зимою.

Электричества и снегопада труды.
Электричка. Поля и овраги.
Как хочу я лежать среди глубокой травы
там, где Иори, и там, где Арагви.

Северяне, я брат ваш, повергнутый в грусть.
Я ослеп от бесцветья метели.
Белый цвет — это ласточек белая грудь.
Я хочу, чтобы птицы летели.

Я хочу... Как пуста за изгибом моста
темнота. Лишь кусты да вороны.
„Где ты был и зачем?” — мне готовит Москва
домочадцев пустые вопросы.

„Беговая”, „Отрадное” ... Кладбища дач.
Неуместных названий таблицы.
И душа, ослабев, совершает свой плач,
прекращающий мысль о Тбилиси.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

Я говорю вам: научитесь ждать,
еще не всё, всему дано продлиться, —
безмерных продолжений благодать
не зря вам обещает бред провидца;
возобновит движение рука,
затевшая добрый жест привета,
и мысль, невнятно тлевшая века,
всё ж вычислит простую суть предмета;
смех округлит улыбку слабых уст,
отчаянье взлелеет тень надежды,
и бесполезной выгоды искусств
возжаждет одичалый ум невежды;
дитя в себе преобразит отца,
свой тайный смысл нам разъяснит природа,
и одарит рассудки и сердца
всезнания блаженная свобода.
Лишь истина окажется права,
в сердцах людей взойдет ее свеченье,
и обретут воскресшие слова
поступков драгоценное значенье!

1968

Этот день — как зима, если осень причислить к зиме,
и продолжить весной, и прибавить холодное лето.
Этот день — словно год, происходит и длится во мне,
и конца ему нет. О, не слишком ли долго всё это?

Год и день, равный году. Печальная прибыль седин.
Развеселый убыток вина, и надежд, и отваги.
Как не мил я себе! Я себе тяжело досадил:
я не смог приручить одичалость пера и бумаги.

Год и день угасают. Уже не настолько я слеп,
чтоб узреть над собою удачи звезду молодую.
Но, быть может, в пространстве останется маленький след,
если вдруг я уйду — словно слабую свечку задую...

Начинаются новости нового года и дня.
Мир дурачит умы, представляясь блистательно новым.
Новизною своей Новый год не отринет меня
от медлительной вечности меж немотою и словом.

1968

СОБЛЮДАЮЩИЙ ТИШИНУ

... В этом мире, где осень, где розовы детские лица,
где слова суеты одинокой душе тяжелы,
кто-то есть...

Он следит, чтоб летели тишайшие листья,
и вершит во вселенной высокий обряд тишины.

ОЧКИ

Памяти Симона Чиковани

Вот кабинет, в котором больше нет
Хозяина, но есть его портрет.
И мне велит судьбы неотвратимость
Сквозь ретушь отчуждения, сквозь дым
Узнать в лице пресветлую родимость
И суть искусства, явленную им.

Замкнул в себе усопших книг тела
Аквариум из пыли и стекла...
Здесь длилась книг и разума беседа,
Любовь кружила головы в дому.
И всё это, что кануло бесследно,
Поэзией приходится уму.

Меня пугают лишь его очки —
Еще живые, зрячие почти.
Их странный взгляд глубок и бесконечен,
Всей слепотой высматривая свет,
Они живут, как золотой кузнечик,
И ждут того, кого на свете нет.

1970

ЛИРИЧЕСКИЙ РЕПОРТАЖ С ПРОСПЕКТА РУСТАВЕЛИ

Ошибся тот, кто думал, что проспект
есть улица. Он влажный брег стихии
страстей и таинств. Туфельки сухие,
чтоб вымокнуть, летят в его просвет.

Уж вымокли!.. Как тяжек труд ходьбы
красавицам! Им стыдно или скушно
ходить, как мы. Им ведомо искусство
скольжения по острию судьбы.

Простое слово чуждо их уму,
и плутовства необъяснимый гений
возводит в степень долгих песнопений
два слова: „Неуже-ели? Почему-у?”

„Ах, неуже-ели это март настал?”
„Но почему-у так жарко? Это странно!”
Красавицы средь стёкол ресторана
пьют кофе — он угоден их устам.

Как опрометчив доблестный простак,
что не хотел остаться в отдаленье!
Под взглядом их потусторонней лени
он терпит унижение и страх...

Так я шутил. Так брезговал бедой,
покуда на проспекте Руставели
кончался день. Платаны розовели.
Шел теплый дождь. Я был седым-седой.

Белла Ахмадулина

Я не умел своей душе помочь.
Темнело в небе — медленно и сильно...
И жаль мне было, жаль невыносимо
Есенина в ту мартовскую ночь.

1971

Когда б я не любил тебя угрюмым,
Огромным бредом сердца и ума,
Я б ждал тебя, и предавался думам,
И созерцал деревья и дома.

Я бы с роднёй досужей препирался
Иль притворялся пьяницей в пивной,
И алгебра ночного преферанса
Клубилась бы и висла надо мной...

Я полюбил бы тихие обеды
В кругу семьи, у мирного стола,
И наслаждался скудостью беседы
И вялым звоном трезвого стекла...

Но я любил тебя.

И эту муку

Я не умел претерпевать один.
О сколько раз в мою с тобой разлуку
Я бедствие чужой души вводил!

Я целовал красу лица чужого,
В нём цвёл зрачок — печальный, голубой, —
Провидящий величие ожога,
В мой разум привнесенного тобой...

Так длилось это тяжкое, большое,
Безбожное чудачество любви.
Так я любил тебя...

И на лицо чужое

Родные тени горечи легли.

ПОСВЯЩЕНИЕ

Ты — маленькая ростом. Я — высок.
Ты — весела, но я зато — печален.
На цыпочки ты встанешь — и висок
С моими поравняется плечами.

Вот так мы и встречаем каждый день,
И разница сближает нас глубоко...
О ты, моя коротенькая тень!
Я тень твоя, но павшая далёко.

СЕВЕРНЫЙ ПЕЙЗАЖ

Я видел белый цвет земли,
где безымянный почерк следа
водил каракули среди снега
и начинал тетрадь зимы.

Кого-то так влекло с крыльца!
И снег — уже не лист бесцельный,
а рукопись строки бесценной,
не доведенной до конца.

ЗИМНИЙ ДЕНЬ

Вот паруса живая тень
зрачок прозревший осеняет,
и звон стоит, и зимний день
крахмалом праздничным сияет.

Проснуться, выйти на порог
и наблюдать, как в дни былые,
тот белый свет, где бел платок
и маляра белы белила,

где мальчик ходит у стены
и, рисовальщик неученый,
среди известковой белизны
выводит свой рисунок черный.

И сумма нежная штрихов
живет и головой качает,
смеется из-за пустяков
и девочку обозначает.

Так, в сердце мальчика проспав,
она вкушает пробужденье,
стоит, на цыпочки привстав,
вся женственность и вся движенье.

Еще дитя, еще намёк,
еще в походке ошибаясь,
вступает в мир, как в свой чертог,
погоде странной улыбаясь.

О Буратино, ты влюблен!
От невлюбленных нас отличен!
Нескладностью своей смешон
и бледностью своей трагичен.

Ужель в младенчестве твоём,
догадкой осенён мгновенной,
ты слышишь в ясном небе гром
любви и верности неверной?

Дано предчувствовать плечам,
как тяжела ты, тяжесть злая,
и предстоящая печаль
печальна, как печаль былая...

Колокола звонят, и старомодной
печалью осеняют небеса,
и холодно, и в вышине холодной
двух жаворонков плачут голоса.

Но кто здесь был, кто одарил уликой
траву в саду, и полегла трава?
И маялся, и в нежности великой
оливковые трогал дерева?

Еще так рано в небе, и для пеня
певец еще не разомкнул уста,
а здесь уже из слёз, из нетерпенья
возникла чьей-то песни чистота.

Но в этой тайне всё светло и цельно,
в ней только этой речки берега,
и ты стоишь одна, и драгоценно
сияет твоя медная серьга.

Колокола звонят, и эти звуки
всей тяжестью своею, наяву,
летят в твои протянутые руки,
как золотые желуди в траву.

Да не услышишь ты,
да не сорвется
упрёк мой опрометчивый,
когда
уродливое населит сиротство
глаза мои, как два пустых гнезда.

Всё прочь лететь — о, птичий долг проклятый!
Та птица, что здесь некогда жила,
исполнила его, — так пусть прохладой
потешит заскучавшие крыла.

Но без тебя — что делать мне со мною?
Чем приукрасить эту пустоту?
Вперяю я, как зеркало ночное,
серебряные очи в темноту.

Любимых книг целебны переплёты,
здесь я хитрей, и я приникну к ним —
чтоб их найти пустыми. В перелёты
взвились с тобою души этих книг.

Ну, что же, в милосердии обманном
на память мне не оброни пера.
Всё кончено! Но с пятнышком туманным
стоит бокал — ты из него пила.

Всё кончено! Но в скважине замочной
свеж след ключа. И много лет спустя

я буду слушать голос твой замолкший,
как раковину слушает дитя.

Прощай же! И с злорадством затаенным
твой бледный лоб я вижу за стеклом,
и красит его красным и зеленым
навстречу пробегающим огнем.

И в высь колен твое несется платье,
и встречный ветер бьет, и в пустырях
твоя фигура, как фигура Плача,
сияет в ослепительных дверях.

Проводники флажками осеняют
твой поезд, как иные поезда,
и долог путь, и в вышине зияют
глаза мои, как два пустых гнезда.

ДРЕВНИЙ ТАЛЛИН

О сказки, как они близки —
толкуются, трогают за локоть.
Я пиво пью — и вдоль щеки
летит их старомодный локон.

Глядят из золотой воды
минувших рыцарей приметы —
так, объявляя час беды,
приходят игроку валеты.

Так здравствуй, проигрыш! Меня
не веселил последний талер.
Я знал, зачем сошел с коня
у врат твоих, о древний Таллин.

Та женщина в свое жильё
огня не вносит в полночь эту.
Отведав темноты ее,
глаза уж не внимают свету.

Она — беде родная дочь,
ее подарки — снег и голод.
Колокола, что слышишь в дождь,
и то теплей, чем этот голос.

Бежал я от ее теней,
от слёз, от лжи — в твой край далекий,
как будто я бежал за ней —
к теням, к слезам, ко лжи жестокой.

Белла Ахмадулина

Все колокольни, все столбы,
строенья станции дорожной
о грудь мою разбили лбы
в погоне этой безнадежной.

В чем полномочие твое,
о город с крышей островерхой?
Помечен именем ее
твой каждый храм и домик ветхий.

Так приголубь, так заморочь
меня сказаньями твоими
и в стёкла вписанное имя
своим морозом заморозь.

ПЕТЕРГОФ

Опять благословенный Петергоф
дождям своим повелевает литься
и бронзовых героев и богов
младенческие умывает лица.

Я здесь затем, чтоб не остаться там,
в позоре том, в его тоске и в неге.
Но здесь ли я? И сам я — как фонтан,
нет места мне ни на земле, ни в небе.

Ужель навек я пред тобой в долгу —
опять погибнуть и опять родиться,
чтоб описать смертельную дугу
и в золотые дребезги разбиться!

О Петергоф, свежи твои сады!
Еще рассвет, еще под сенью древа,
ликуя и не ведая беды,
на грудь Адамову лицо склоняет Ева.

Здесь жди чудес: из тьмы, из соловьев,
из зелени, из вымысла Петрова,
того гляди, проглянет Саваоф,
покажет лик и растворится снова.

Нет лишь тебя. И всё же есть лишь ты.
Во всём твои порядки и туманы,
и парк являет лишь твои черты,
и лишь к тебе обращены фонтаны.

Белла Ахмадулина

Отар Чиладзе

* * *

В быт стола, состоящий из яств и гостей,
в круг стаканов и лиц, в их порядок насущный
я привел твою тень. И для тени твоей —
вот стихи, чтобы слушала. Впрочем, не слушай.

Как бы всё упростилось, когда бы не снег!
Белый снег увеличился. Белая птица
преуспела в полёте. И этот успех
сам не прост и не даст ничему упроститься.

Нет, не сам по себе этот снег так велик!
Потому он от прочего снега отличен,
что студеным пробелом отсутствий твоих
его цвет был усилен и преувеличен.

Холод теплого снега я вытерпеть мог —
но в прохладу его, волей слабого жеста,
привнесён всех молчаний твоих холодок,
дабы стужа зимы обрела совершенство.

Этим снегом, как гневом твоим, не любим,
я сказал твоей тени: — Довольно! Не надо!
Оглушен я молчаньем и смехом твоим
и лицом, что белее, чем лик снегопада.

Ты — во всём. Из всего — как тебя мне извлечь?
Запретить твоей тени всех сказок чрезмерность,
твое тело услышать, как внятную речь,
где прекрасен не вымысел, а достоверность?

Снег идет и не знает об этом. Летит
и об этом не ведает белая птица.
Этот день лицемерит и делает вид,
что один, без тебя он сумеет продлиться.

О, я помню! Я сам был огромен, как снег.
Снега не было. Были огромны и странны
возле зренья и слуха — твой свет и твой смех,
возле губ и ладоней — вино и стаканы.

Но не мне быть судьей твоих слов и затей!
Ты прекрасна. И тень твоя тоже прекрасна.
Да хранит моя тень твою слабую тень —
там, превыше всего, в неуютности пространства.

1957

Я попросил подать вина и пил.
Был холоден не в меру мой напиток.
В пустынном зале я делил мой пир
со сквозняком и запахом опилок.

Несмелый локоть горестной зимы
из тьмы снаружи лёг на подоконник.
Из сумрачных берлог, из мглы земли,
наверно, многих, но не знаю скольких,

рёв паровозов вышел и звучал.
Не ведаю, что делалось со мною,
но мне казалось — плач их означал
то, что моею было тишиною.

Входили люди, супа, папирос
себе просили, поступали просто
и упрощали разноречивой сиротств
до одного и общего сиротства.

Они молчали, к помыслам своим
подняв многозначительные лица,
как будто что-то, ведомое им,
намеревалось грянуть и случиться.

Их тайна для меня была темна.
Я не спешил расспрашивать об этом.
Желанием моим или вина
было — увидеть снег перед рассветом.

Снег начинался около крыльца,
и двор был неестественно опрятен,
словно постель умершего жильца,
где новый штрих уже невероятен.

Свою печаль я укротил вином,
но в трезвых небесах неукротенных
звучала встреча наших двух имен
предсмертным звоном двух клинков скрещенных.

Мне никогда бы не отвлечь ума
от алчности — забыть, что с нами было,
когда бы милосердная зима
для будних дел меня не исцелила.

1962

ШЕЛ ДОЖДЬ...

Шел дождь — это чья-то простая душа
пеклась о платане, чернеющем сухо.
Я знал о дожде. Но чрезмерность дождя
была впечатленьем не тела, а слуха.

Не помнило тело про сырость одежд,
но слух оценил этой влаги избыток.
Как громко! Как звонко! Как долго! О, где ж
спасенье от капель, о землю разбитых!

Я видел: процессии горестный горб
влачится, и струи небесные льются,
и в сумерках скромных сверкающий гроб
взошел, как огромная черная люстра.

Быть может, затем малый шорох земной
казался мне грубым и острым предметом,
что тот, кто терпел его вместе со мной,
теперь не умел мне способствовать в этом.

Не знаю, кто был он, кого он любил,
но как же в награду за сходство, за странность,
что жил он, со мною дыханье делил,
не умер я — с ним разделить бездыханность!

И я не покаран был, а покорён
той малостью, что мимолетна на свете.
Есть в плаче над горем чужих похорон
слеза о родимости собственной смерти.

Бессмертья желала душа и лгала,
и хитросплетенья дождя расплетала,
и капли, созревшие в колокола,
раскачивались и срывались с платана.

1962

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ОСЕНИ

Я вижу день и даже вижу взор,
которым я недвижно и в упор
гляжу на всё, на что гляжу сейчас,
что ныне — явь, а будет — память глаз,
на всё, что я хвалил и проклинал,
пока любил и слезы проливал.
Покуда августовская листва
горит в огне сентябрьского костра,
я отвергаю этот мёд иль яд,
для всех неотвратимый, говорят,
и предвкушаю этот яд иль мёд.
А жизнь моя еще идет, идет...

1963

СНЕГ

Б. А.

Как обычно, как прежде, встречали мы ночь,
и рассказывать было бы неинтересно,
что недобрых гостей отсылали мы прочь,
остальным предлагали бокалы и кресла.

В эту ночь, что была нечиста и пуста,
он вошел с выраженьем любви и сиротства,
как приходят к другим, кто другим не чета,
и стыдятся вины своего превосходства.

Он нечаянно был так велик и робел,
что его белизну посчитают упрёком
всем, кто волей судьбы не велик и не бел,
не научен тому, не обласкан уроком.

Он был — снег. И звучало у всех на устах
имя снега, что стало известно повсюду.
— Пой! — велели ему. Но он пел бы и так,
по естественной склонности к пенью и чуду.

Песня снега была высоко сложена
для прощенья земле, для ее утешенья,
и, отважная, длилась и пела струна,
и страшна была тонкость ее натяженья.

Голос снега печально витал над толпой.
— Пой! — кричали ему. — Утешай и советуй! —
Я один закричал: — Ты устал и не пой!
Твое горло не выдержит музыки этой.

Белла Ахмадулина

На рассвете все люди забыли певца,
занимаясь заботами плача и смеха.
Тень упала с небес и коснулась лица —
то летел самолет там, где не было снега.

1963

КОМНАТА

Поступок неба – снегопад.
Поступок женщины – рыданье.
Капризов двух и двух услад –
вот совпадение и свиданье.

Снег, осыпаясь с дальних лун,
похож на плач, и сходство это
тревожит непроглядный ум
и душу темную предмета.

Слеза содеяна зрачком,
но плач – занятие губ и тела.
Земля и женщина ничком
лежали, и метель летела.

1966

Я крепко спал при дереве в окне
и знал, что тень его дрожащей ветки —
и есть мой сон. Поверх тебя во сне
смотрели мои сомкнутые веки.
Я мучился без твоего лица!
В нём ни одна черта не прояснилась.
Не подлежала ты обзору сна,
и ты не снилась мне. Мне вот что снилось:

на белом поле стояли кони.
Покачиваясь, качали поле.
И всё раскачивалось в природе.
Качанье знают точно такое
шары, привязанные к неволе,
а также водоросли на свободе.

Свет иссякал. Смеркались небеса.
Твой облик ускользал от очевидца.
Попав в силки безвыходного сна,
до разрыванья сердца пела птица.
Шла женщина — не ты! — примяв траву
ступнями, да, но почему твоими?
И так она звалась, как наяву
зовут одну тебя. О, твое имя!
На лестнице неведомых чужбин,
чей темный свод угрюм и непробуден,
непоправимо одинок я был,
то близорук, то вовсе слеп и скуден.

На каменном полу души моей
стояла ты — безгласна, безымянна,
как тень во тьме иль камень меж камней.
Моя душа тебя не узнавала.

1967

БЕССОННИЦА

Было темно. Я вгляделся: лишь это и было.
Зримым отсутствием неба я счел бы незримость небес,
если бы в них не разверзлась белесая щель, —
вялое облако втиснулось в эту ловушку.
Значит, светает... Весь черный и в черном, циркач
вновь покидает арену для темных кулис.
Белому в белом — иные готовы подмости.

Я ощущал в себе власть приневолить твой слух
внять моей речи и этим твой сон озадачить,
мысль обо мне привнести в бессознание твое, —
но предварительно намеревался покинуть
эти тяжелые и одноцветные стены.
Так я по улицам шел, не избрав направленья,
и злодеянье свое совершал добродетельный свет,
не почитавший останков погубленной ночи:
вот они — там или сям, где лежат, где висят —
разъединенной, растерзанной плотью дракона.
Лужи у ног моих были багрового цвета.
Утренней сырости белые мокрые руки
тёрли лицо мое, мысли стирая со лба,
и пустота заменила мне время рассудка.
Освобожденный от помыслов и ощущений,
я беспрепятственно вышел из призрачных стен
города, памяти и моего существа.
Небо вернулось, и в небо вернулась вершина —
из темноты, из отлучки.
При виде меня
тысячу раз облака изменились в лице.

Я был им ровня и вовсе от них не отличен.
Пуст и свободен, я облаком шел к облакам,
нет, как они, я был движим стороннею волей:
нёс мое чучело неизвестный носильщик.
Я испугался бессмысленной этой ходьбы:
нет ли в ней смысла ухода от бледных ночей,
надобных мне для страстей, для надежд и страданий,
для созерцанья луны, для терпенья и мук,
свет возжигающих в тайных укрытьях души.

Я обернулся на стены всего, что покинул.
Там — меня не было. И в небеса посылала,
в честь бесконечности, дым заводская труба.

1967

СОН

Земля мерещится иль есть.
Что с ней? Она бела от снега.
Где ты? Всё остальное есть.
Вот ночь — для тьмы, фонарь — для света.

Вот я — для твоего суда,
безропотно, бесповоротно.
Вот голос твой. Как он сюда
явился, Боже и природа?

Луна, оставшись начеку,
циклопов взор втесняет в щёлку.
Я в комнату ее влеку,
и ты на ней покоишь щёку.

1967

Бог памяти, Бог забыванья!
Ожог вчерашнего пыланья
залечен вечностью слепую.
И та, чьего лица не помню,
была ль, покуда не ушла?

Но всё надеется душа,
зияя ящиком Пандоры,
на повторенья и повторы.

1968

ДО РАЗЛУКИ

Так время пробежало черной кошкой
по закоулкам.
И лицо зимы
с простыми и суровыми чертами
размылось в стёклах.
Только этот лист сковало льдом...
В котором отразится
во сне ли явленное или наяву —
как в зеркале,
чтобы шипы воспоминаний
не раз отверзли нам глаза души:
усталые от дней однообразья,
искусственного солнца с лживым блеском,
ворованного неба, даже жизни,
столь не осмысленной порою до конца.

Блестит сосулька, сладкий зуб зимы.
И вздох трубы, и выдох человека
с теплом, как в только что убитом звере, —
полотнищем трепещут на ветру.
И вот, как если б сотню лет спустя,
когда всем-всем — от красок и до звуков —
перенасыщен дух,
я вновь прошу
вернуть мои права на всё былое.
Мне нужно их вернуть,
чтоб нас с тобой,
едва почуя трещину отхода,
не поглотило облако забвенья

своей зловеще-топкой чернотой.
Дай руку мне,
горячую обычно и слабую.
Дай сердце мне свое,
такое же горячее — и строже
которого не ведал в жизни я!
Покуда позволяет нам судьба,
давай же не утрачивать доверья —
и да прислушается к нам извечный мир,
и наши головы на грудь себе положит,
и будет он по-прежнему стараться
хоть в чем-то измениться... но не сможет.

1969

Эта зелень чрезмерна для яви.
Это — сон, разумеется,
сон о зеленом...

Ветру не терпится вялую дрёму тумана
вывести, выволочь, вытолкнуть из сосняка,
и туман,
как и подобает большому сонному животному,
понура следует за ветром,
и потому — всё вокруг зеленое:
стена, лестница, балкон, скамья и книга —
та книга, которая всю ночь
впустую взывала к состраданию,
желая разгласить заключенную в ней боль
(словно старуха, ощутившая дыхание смерти,
столь же острое и важное,
как дыхание того, о, того,
кто когда-то впервые говорил ей о любви,
и вот теперь — к отупевшему лицу,
замкнутому, как клетка,
которой нечего держать взаперти,
изнутри подступила страсть).

Это — сон, разумеется,
длинный сон...
Шаги по сосновому полу ничем не вредят тишине.
Воздух, вобранный птичьей гортанью,
вскоре возвращается в виде зеленого свиста,
то есть не слышно, а видно,

как клюв исторгает зеленую трель,
ибо туман забрал себе и присвоил все звуки —
в обмен на право прогуливаться
среди ветвей в зеленых шлепанцах...
Изваянная, как жеребенок,
закинув голову, нюхает воздух маленькая девочка.

1971

Шла женщина по белому песку
и думала: где в мире бесконечном
ей дома быть, чтобы рывком беспечным
одежды сбросить и предаться сну?
Решила: здесь! — где тысяча мужчин
пила вино среди своих владений.
У женщины, желавшей сновидений,
считаться с этим не было причин.
Вселенная была ее уют,
где ей угодно быть хозяйкой дома,
где нагота блаженна и удобна:
вздывает грудь, и туфельки не жмут.
Однако как беспечен, как высок
был подвиг той свободы одинокой:
разделась и легла возле глубокой
воды морской, затронувшей песок.
Так и спала средь блеска и жары.
Жил влажный след от моря и до камня.
Мужчин неосторожные дыханья
теснились, как воздушные шары.
Всё, что кричит, хлопчет, говорит,
затихло: в мире не осталось шума.
Моряк забыл, как называлась шхуна,
рыбак не помышлял о ловле рыб.
Спала, щекою к вечности припав,
в отваге беззащитной и несмелой,
и сон ее лелеял город белый,
что камбалой и камфарой пропах.

Морис Поухишвили

ФЕРЗЕВЫЙ ГАМБИТ

Следи хоть день-деньской за шахматной доской —
всё будет пешку жаль.

Что делать с бедной пешкой?

Она обречена.

Ее удел такой.

Пора занять уста молитвой иль усмешкой.

Меняет свой венец на непреклонный шлем
наш доблестный король, как долг и честь велели.
О, только пригубить текущий мимо шлейф —
и сладко умереть во славу королевы.

Устали игроки.

Всё кончено. Ура!

И пешка, и король летят в одну коробку.
Для этого, увы, ненадобно ума,
и тщетно брать туда и шапку, и корону.

Претерпеваем рознь в честь славы и войны,
но в крайний час —

навек один другому равен.

Чей неусыпный глаз глядит со стороны?

И кто играет в нас, покуда мы играем?

Зачем испещрена квадратами доска?

Что под конец узнал солдатик деревянный?

Восходит к небесам великая тоска —

последний малый вздох фигурки безымянной.

Иза Орджоникидзе

* * *

Вот слово — оскудевшее, иссякшее...
Как старый камень, о который всякое
навастривал точильщик остриё,
так слово притупилось от всего,
на что когда-то искры расточало,
покуда вовсе их не расточило.
Не начинать же всё это сначала!
Пора на свалку выкинуть точило.
Друзья мои, вас нет на белом свете.
Но есть на свете веская причина,
чтобы, устав от постиженья смерти,
так смерклось сердце, будто опочило.
Как бедное дитя, скончалось детство,
и юности нежно-зеленый холмик
едва заметен, если приглядеться:
никто его не помнит и не холит.
Но верю я могилам жизни прежней,
и то, что мне мои могилы верят,
свидетельствуют в тишине апрельской
кладбищенские бузина и вереск.
Сраженья, спешка, зов трубы — доколе
жизнь понукать иль сдерживать уздою?
Дни пали, словно загнанные кони.
Я больше не играю со звездою.
Весна в окне — и сколько зноя, звона
и букв в письме, я их не разбираю.
Благодарю тебя за прелесть вздора!
Я со звездою больше не играю.
Моя обитель: горечь и уют.

Таков декабрь, когда придет на юг
и, в свой черёд, походит на альбом,
в котором лик красавицы умершей
являет мне и чудный тот апломб,
сто лет назад сводить с ума умевший.
Уж всякой всячиной воспоминаний
по горло сыты души и леса.
Но, медленней платановых пыланий,
колышется прекрасная слеза.
Пролиться ей еще не вышел срок.
Одна слеза – прощает, знает, помнит.
Дик свет ее, как розовый шиповник, да, как
шиповник между двух дорог..



*Белла
Ахмадулина*

СОЧИНЕНИЯ • ТОМ 1

РАССКАЗЫ

Всем сразу нашлось куда ехать.

— Горск! Речинск! — радостно вскрикивали вокруг нас и бежали к „газикам”, пофыркивающим у обкомовского подъезда.

И только мы с Шурой слонялись по городу, томились, растерянно ели беляши, и город призрачно являлся нам из темноты, по-южному белея невысокими домами, взреывая близкими паровозами.

Шура был долгий, нескладный человек, за это и звали его Шурой, а не Александром Семеновичем, как бы следовало, потому что он был не молод.

К утру наконец нашелся и для нас повод прыгнуть в „ГАЗ-69” и мчаться вперед, толкаясь плечами и проминая головой мягкий брезентовый потолок.

— Поезжайте-ка вы в Тумы, — сказал нам руководитель нашей группы практикантов-журналистов. — Где-то возле Тумы работают археологи из Москвы, ведут интересные раскопки. Это для Шуры. А вы разыщите сказителя Дорышева.

Мы сразу встали и вышли. Яркий блеск неба шлепнул нас по щекам. И мне и Шуре хотелось бы иметь другого товарища — более надежного и энергичного, чем мы оба, которому счастливая звезда доставляет с легкостью билеты куда угодно и свободные места в гостинице. Неприязненно поглядывая друг на друга, мы с Шурой всё больше тосковали по такому вот удачливому попутчику.

... На маленьком аэродроме маленькие легкомысленные самолеты взлетали и опускались, а очередь, почти сплошь одетая в белые платочки, всё не убавлялась. Куда

летели, кого провожали эти женщины? Умудренные недавним огромным перелетом, мы с улыбкой думали о малых расстояниях, предстоящих им, а их лица были серьезны и сосредоточенны. И, может быть, им, подавленным значительностью перемен, которые собирались обрушить на их склоненные головы маленькие самолеты, суетными и бесконечно далекими казались и огромный город, из которого мы прилетели, и весь этот наш семичасовой перелёт, до сих пор тяжело, как вода, мешающий ушам, и все наши невзгоды, и археологи, блуждающие где-то около Тумы.

На маленьком аэродроме Шура стал уже нестерпимо высоким, и, когда я подняла голову, чтобы поймать его рассеянное, неопределенно плывущее в вышине лицо, я увидела сразу и лицо его и самолет.

Нас троих отсчитали от очереди: меня, Шуру и мрачного человека, за которым до самого самолета семенила, отступалась и всплакивала женщина в белом платке. Нам предстояло час лететь: дальше этого часа самолет не мог ни разлучить, ни осчастливить. Но когда самолет ударил во все свои погремушки, собираясь вспорхнуть, белым-бело, белее платка, ее лицо заслонило нам дорогу — у нас даже глаза заболели — и, ослепленный и напуганный этой белизной, встрепенулся всегда дремлющий вполглаза, как птица, Шура. Белело вокруг нас! Но это уже небо белело — на маленьком аэродроме небо начиналось сразу над вялыми кончиками травы.

Летчик сидел среди нас, как равный нам, но всё же мы с интересом и заискивающе поглядывали на его необщительную спину, по которой сильно двигались мышцы, сохранявшие нас в благополучном равновесии. Этот летчик не был отделен от нашего земного невежества таинственной недоступностью кабины, но цену себе он знал.

— Уберите локоть от дверцы! — прокричал он, не оборачиваясь. — До земли хоть и близко, а падать всё равно неприятно.

Я думала, что он шутит, и с готовностью улыбнулась его спине. Тогда, опять-таки не оборачивая головы, он крепко взял мой локоть, как нечто лишнее и вредно мешающее порядку, и переместил его по своему усмотрению.

Внизу близко зеленели неистойой химической зеленью горы, поросшие лесом, или скушно голубела степь, по которой изредка проплывали грязноватые облака овечьих стад, а то вдруг продолговатое чистое озеро показывало себя до дна, и чудилось даже, что в нём различимы продолговатые рыбы тела.

Эта таинственная, близко-далекая земля походила на дно моря, — если плыть с аквалангом и видеть сквозь стекло и слой воды неведомые, опасно густые водоросли, пробитые белыми пузырьками, извещающими о чьей-то малой жизни, и вдруг из-за угла воды выйдет рыба и уставится в твои зрачки красным недобрым глазом.

— Красивая земля! — крикнула я дремлющему Шуре в ухо.

— Что?

— Красивая земля!

— Не слышу!

Пока я докричала до него эту фразу, она утратила свою незначительность и скромность и оглушила его высокопарностью, так что он даже отодвинулся от меня.

Около Тумы самолет взял курс на старика, вышедшего из незатейливой будки, — в одной руке чайник, в другой полосатый флаг, — и прямо около чайника и флага остановился.

Нашего мрачного попутчика, которого на аэродроме провожала женщина в белом платке, встретила подвода, а мы, помаявшись с полчаса на посадочной площадке, отправились в ту же сторону пешком.

В Тумском райкоме, издалека обнаружившем себя бледно-розовым выцветшим флагом, не было ни души, только женщина мыла пол в коридоре. Она даже не разогнулась при нашем появлении и, глядя на нас вниз головой сквозь твердо расставленные ноги, сказала:

— С Москвы, что ль? Ваша телеграмма нечитаная лежит. Все на уборке в районе, сегодня третий день.

Видно, странный ее способ смотреть на нас — наоборот и снизу вверх — и нам придавал какую-то смехотворность, потому что она долго еще, совсем ослабев, заливалась смехом в длинной темноте коридора, и лужи всхлипывали под ней.

Наконец она домыла свое, страстно выжала тряпку и пошла мимо нас, радостно ступая по мокрому чистыми белыми ногами, и уже оттуда, с улицы, из сияющего простора своей субботы, крикнула нам:

— И ждать не ждите! Раньше понедельника никого не будет!

При нашей удачливости мы и не сомневались в этом. Вероятно, я и Шура одновременно представили себе наших товарищей по командировке, как они давно приехали на места, сразу обо всем договорились с толковыми секретарями райкомов, выработали план на завтра, провели встречи с работниками местных газет, и те, очарованные их столичной осведомленностью и уверенностью повадки, пригласили их поужинать чем Бог послал. А завтра они поедут куда нужно, и сокровенные тайны труда и досуга легко откроются их любопытству, и довольный наш руководитель, принимая из их рук лаконичный и острый материал, скажет озабоченно: „За вас-то я не беспокоился, а вот с этими двумя просто не знаю, что делать”.

С завистью подумали мы о мире, уютно населенном счастливыми.

В безнадежной темноте пустого райкома мы вдруг так смешны и жалки показались друг другу, что чуть не обнялись на сиротском подоконнике, за которым с дымом и лязгом действовала станция Тума и девушки в железнодорожной форме, призывая паровозы, трубили в рожки. Мы долго, как та женщина, смеялись: Шура, закинув свою неровно седую, встрепанную голову, и я, уронив отяжелевшую свою.

Вдруг дверь отворилась, и два человека обозначились в ее неясной светлоте. Они заметили нас на фоне окна и, словно в ужасе, остановились. Один из них медленно и слепо пошел к выключателю, зажегся скромный свет, и, пока они с тревогой разглядывали нас, мы поняли, что они, как горем, подавлены тяжелой усталостью. Из воспаленных век глядели на нас их безразличные, уже подернутые предвкушением сна зрачки.

Окрыленные нашей первой удачей — их неожиданным появлением, — страстно пытаюсь пробудить их, мы бойко заговорили:

— Мы из Москвы. Нам крайне важно увидеть сказителя Дорышева и археологов, работающих где-то в Тумском районе.

— Где-то в районе, — горько сказал тот из них, что был повыше и, видимо, постарше возрастом и должностью. — Район этот за неделю не объедешь.

— Товарищи, не успеваем мы с уборкой, прямо беда, — отозвался второй, виновато розовея белками, — не спим вторую неделю, третьи сутки за рулем.

Но всё это они говорили ровно и вяло, уже подремывая в преддверии отдыха, болезненно ощущая чернеющий в углу облупившийся диван, воображая всем телом его призывную, спасительную округлость. Они бессознательно, блаженно и непреклонно двигались мимо нас в его сторону, и ничто не могло остановить их, во всяком случае, не мы с Шурой.

Мы не отыскали столовой и, нацелившись на гудение и оранжевое зарево, стоящие над станцией, осторожно пошли сквозь темноту, боясь расшибить лоб об ее плотность.

В станционном буфете, вкривь и вкось освещенном гуляющими вокруг паровозами, тосковал и метался единственный посетитель.

— Нинку речинскую знаешь? — горестно и вызывающе кричал он на буфетчицу. — Вот зачем я безобразничаю! На рудники я подамся, ищи меня свищи!

— Безобразничай себе, — скушно отозвалась буфетчица, и ее ленивые руки поплыли за выпуклым стеклом витрины, как рыбы в мутном аквариуме.

Лицо беспокойного человека озарилось лаской и надеждой.

— Нинку речинскую не знаете? — спросил он, искательно заглядывая нам в лица. И вдруг в дурном предчувствии, махнув рукой, словно отрекаясь от нас, бросился вон, скандально хлопнув дверью.

— Кто эту Нинку не знает! — брезгливо вздохнула буфетчица. — Зря вы с ним разговаривать затеяли.

Было еще рано, а в доме приезжих все уже спали, толь-

ко грохочущий умывальник проливал иногда мелкую струю в чьи-то ладони. Я села на сурово-чистую, отведенную мне постель, вокруг которой крепким сном спали восемь женщин и девочка. „Что ее-то занесло сюда?“ — подумала я, глядя на чистый, серебристый локоток, вольно откиннутый к изголовью. Среди этой маленькой, непрочной тишины, отгороженной скудными стенами от грохота и неужога наступающей ночи, она так ясно, так глубоко спала, и сладкая лужица прозрачной младенческой слюны чуть промочила подушку у приоткрытого уголка ее губ. Я пристально, нежно, точно колдуя ей доброе, смотрела на слабый, не окрепший еще полумесяц ее лба, неясно светлевший в полутьме комнаты.

Вдруг меня тихо позвали из дверей, я вышла в недоумении и увидела неловко стоящих в тесноте около умывальника тех двоих из райкома и Шуру.

— Еле нашли вас, — застенчиво сказал младший. — Поехали, товарищи.

Мы растерянно вышли на улицу и только тогда опомнились, когда в тяжело дышавшем, подпрыгивающем „газике“ наши головы сшиблись на повороте.

Они оказались секретарем райкома и его помощником, Иваном Матвеевичем и Ваней.

Скованные стыдом и тяжелым чувством вины перед ними, мы невнятным лепетом уговаривали их не ехать никуда и выспаться.

— Мы выспались уже, — бодро прохрипел из-за руля Иван Матвеевич. — Только вот что. Неудобно вас просить, конечно, но это десять минут задержки, давайте заскочим в душевую, как раз в депо смена кончилась.

Нерешительно выговорив это, он с какой-то даже робостью ждал нашего ответа, а мы сами так оробели перед их бессонницей, что были счастливы и готовы сделать всё что угодно, а не то что заехать в душевую.

„Газик“, похожий на „виллис“ военных времен, резво запрыгал и заковылял через ухабы и рельсы, развернулся возле забора, и мы остановились. Шура остался сидеть, а мы пошли: те двое — в молчание и в тяжелый плеск воды, а я — в повизгивание, смех до упаду и приторный запах праз-

дничного мыла. Но как только я открыла дверь в пар и влагу, всё стихло, и женщины, оцепенев, уставились на меня. Мы долго смотрели друг на друга, удивляясь разнице наших тел, отступая в горячий туман. Уж очень по-разному мы были скроены и расцвечены, снабжены мускулами рук и устойчивостью ног. Я брезговала теперь своей глупо белой, незагорелой кожей, а они смотрели на меня без раздражения, но с какой-то печалью, словно вспоминая что-то, что было давно.

— Ну что уставились? — сказала вдруг одна, греховно рыжая, расфранченная веснушками с головы до ног. — Какая-никакая, а тоже баба, как и мы. — И бросила мне в ноги горячую воду из шайки. И без всякого перехода они приняли меня в игру — визжать и заигрывать с душем, который мощно хлестал то горячей, то холодной водой.

А когда я ушла от них одеваться, та, рыжая, позолоченной раскрасавицей глянула из дверей и заокала:

— Эй, горожаночка! Оставайся у нас, мы на тебя быстро черноту наведем.

Иван Матвеевич и Ваня уже были на улице, и такими молодыми оказались они на свету, после бани, что снова мне жалко стало их: зачем они только связались со мной и Шурой?

Мы остановились еще один раз. Ваня нырнул, как в омут, в темноту и, вынырнув, бросил к нам назад ватник, один рукав которого приметно потяжелел и булькал.

— Ну, Дорышева известно где искать, — сказал Иван Матвеевич, посвежевший до почти мальчишеского облика. — Потрясемся часа два, никак не больше.

Жидким, жестяным громом грянул мотор по непроглядной дороге, в темноте зрение совсем уже отказывало нам, и только похолодевшими, переполненными хвоей лёгкими угадывали мы дико и мощно растущий вокруг лес.

— Эх, уводит меня в сторону! — тревожно и таясь от нас, сказал Иван Матвеевич. — Не иначе баллон спустил.

Он взял правее, и тут что-то еле слышно хрястнуло у нас под колесом.

— Ни за что погубили бурундучишку, — опечаленно поморщился Ваня.

Одурманенные, как после карусели, подламываясь нетвердыми коленями, мы вышли наружу.

— Не бурундук это! — радостно донеслось из-под машины.

Под правым колесом лежал огромный, смертельно перебитый в толстом стебле желтый цветок, истекающий жирною белой влагой.

— Здоровые цветы растут в Сибири! — пораженно заметил Ваня, но Иван Матвеевич перебил его:

— Ты бы лучше колесо посмотрел, ботаник.

Ваня с готовностью канул во тьму и восторженно заорал:

— В порядке баллон! Как новенький! Показалось вам, Иван Матвеевич! Баллончик хоть куда!

Он празднично застучал по колесу одним каблуком, но Иван Матвеевич всё же вышел поглядеть и весело, от всей своей молодости лягнул старенькую, да выносливую резину.

— Ну, гора с плеч, — смущенно доложил он нам. — Не хотел я вам говорить: нет у нас запаски, не успели перемонтировать. Сидели бы тут всю ночь.

Кажется, первый раз за это лето у меня стало легко и беззаботно на душе. Как счастливо всё складывалось! Диковатая, неукротенная луна тяжело явилась из-за выпуклой черноты гор, прояснились из опасной тьмы сильные фигуры деревьев, и, застигнутые врасплох этим ярким, всепроникающим светом, славно и причудливо проглянули наши лица. И когда, подброшенные резким изъязном дороги, наши плечи дружно встретились под худым брезентом, мы еще на секунду задержали их в этой радостной братской тесноте.

Я стала рассказывать им о Москве, я не вспоминала ее: в угоду им я заново возводила из слов прекрасный, легкий город, располагающий к головокружению. Дворцы, мосты и театры складывала я к их ногам взамен сна на черном диване.

Из благодарности к ним я и свою жизнь подвела под ту же радугу удач и развлечений, и столько оказалось в ней забавных пустяков, что они замолкли, не справляясь со смехом, прерывающим дыхание.

Вдруг впереди слабо, как будто пискнул, прорезался маленький свет.

На отчаянной скорости влетели мы в Улус и остановились, словно поймав его за хвост после утомительной погони.

Мы долго стучали на крыльце, прежде чем медленное, трудно выговоренное „Ну!” то ли пригласило нас в дом, то ли повелело уйти. Всё же мы вошли — и замерли.

Прямо перед нами на высоком табурете сидела каменно-большая, в красном и желтом наряде женщина с темно-медными, далеко идущими скулами, с тяжело выложенными на живот руками, уставшими от власти и труда.

Ваня почему-то ничуть не оробел перед этой обширной, тяжело слепящей красотой. Ему и в голову не пришло, как мне, пасть к подножию ее грозного тела и просить прощения неведомо в чём.

— Здравствуйте, мамаша! — бойко сказал он. — А где хозяин? К нему люди из Москвы приехали.

Не зрачками она смотрела на нас, а всей длиной узко и сильно чернеющих глаз. Пока она смиряла в себе глубокий рокот древнего, царственного голоса, чтобы не тратить его попусту на неважное слово, казалось, проходили века.

Каков же должен быть он, ее „повелитель”, отец ее детей, которого и ей не дано переглядеть и перемолчать, пред которым ее надменность кротко сникнет? Я представляла себе, как он, знаменитый сказитель, войдет в свой дом и оглянет его лукаво и самодовольно: ради этого дома он погнушался городской славы и почёта, а чего только не сулили ему! Без корысти лицемера, он скромно вздохнет. Нет, он не понимает, почему не поют другие. Только первый раз трудно побороть немоту, загромождающую гортань. Зато потом так легко принять в грудь, освобожденную от душного косноязычия, чистый воздух и вернуть его полным и круглым звуком. Как сладко, как прохладно держать за щекой леденец еще не сказанного слова! Разве он сочинил что-нибудь? Он просто вспомнил то, что лежит за пределами памяти: изначальную влажность земли, вспоившую чью-то первую алчность жизни, высыхание степи, вспомнил он и то время, когда сам он был маленькой алой темнотой, пред-

назначенной к жизни, и всё то, что знали умершие, и то, чего еще никогда не было, да и вряд ли будет на земле.

Да и не поет он вовсе, а просто высоко, натужно бормочет, коряво пощипывая пальцем самодельную струну, натянутую вдоль полого длинного ящика.

Но вот острое кочевничье беспокойство легкой молнией наискось пробьет его неподвижное тело, хищной рукой он сорвет со стены чатхан с шестью струнами и для начала покажет нам ловкий кончик старого языка, в котором щекотно спит до поры звёздная тысяча тахпахов-песен, ведомых только ему.

Потом он начнет раздражать и томить инструмент, не прикасаясь к его больному месту, а ходя пальцами вокруг да около, пока тот, доведенный до предела тишины, сам не исторгнет печальной и тоненькой мелодии. Тогда, зовуще заглядывая в пустое нутро чатхана, выкликнет он имя богатыря Кюн-Тениса — раз и другой. Никто не отзовется ему. Красуясь перед нами разыгранной неудачей, загорюет он, заищет в струнах, и, на радость нашему слуху, явится милый богатырь, одетый в красный кафтан на девяти пуговках, добрый и к людям, и к скоту.

Так я слушала свои мысли о нём, а в ее небыстрых устах зрели, образовывались и наконец сложились слова:

— Нет его. Ушел за медведем на Белый Июс.

Зачарованная милостивым ее ответом, я не заметила даже, как с горестным сочувствием и виновато Иван Матвеевич и Ваня отводят от меня глаза. (Шура-то, наверное, и не ожидал ничего другого.) Но не жаль мне было почему-то, что, усугубляя мои невзгоды, всё дальше и дальше в сторону Белого Июса, точно вслед медведю, легко празднуя телом семидесятилетний опыт, едет на лошади красивый и величавый старик. Родима и уютна ему глубокая бездна тайги, и конь его не ошибается в дороге, нацелившись смелой ноздрей на гибельный и опасный запах.

Но тут как бы сквозняком вошла в дом распаленная движением девушка и своей разудалою раскосостью, быстрым говором и современной кофтёнкой расколдовала меня от чар матери.

Она сразу поняла, что к чему, без промедления обня-

ла меня пахнувшими степью руками и, безбоязненно сдержнув с высокого гвоздя отцовский чатхан, заявила:

— Не горюйте, услышите вы, как отец поет. Я вам его брата позову — и совсем не так и всё-таки похоже.

Она повлекла нас на крыльцо, с крыльца и по улице, ясно видя в ночи. Возле большого, не веющего жильем дома она прыгнула, не примериваясь, где-то в вышине поймала ключ и, вталкивая нас в дверь, объяснила:

— Это клуб. Идите скорей: электричество до двенадцати.

Выдав нам по табуретке, она четыре раза назвалась Аней, на мгновение подарив каждому из нас маленькую трепещущую руку. Затем повелела темноте за окном:

— Коля! Веди отцовского брата! Скажи, гости из Москвы приехали.

— Сейчас, — покорно согласились потёмки.

Аня, словно яблоки с дерева рвала, без труда доставала из воздуха хлеб, молоко и сыр и раскладывала их перед нами на чернильных узорах стола. Иван Матвеевич нерешительно извлек из ватника бутылку водки и поместил ее среди прочей снеди.

Тут обнаружился в дверях тонко сложенный и обветренный, как будто только что с коня, юноша и доложил Ане:

— Не идет он. Говорит, стыдно будить старого человека в такой поздний час.

— Значит, сейчас придет вместе с женой, — предупредила Аня. — Вы наших стариков еще не знаете: всё делают наоборот себе. Интересно им что-нибудь — головы не повернут посмотреть; поговорить хочется до смерти, вот как матери моей, — ни одного слова не услышите. А если так и подмывает глянуть на гостей, разведать, зачем приехали, нарочно спать улягутся, чтобы уговаривали.

Мне и самой потом казалось, что эти люди в память древней привычки делать только насущное стараются побарывать в себе малые и лишние движения: любопытство, разговорчивость, суетливость.

Мы вытрясли из единственного стакана карандаши и скрепки и по очереди выпили водки и молока. Я сидела вполспины к Шуре, чтобы не помешать ему в этих двух

полезных и сладких глотках, но поняла всё же, что он не допил своей водки и передал стакан дальше.

— Ну, за ваши удачи, — сказал Иван Матвеевич, настойчиво глядя мне в глаза, и вдруг я подумала, что он разгадал меня, добро и точно разгадал за всеми рассказами мою истинную неуверенность и печаль.

— Спасибо вам, — сказала я, и это „спасибо” запело и заплакало во мне.

Снова заговорили о Москве, и я легко, без стыда рассказала им, как мне что-то не везло последнее время... Окончательно развенчав и унизив свой первоначальный „столичный” образ, я остановилась. Они серьезно смотрели на меня.

Сосредоточившись телом, как гипнотизер, трудным возбуждением доведя себя до способности заклинять, ощущая мгновенную власть над жизнью, Ваня сказал:

— Всё это наладится.

Все торжественно повторили эти слова, и Аня тоже подтвердила:

— Наладится.

Милые люди! Как щедро отреклись они от своих неприятностей, употребив не себе, а мне на пользу восточную многозначительность этой ночи и непростое сияние луны, и у меня действительно всё наладилось вскоре, спасибо им!

В двенадцать часов погас свет, и Аня заменила его мутной коптилкой. В сенях, словно в недрах природы, возник гордый медленный шум, и затем, широко отражая наш скудный огонь, всплыли одно за другим два больших лица.

На нас они и не глянули, а, имея на губах презрительное и независимое выражение, уставились куда-то чуть пониже луны.

— Явились наконец, — приветствовала их Аня.

Они только усмехнулись: огромный и плавный в плечах старик, стоящий впереди, и женщина, точно воспроизводящая его наружность и движения, не выходявшая из тени за его спиной.

— Садитесь, пожалуйста, — пригласили мы.

— Нет уж, — с иронией ответил старик, обращаясь

к луне, и у нее же строптиво осведомился: — Зачем звали?

— Спойте нам отцовские песни, — попросила его Аня.

Но упрямый гость опять не согласился:

— Ни к чему мне его песни петь. Медведя убить недолго, вернется и споет.

— Ну, свои спойте, ведь люди из Москвы приехали, — умоляли в два голоса Аня и Коля.

— Зря они ехали, — рассердился старик, — зачем им мои песни? Им и без песен хорошо.

Мы наперебой стали уговаривать его, но он, вконец обидевшись, объявил:

— Ухожу от вас. — И тут же прочно и довольно уселся на лавке, и жена его села рядом. Но, нанеся такой вред своему нраву, он молвил с каким-то ожесточением:

— Не буду петь. Они моего языка не знают.

— Ну, не пойте, — не выдержала Аня, — обойдемся без вас.

— Ха-ха! — надменно и коротко выговорил старик, и жена в лад ему усмехнулась.

— Может быть, выпьете с нами? — предложил Иван Матвеевич.

— Ну уж нет, — оскорбленно отказался старик и протянул к стакану тяжелую, цепкую руку. Он выпил сам и, не поворачивая головы, снисходительно и ехидно глянул косиной глаза, как, не меняясь в лице, пьет жена.

Иван Матвеевич тем временем рассказывал, что у них в райкоме все молодые, а тех, кто постарше, перевели кого куда, урожай в этом году большой, но дожди, и рук не хватает, еще киномеханик заболел, вот Ваня и таскает за собой передвижку, чтобы хоть чуть отвлечь людей от усталости, а пока невеста хочет его бросить — за бензинный дух и красные, как у кролика, глаза.

— Мне-то хорошо, — улыбнулся Иван Матвеевич, — моя невеста давно замуж вышла, еще когда я служил во флоте на Дальнем Востоке.

— Ну, давай, давай чатхан! — в злобном нетерпении прикрикнул старик и выхватил из Аниных рук простой, белого дерева инструмент. Он долго и недоброжелательно примеривался к нему, словно ревновал его к хозяину, по-

том закинул голову, словно хотел напиться и освобождал горло. В нашу тишину пришел первый, гортанный и горестный звук.

Он пел хрипло и ясно, выталкивая грудью прерывистый, насыщенный голосом воздух, и всё, что накопил он долгим бесчувствием и молчанием, теперь богато расточалось на нас. В чистом тщеславии высоко вознеся лицо, дважды освещенное — луной и керосиновым пламенем, он похвалялся перед нами глубиной груди, допускал нас заглянуть в ее далекость, но дна не показывал.

— Он поет о любви, — застенчиво пояснил Коля, но я сама поняла это, потому что на непроницаемом лице женщины мелькнуло вдруг какое-то слабое, неуловимое движение.

— Хорошо я пел? — горделиво спросил старик.

Мы принялись хвалить его, но он гневно нас одернул:

— Плохо я пел, да вам не понять этого. Семен поет лучше.

Я снова подумала: каков же должен быть тот, другой, всех превзошедший голосом и упрямством?

Мы уже собирались укладываться, как вдруг в дверях встало желто-красное зарево, облекающее ту женщину, и я вновь приняла на себя сказочный гнев ее воли.

— Иди, — звучно сказала она, словно не губы служили ее речи, а две сведенные медные грани.

Я подумала, что она зовет дочь, но ее согнутый, утяжеленный кольцом палец смотрел на меня.

— Правда, идемте к нам ночевать! — обрадовалась Аня и ласково прильнула ко мне, снова пахну́в на меня травой, как жеребенок.

Меня уложили на высокую чистую постель под чатханом, хозяин которого так ловко провел меня, оседлав коня в тот момент, когда я отправилась на его поиски.

Я легко улыбнулась своему счастливому злополучию и заснула.

Проснувшись от внезапного беспокойства, я увидела над собой длинные черные зрачки, не оставившие места белкам, глядящие на меня с острым любопытством.

Видно, эта женщина учуяла во мне то, далекое, татарское, милое ей и теперь вызывала его на поверхность, лю-

бовалась им и обращалась к нему на языке, неведомом мне, но спящем где-то в моём теле.

— Спи! — сказала она и с довольным смехом положила мне на лицо грузную, добрую ладонь.

Утром Аня повела меня на крыльцо умываться и, озорничая и радуясь встрече, плеснула мне в лицо ледяной, вкусно охолодившей язык водой. Сквозь радуги, повисшие на ресницах, увидела я вкривь и вкось сияющее, ярко-золотое пространство. Горы, украшенные голубыми деревьями, близко подступали к глазам, и было бы душно смотреть на них, если бы в спину чисто и влажно не сквозило степью.

Кто-то милый ткнул меня в плечо, и по-родному, трогательному запаху я отгадала, кто это, и обернулась, ожидая прекрасного. Славная лошадь приветливо глядела на меня.

— Ты что?! — ликующе удивилась Аня и, повиснув у нее на шее, поцеловала ее крутую, чисто-коричневую скулу.

Оцепенев, я смотрела на них и никак не могла ответить взгляда.

... Мои спутники были давно готовы к дороге. Иван Матвеевич и Ваня обернулись пригожими незнакомцами. Даже Шура стал молодцом, свободно расположив между землей и небом свою высоко протяженную худобу.

Аня прощально припала ко мне всем телом, и ее быстрая кровь толкала меня, напирала на мою кожу, словно просилась проникнуть вовнутрь и навсегда оставить во мне свой горьковатый, тревожный привкус.

Женщина уже царствовала на табурете, еще ярче краснея и желтея платьем в честь воскресного дня. Мы поклонились ей, и снова ее продолговатый всевидящий глаз объёмно охватил нас в лицо и со спины, с нашим прошлым и будущим. Она кивнула нам, почти не утруждая головы, но какая-то ободряющая тайна быстро мелькнула между моей и ее улыбкой.

На пороге крайнего дома с угасшими, но еще вкусными трубками в сильных зубах сидели вчерашний певец и его жена. Как и положено, они не взглянули на нас, но Иван Матвеевич притормозил и крикнул:

— Доброе утро! Археологов не видали где-нибудь поблизости? Может, кто палатки заметил или ходил землю копать?

— Никого не видали, — замкнуто отозвался старик, и жена повторила его слова.

Мы выехали в степь и остановились. Наши ноги осторожно ступили на землю, как в студёную чистую воду: так холодно-ясно всё сияло вокруг, и каждый шаг раздавливал солнышко, венчающее остриё травинки. Бурный фейерверк перепёлок взорвался вдруг у наших лиц, и мы отпрянули, радостно испуганные их испугом. Желтое и голубое густо росло из глубокой земли и свадебно клонилось друг к другу. Растроганные доверием природы, не замкнувшей при нашем приближении свой нежный и беззащитный расруб, мы легли телом на ее благословенные корни, стебли и венчики, опустив лица в холодный ручей.

Вдруг тень всадника накрыла нас легким облаком. Мы подняли головы и узнали юношу, который так скромно, в половину своей стати, проявил себя вчера, а теперь был целостен и завершен в неразрывности с рослым и гневным конём.

— Старик велел сказать, — проговорил он, с трудом отывая от ветра, — археологи на крытой машине, девять человек, один однорукий, стояли вчера на горе в двух километрах отсюда.

Одним взмахом руки он простился с нами, подзадорил коня и как бы сразу переместил себя к горизонту.

Наш „газик”, словно переняв повадку скакуна, фыркнул, взбрыкнул и помчался, слушаясь руки Ивана Матвеевича, вперед и направо мимо огромной желтизны ржаного поля. При виде этой богатой ржи лица наших попутчиков утратили утреннюю ясность и вернулись к вчерашнему выражению усталости и заботы.

— Хоть бы неделю продержалась погода! — с отчаянием взмолился Ваня и без веры и радости придиричиво оглядел чистое, кроткое небо.

... Мы полезли вверх по горе, цепляясь за густой орешник, и вдруг беспомощно остановились, потому что

заняты стали наши руки: сами того не ведая, они набрали полные пригоршни орехов, крепко схваченных в грозди нежно-кислою зеленью.

Щедра и приветлива была эта гора, всеми своими плодами она одарила нас, даже приберегла в тени неожиданную позднюю землянику, которая не выдерживала прикосновения и проливалась в пальцы приторным, темно-красным медом.

— Вот он, бурундучишка, который вчера уцелел, — прошептал Ваня.

И правда, на поверженном стволе сосны, уже погребенном во мху, сидел аккуратнo-оранжевый, в чистую белую полоску зверек и внимательно и бесстрашно наблюдал нас двумя черно-золотыми капельками.

Археологи выбрали для стоянки уютный пологий просвет, где гора как бы сама отдыхала от себя перед новым подъемом. Резко повеяло человеческим духом: дымом, едой, срубленным ельником. Видно, разумные, привыкшие к дороге люди ночевали здесь: последнее тление костра опрятно задушено землею, колышки вбиты прочно, словно навек, банки из-под московских консервов, грубо сверкающие среди чистого леса, стыдливо сложены в укромное место. Но не было там ни одного человека из тех девяти во главе с одноруким, и природа уже зализывала их следы влажным целебным языком.

У Шуры колени подкосились от смеха, и он нескладно опустился на землю, как упавший с трёх ног мольберт.

— Не обращайтесь внимания, — едва выговорил он, — всё это так и должно быть.

Но те двое строго и непреклонно смотрели на нас.

— Что вы смеетесь? — жестко сказал Иван Матвеевич. — Надо догонять их, а не рассиживаться.

И тогда мы поняли, что эта затея обрела вдруг высокий и важный смысл необходимости с тех пор, как эти люди украсили ее серьезностью и силою сердца.

Мы сломя голову бросились с горы, оберегаемые пружинящим сопротивлением веток. Далеко в поле стрекотал комбайн, а там, где рожь подходила вплотную к горе, женщины побарывали ее серпами. Иван Матвеевич и Ваня жад-

но уставились на рожь, на комбайн и на женщин, прикидывая и вычисляя, и лица их отдалились от нас. Оба они поиграли колосом, сдули с ладони лишнее и медленно отведали зубами и языком спелых, пресно-сладких зерен, как бы предугадывая их будущий полезный вкус, когда они обратятся в зрелый и румяный хлеб.

— Когда кончить-то собираетесь, красавицы? — спросил Иван Матвеевич у жницы, показывающей нам сильную округлую спину.

Сладко хрустнув косточками, женщина разогнулась во весь рост и густою темнотой глянула на нас из-под низко повязанного платка. Уста ее помолчали недолго и пропели:

— Если солнышко поможет, — за три дня, а вы руку приложите, так сегодня к обеду управимся.

— Звать-то тебя как? — отозвался ее вызову Иван Матвеевич.

Радостно показывая нам себя, не таясь ладным, хороводно-медленным телом, она призналась с хитростью:

— Для женатых — Катерина Моревна, для тебя — Катенька.

Теперь они оба играли, прямо глядя в глаза друг другу, как в танце.

— А может, у меня три жены.

— Я к тебе и в седьмые пойду.

— Ну, хватит песни петь, — спохватился Иван Матвеевич. — Археологи на горе стояли — с палатками, с крытой машиной. Не видела, куда поехали?

— Видала, да забыла, — завела она на прежний мотив, но, горько разбуженная его деловитостью, опомнилась и буднично, безнапевно сказала, вновь поникая спиной: — Все их видали, девять человек, с ними девка и однорукий, вчера к ночи уехали, на озере будут копать.

— Поехали! — загорелся Иван Матвеевич и погнал нас к „газику”, совсем заскучавшему в тени.

— Знаю я это озеро, — возбужденно говорил Ваня. — Там всяких первобытных черепков тьма-тьмущая. Экскаватору копнуть нельзя: то сосуд, то гробница. Весной готовили там яму под столб, отрыли кувшин и сдали к нам в райком. Так себе кувшинчик — сделан-то хорошо, но грязный,

зеленый от плесени. Стоял он, стоял в красном уголке — не до него было, — вдруг налетели какие-то ученые, нюхают его, на зуб пробуют. Оказалось, он еще до нашей эры был изготовлен.

Всем этим он хотел убедить меня и Шуру, что на озере мы обязательно поймает лёгких на подъем археологов.

Переутомленные остроотой природы, мы уже не желали, не принимали ее, а она всё искушала, всё казнила нас своей яркостью. Ее цвета были возведены в такую высокую степень, что узнать и назвать их было невозможно. Мы не понимали, во что окрашены деревья, — настолько они были зеленее зеленого, а воспаленность соцветий, высоко поднятых над землей могучими стеблями, только условно можно было величать желтизною.

Машина заскользила по красной глине, оступаясь всеми колесами. Слева открылся крутой обрыв, где в глубоком разрезе земли, не ведая нашей жизни, каждый в своем веке, спали древние корни. Держась вплотную к ним, правым колесом разбивая воду, мы поехали вдоль небольшой быстрой реки. Два ее близких берега соединял канатный паром.

Согласно перебирая ладонями крученное железо каната, мы легко перетянули себя на ту сторону.

Озеро было большое, скучно-сладкое среди других, крепко посоленных озер. Наслаждаясь его пресностью, рыбы теснились в нём. Рыболовецкий совхоз как мог „облегчал” им эту тесноту: по всему круглому берегу сушились большие и продуваемые ветром, как брошенные замки, сети.

В конторе никого не было, только белоголовый мальчик, как наказанный, томился на лавке под доской почета. Он неслыханно обрадовался нам и в ответ на наш вопрос об археологах, заикаясь на каждом слове, восторженно залепетал:

— Есть, есть, в клубе, в клубе, я вас отведу, отведу.

Он сразу полюбил нас всем сердцем, пока мы ехали, перелез по кругу с колен на колени ко всем по очереди, приклеившись чумазой щекой.

— Ага, не ушли от нас! — завопил Ваня, приметив возле клуба крытый кузов грузовика.

— Не ушли, не ушли! — счастливо повторял мальчик.

Отворив дверь, мы наискось осветили большую затемненную комнату. В ее пахнувшей рыбой полутьме приплясывали, бормотали и похаживали на руках странные и непригожие существа. Видимо, какой-то праздник происходил в этом царстве, но наше появление смутило его неладный порядок. Все участники этого темного и необъяснимого действия, завидев нас, в отчаянии бросились в дальний угол, оскальзываясь на серебряном конфетти рыбьей чешуи. И тогда, прикрывая собой их бегство, явился перед нами маленький невзрачный человек и объявил с воробьиной торжественностью:

— Да мы не профессионалы, мы от себя работаем!..

Он смело бросил нам в лицо эти гордые слова, и я почувствовала, как за моей спиной сразу сник и опечалился добрый Шура.

— Так, — потрясенно вымолвил Иван Матвеевич и, подойдя к окну, освободил его от мрачно-ветхого одеяла, заслонявшего солнце.

Среди чемоданов, самодельных ширм, оброненных на пол красных париков обнаружилось несколько человек, наряженных в бедную пестроту бантиков, косынок и беретов. В ярком и неожиданном свете дня они стыдливо и неумело томились, как выплеснутые на сушу водяные.

Меж тем маленький человек опять храбро выдвинулся вперед и заговорил, обращаясь именно ко мне и к Шуру, — видимо, он что-то заметил в нас, что его смутно обнадеживало.

— Мы действительно по собственной инициативе, — подтвердил он каким-то испуганным и вместе героическим голосом.

Тут он всполошился, забежал, нырнул в глубокий хлам и выловил там длинный лист бумаги, на котором жидкой кокетливой акварелью было выведено: „ЭСТРАДНО-КОМИЧЕСКИЙ КОСМИЧЕСКИЙ АНСАМБЛЬ”. Рекламируя таким образом программу ансамбля, он застенчиво придерживал нижний нераскрученный завиток афиши, видимо, извещавший зрителя о цене билетов.

Поощренный нашей растерянностью, он резво и даже с восторгом обратился к своей труппе:

— Друзья, вот счастливый момент доказать руководящим товарищам нашу серьезность.

И жалобно скомандовал:

— Афина, пожалуйста!

Вышла тусклая, словно серым дождем прибитая, женщина. Она в страхе подняла на нас глаза, и сквозь скушный, нецветной туман ее облика забрезжило вдруг яркое синее солнышко детского взгляда. Ее как-то вообще не было видно, словно она смотрела на нас сквозь щель в заборе, только глаза синели, совсем одни, они одиноко синели, перебиваясь кое-как, вдали от нее, не ожидая помощи от ее слабой худобы и разладившихся пружин перманента.

Она торопливо запела, опустив руки, но они тяготили ее, и она сомкнула их за спиной.

— Больше мажора! — поддержал ее маленький человек.

— Тогда я, пожалуй, спою с движениями? — робко отозвалась она и отступила за ширму. Оттуда вынесла она большой капроновый шарф с опадающей позолотой и двинулась вперед, то широко распахивая, то соединяя под грудью его увядшие крылья.

Она грозно и бесстыдно наступала на нас озябшими локтями и острым голосом, а глаза ее синели всё так же боязливо и недоуменно. Смущенно поддаваясь ее натиску, мы пятились к двери, и все участники ансамбля затаенно и страстно следили за нашим отходом.

— Эх, доиграетесь вы с вашей халтурой! — предостерег их Ваня.

На крыльце мы вздохнули разом и опять улыбнулись друг другу в какой-то странной радости.

Тут опять объявился мальчик и, словно мы были неаглядно прекрасны, восхищенно уставился на нас.

— А других археологов не было тут? — присев перед ним для удобства, спросил Иван Матвеевич.

— Нет, других не было, — хорошо подумав, ответил мальчик. — Шпионы были, но я проводил их уже.

— Ишь ты! — удивился Иван Матвеевич. — А что ж они здесь делали?

Мальчик опять заговорил, радуясь, что вернулась надобность в нём.

— Приехали, приехали и давай, давай стариков спрашивать. А главный всё пишет, пишет в книжку. Я ему сказал: „Ты шпион?“, — а он засмеялся и говорит: „Конечно“. И дал мне помидор. Потом говорит: „Ну, пора мне ехать по моим шпионским делам. А если пограничники будут меня ловить, скажи, уехал на Курганы“. Но я никому ничего не сказал, только тебе, потому что он, наверно, обманул меня. И жалко его: он однорукый.

— Эх ты, маленький, расти большой, — сказал Иван Матвеевич, поднимаясь и его поднимая вместе с собой. Босые ножки полетали немного в синем небе и снова утвердились в пыли около озера. Я погладила мальчика по прозрачно-белым волосам, и близко под ними, пугая ладонь хрупкостью, обнаружилось теплое и круглое темя, вызывающее любовь и нежность.

На Курганах воскресенье шло своим чередом. По улице, с одной стороны имеющей несколько домов, а с другой — далекую и пустую степь, гулял гармонист, вполсилы растягивая гармонь. За ним, тесно взявшись под руки, следовали девушки в выходных ситцах, а в отдалении вилось пыльное облачко детворы. Изредка одна из девушек выходила вперед всей процессии и делала перед ней несколько кругов, притопывая ногами и выкрикивая частушку. Вроде бы и незатейливо они веселились, а всё же не хотели отвлечься от праздника, чтобы ответить на наш вопрос об археологах. Наконец выяснилось, что никто не видел крытой машины и в ней девяти человек с одноруким.

— Разве это археологи? — взорвался вдруг Ваня. — Это летуны какие-то! Они что, дело делают, или в прятки играют, или вообще с ума сошли?

— А ты думал, они сидят где-нибудь, ждут-пождут и однорукый говорит: „Что-то наш Ваня не едет?“? — одернул его Иван Матвеевич и быстро глянул на нас: не обиделись ли мы на Ванину нетерпеливость?

У последнего дома мы остановились, чтобы опорожнить канистру с бензином для поддержки „газика“, а Ваня распластался на траве, обновляя мыльную заплату на бензобаке.

На крыльцо вышла пригожая старуха, и Иван Матвеевич тотчас обратился к ней:

— Бабка, а не видала ты... — Он тут же осекся, потому что из бабушкиных век смотрели только две чистые, пустые, широко открытые слезы.

— Ты что примолк, милый? — безгневно отозвалась она. — Ты не смотри, что я слепая, может, и видала чего. Меня вон как давеча проезжий человек утешил, когда мою воду пил. Ты, говорит, мать, не скучай по своим глазам. У человека много всего человеческого, каждому калеке что-нибудь да останется. У меня, говорит, одна рука, а я ею землю копаю.

— Ну и бабка! — восхищенно воскликнул Иван Матвеевич. — Я ведь как раз этого однорукого ищу. Куда же он отсюда поехал?

— Отсюда-то вон туда, — она указала рукой, — а уж от туда куда, не спрашивай — не знаю.

— Верно, вот их след, — закричал Ваня, — на полторке они от нас удирают!

— Нам теперь прямая дорога в уголовный розыск, — заметил Иван Матвеевич, бодро усаживаясь за руль. — Иль в индейцы. Хватит жить без приключений!

У нас глаза сузились от напряжения и от света, летящего навстречу, в лицах появилось что-то древневоенное и непреклонное. „Газик” наш — гулять так гулять! — неистово гремел худым железом, и орлы, парящие вверху, брезгливо пережидали в небе нашу музыку.

Вдруг нам под ноги выкатилась большая фляга, обернутая войлоком. Мы не могли понять, ни откуда она взялась, ни что в ней, но наугад стали отхлёбывать из горлышка прямо на ходу и скоро, как щенки, перемазались в белой сладости. Фляга ударила нас по зубам, и мы хохотали, обливаясь молоком, отнимая друг у друга его косые всплески. Мы нацеливались на него губами, а оно метило нам в лицо, мгновенным бельмом проплывало в глазу и клеило волосы. Но когда я уже отступилась от погони за ним, перемогая усталость дыхания, оно само пришло на язык, и его глубокий и чистый глоток растворился во мне, напоминая Аню. Это она, волшебная девочка, дочь волшебницы, предусмотритель-

тельно послала мне свое крепкое снадобье, настоенное на всех травах, цветах и деревьях. И я, вновь похолодев от тоски и жадности, пригубила ее живой и добрый мир. Его дети, растения и звери приблизились к моим губам, влажно проникая в мое тело, и ничего, кроме этого, тогда во мне не было.

Подослепшие от тяжелого степного солнца, нетрезво звенящего в голове, мы снова попали в хвойное поднебесье леса. Он осыпал на наши спины прохладный дождь детских мурашек, и разомлевшее тело строго подобралось в его свежести. Никогда потом не доводилось мне испытывать таких смелых и прихотливых чередований природы, обжигающих кожу веселым ознобом.

— Они в Сагале, больше негде им быть, — уверенно сказал Иван Матвеевич.

Мы остановились возле реки и умылись, раня ладони острым холодом зеленой воды.

На переправе мы хором, азартно и наперебой спросили:

— Был здесь грузовик с крытым кузовом?

— И с ним девять человек?

— Среди них — однурукий?

— И девушка? — мягко добавил Шура.

Не много машин переправлялось здесь в воскресенье, но старый хакас, работавший на пароме, долго размышлял, прежде чем ответить. Он раскурил трубку, отведал ее дыма, сдержанно улыбнулся и промолвил:

— Были час назад.

— Судя по всему, они должны быть в столовой, — обратился Иван Матвеевич к Ване. — Как ты думаешь, следопыт?

— Я думаю, если они даже сквозь землю провалились, в столовую нам не мешает заглянуть, — решительно заявил Ваня. — Целый день не ели, как верблюды.

— Может, Ванюша, ты по невесте скучаешь? — поддел его Иван Матвеевич.

Он, видимо, чувствовал, что нам с Шурой всё больше делалось стыдно за их даром пропавшее воскресенье, и потому не позволял Ване никаких проявлений недовольства. Ваня ненадолго обиделся и замолк.

В совхозной чайной было светло и пусто, только два

вместе сдвинутых стола стояли неубранными. Девять пустых тарелок, девять ложек и вилок насчитали мы в этом беспорядке, оцепенев в тяжелом волнении.

Я помню, что горе, настоящее горе осенило меня. Чем провинились мы перед этими девятью, что они так упорно и бессмысленно уходили от нас?

— Где археологи? — мрачно спросил Иван Матвеевич у розово-здоровой девушки, вышедшей убрать со стола.

— Они мне не докладывались, — с гневом отвечала она, — нагрязнили посуды — и ладно.

— Мало в тебе привета, хозяйка, — укорил ее Иван Матвеевич.

— На всех не напасёшься, — отрезала она. — А вы за моим приветом пришли или обедать будете?

— А были с ними однурукий и девушка? — застенчиво вмешался Шура.

Он уже второй раз с какой-то нежностью в голосе поминал об этой девушке: видимо, ее неопределенный, стремительно ускользящий образ трогал его своей недосыгаемостью.

Но кажется, именно в этой девушке и крылась причина немилости, павшей на наши головы.

— У нас таким девушкам вслед плюют! — закричала наша хозяйка. — Вырядилась в штаны — не то баба, не то мужик, глазам смотреть стыдно. И имя-то какое ей придумали! Я Ольга, и все Ольги, а она Э-льга! Знать, и родители ее бесстыдники были, вот и вышла Эль-га! Одна на восемь мужиков, а они и рады: всю мою герань для нее общипали. Отобедали — и ей, ей первой спасибо говорят, а уж за что спасибо, им одним известно.

— Как вам не стыдно! — не выдержал Шура. — Что она вам худого сделала? Ведь она работает здесь, одна, далеко от дома, думаете, легко ей с ними ездить?

— Что ты меня стыдишь? — горько сказала она, утихая голосом, и, поникнув розовым лицом на розовые локти, вдруг заплакала.

Иван Матвеевич ласково погладил ее по руке и поймал пальцем большую круглую слезу, уже принявшую в себя ее розовый цвет.

— Полно горевать, — утешал он ее, — у тебя слезинка — и та красавица. У них в городе всё по-своему. А ты меня возьми спасибо говорить.

— А сам, небось, поедешь ее догонять? — ответила она, повеселев и одного только Шуру не прощая взглядом. — Что есть будете?

Мы уже перестали торопиться и, ослабев, медленно ели глубокий, нежно-крепкий борщ и оладьи, вздыхающие множеством круглых ноздрей. Сильный розовый отблеск хозяйки как бы плыл в борще, ложился на наши лица, вода, подкрашенная им, отдавала вином. За окном близко от нас садилось солнце.

Рядом, опаялая ресницы, действовала вечная закономерность природы: земля и солнце любовно огибали друг друга, сгущались земные облака над деревьями, иные планеты отчетливо прояснялись в небесах.

Быстро темнело, и только женщина смиренно как бы теплилась в углу. Усталость клонила наши головы, ничего больше нам не хотелось.

— Зато выспитесь сегодня, — осторожно сказала я Ивану Матвеевичу и Ване.

Они тут же вскочили.

— Поехали! — крикнул Иван Матвеевич.

Мы помчались, не разбирая дороги. Иногда одинокая фигура, темнеющая далеко в степи, при нашем приближении распадалась на два тоненьких силуэта и четыре затуманенных глаза в блаженном неведении смотрели на нас. Тени встревоженных животных изредка пересекали свет впереди, и тогда Ваня в добром испуге хватался за рукав Ивана Матвеевича.

Никто из неспящих в этой ночи не знал об археологах. Раза два или три нас посылали далеко направо или налево, и мы, описав долгую кривую, находили в конце ее геологов, метеорологов, каких-то студентов или неведомых людей, тоже чего-то ищущих в Сибири.

Мы давно уже не знали, где мы, когда Иван Матвеевич с тревогой признался:

— Кончается бензин, меньше нуля осталось.

Вдали, в сплошной черноте, вздрагивал маленький

оранжевый огонь. Наш „газик” всё-таки дотянул до него из последних сил и остановился. Возле грузовика, стоящего поперек дороги, печально склонившись к скудному костру, воняющему резиной, сидел на земле человек.

— Браток, не одолжишь горючего? — с ходу обратился к нему Иван Матвеевич.

— Да понимаешь, какое дело, — живо отозвался тот, поднимая от огня яркое лицо южанина, — сам стою с пустым баком. Второй час уже старую запаску жгу.

Он говорил с акцентом, и из речи его, трудно напрягающей горло, возник и поплыл на меня город, живущий в горах, разгоряченный солнцем, громко говорящий по утрам и не утихающий ночью, в марте горько расцветающий миндалём, в декабре гордо увядающий платанами, щедро одаривший меня добром и лаской, умудривший мой слух своей огромной музыкой. Не знаю, что было мне в этом чужом городе, но я всегда нежно тосковала по нему, и по ночам мне снилось, что я легко выговариваю его слова, недоступные для моей гортани.

Иван Матвеевич и Ваня грустно, доверчиво и словно издалека слушали, как мы с этим шофером говорим о его стране, называя ее странным именем „Сакартвело”.

Между тем становилось очень холодно, это резко континентальный климат давал о себе знать, остужая нас холодом после дневной жары.

Все они стали упрашивать меня поспать немного в кабине. Я отказалась и сразу же заснула, склонившись головой на колени.

Очнулась я среди ватников и плащей, укрывших меня с головой. Озябшее тело держалось как-то прямоугольно, онемевшие ноги то и дело смешно подламывались. Было еще бессолнечно, но совсем светло. Иван Матвеевич и тот шофер, сплевывая, отсасывали бензин из шланга, уходящего другим концом в глубину бензовоза, стоящего поодаль. Его водитель до упаду смеялся над нашими бледно-голубыми лицами и нетвердыми, как у ягнят, коленями.

— И этакые красавцы чуть не погибли в степи! — веселился он. — Из-за бензина! А у меня этого добра целая бездонность. Так бы и зимовали тут, если б не я.

Но Иван Матвеевич и Ваня, пригорюнившись с утра, ничего не отвечали.

У грузина под сиденьем припрятана была бутылка вина. Мы позавтракали только этим вином, уже чуть кислившим, но еще чистым и щекотным на вкус, и наскоро простились. Пыль, разбуженная двумя машинами, рванувшимися в разные стороны, соединилась в одну хлипкую, непрочную тучку, повисела недолго над дорогой и рассеялась.

Мы все молчали и словно стеснялись друг друга. Красное, точно круглое солнце понедельника уже отрывалось от горизонта. Мы никого больше не искали, мы возвращались, до Тумы было часа четыре езды.

И тут что-то добро и тепло обомлело там, в самой нашей глубине, видимо, слабое вино, принятое натошак, всё же оказывало свое действие. Как долго было всё это: из маленького, кислого, зеленого ничего образовывалось драгоценное, округлое тело ягоды с темными сердечками косточек под прозрачной кожей; всё тягостнее, непосильней, томительней гроздь угнетала лозу; затем, бережно собранные воедино, разбивались хрупкие сосуды виноградин, и освобожденная влага опасно томилаась и пенилась в чане; старик кахетинец и его молодые красивые дети, все умеющие петь, помещали эту густую сладость в кувшины с коническим дном, зарытые в землю, и постепенно укрощали и воспитывали ее буйность. И всё затем, чтобы в это утро, не принесшее нам удачи, мы испытали неопределенную радость и доброту друг к другу. Мы сильно, нежно ни с того ни с сего переглянулись вчетвером в последний раз в степи, под солнцем, уже занявшим на небе свое высокое неоспоримое место.

У переправы через Гутым сгрудилось несколько машин, ожидающих своей очереди. Мы пошли к реке, чтобы умыться. Там плескался, зайдя в воду у берега, какой-то угрюмый человек, оглянувшийся на нас криво и подозрительно.

— Возишь кого или сам начальство? — спросил он у Ивана Матвеевича, обнажив праздничный самородок зуба, недобро засиявший на солнце.

— А черт меня знает, — рассеянно и необщительно ответил Иван Матвеевич.

— Ну, а я сам с чертом одноруким связался. Замучили совсем, гробокопатели ненормальные, день и ночь с ними разъезжаю — ни покушать, ни пожрать, да еще землю рыть заставляют.

Вяло обмерев, слушали мы, как он говорит со злорадством и мучкой, выдыхая свое золотое сияние.

— Где они? — слабо и боязливо выговорил Иван Матвеевич.

— Вон, вон! — в новом приливе ожесточения забубнил человек, протыкая воздух указательным пальцем. — То носились, как угорелые, а теперь палатки поставили и сидят, ничего не делают.

В стороне, близко к воде, и правда, белело несколько маленьких палаток, а между ними деловито и начальственно расхаживала тоненькая девушка в брюках и ковбойке.

Иван Матвеевич и Ваня, обгоняя друг друга, бросились к ней и разом обняли ее.

Холодно и удивленно отстранила она их руки и, отступив на шаг, сурово осведомилась:

— В чем дело?

— Вы археологи? Вас Эльга зовут?

— Да, археологи, да, Эльга, — строго и нетерпеливо продолжала она.

И тогда оба они увидели ее, надменную царевну неведомого царства, в брюках, загадочно украшенных швами и пуговками, с невыносимо гордой ее головой на непреклонной шее.

Отдалившись от нее, Иван Матвеевич, смутившись, стал сбивчиво оправдываться:

— Мы... ничего не хотим, тут вот товарищи из Москвы... всё разыскивали вас...

— Где?! — воскликнула девушка и радостно и недоверчиво посмотрела на меня и Шуру, склонив набок голову. — Вы, правда, из Москвы? — заговорила она, горячо схватив нас за руки. — Когда приехали? Что там нового? Мы же ничего не знаем, совсем одичали! Какое счастье, что вы нас разыскали! И как кстати: мы тут нашли одну замечательную

вещь! Да идемте же, что мы стоим, как дураки! Как вы нас нашли, мы ж всё время мчались, намечали план раскопок!

Какие-то молодые люди обступили нас со всех сторон, тормозили, обнимали, расспрашивали и все кричали наперебой, как будто это они догнали нас наконец в огромном пространстве.

Мы с Шурой совсем растерялись. Вот они все тут, рядом, уже не отделенные от нас горизонтом: семь человек, девушка и вышедший из-за деревьев, ярко охваченный солнцем, смуглый, узкоглазый, однорукий.

— Это наш профессор, — шепнула Эльга, — он замечательный, очень ученый и умный, на вид строгий, а на самом деле предобрый.

Профессор крепко, больно пожал нам руки. Он, видно, был хакас и глядел зорко, словно прищурившись для хитрости.

Мы радостно оглянулись на Ивана Матвеевича и Ваню и вдруг увидели, что их нет. Как это? Мы так привыкли к тесной и постоянной близости этих людей, что неожиданное, невысказанное их отсутствие потрясло нас и обидело.

— Постойте, — сказал Шура, пробиваясь сквозь археологов, — где же они?

— Кого вы ищете? — удивилась Эльга. — Мы все здесь.

Еще обманывая себя надеждой, мы обыскали весь берег и лес около — их нигде не было. Золотозубый стоял на прежнем месте и, погруженный в глубокое и мрачное франтовство, налаживал брюки, красиво напуская их на сапоги.

— Тут было двое наших, не видели, куда они делись? — обратился к нему взволнованный Шура.

— Это почему же они ваши? Они сами по себе, — отозвался тот, выплюнув молнию. — Ваши вон стоят, а те — на работу, что ли, опаздывали да не хотели вас отвлекать своим прощанием, велели мне за них попрощаться. Так что счастливо.

Как-то сразу устав и помертвев, мы побрели назад, к поджидавшим нас археологам. Все они вдруг показались нам скушно похожими друг на друга: Эльга — жестокой и развязной, однорукий — чопорным. Мы и тогда знали, конечно, что это не так, но всё же дулись на них за что-то.

Целый день мы записывали их рассказы: о их работе, о Тагарской культуре, длившейся с седьмого по второй век до нашей эры. Мне тоскливо почему-то подумалось в эту минуту, что всё это ни к чему.

— Мы напишем прекрасную статью, романтическую и серьезную, — ласково ободрил меня Шура.

— Да, — сказала я, — только знаете, Александр Семенович, вы сами напишите ее, а я придумаю что-нибудь другое.

Вечером разожгли костер, и с разрешения профессора нам торжественно показали находку, которой все очень гордились.

Это был осколок древней стелы, случайно обнаруженной ими вчера в Курганах. Эльга осторожно, боясь вздохнуть, поднесла к огню небольшой плоский камень, в котором первый взгляд не находил ничего примечательного. Но, близко склонившись к нему, мы различили слабое, нежное, глубоко высеченное изображение лучника, грозно поднимающего к небу свое бедное оружие. Какая-то трогательная неправдоподобность была в его позе, словно это рисовал ребенок, томимый неосознанным и могучим предвкушением искусства. Две тысячи лет назад и больше кто-то кропотливо трудился над этим камнем. Милое, милое человечество!

В лице и руках Эльги ясно отражался огонь, делая ее трепетной соучастницей, живым и светлым языком этого пламени, радостно нарушающего порядок ночи. Я смотрела на славные, молодые лица, освещенные костром, выдающие нетерпение, талант и счастливую углубленность в свое дело, лучше которых ничего не бывает на свете, и меня легко коснулось печальное ожидание непременной и скорой разлуки с этими людьми, как было со всеми, кого я встречала за два последних дня или когда-нибудь прежде.

— Как холодно, — сказала Эльга, поежившись, — скоро осень.

Я тихонько встала и пошла в деревья, в белую мглу тумана, поднявшегося от реки. Близкий огонь костра, густо осыпающиеся августовские звёзды, теплый, родной вздох земли, омывающий ноги, — это было добрым и детским знаком, твердо обещающим, что всё будет хорошо и прекрас-

но. И вдруг слёзы, отделившись от моих глаз, упали мне на руки. Я радостно засмеялась этим слезам и всё же плакала, просто так, ни по чему, по всему на свете сразу: по Ане, по лучнику, по Ивану Матвеевичу и Ване, по бурундуку, живущему на горе, по небу над головой, по этому лету, которое уже подходило к концу.

1963

Чаще всего она вспоминается мне большой неопределенностью, в которую мягко уходят голова и руки, густым облаком любви, сомкнувшимся надо мной, но не стесняющим моей свободы, — бабушка, еще с моего младенчества, как-то робко, восхищенно, не близко любила меня, даже ласкать словно не смела, а больше смотрела издали огромными, до желтизны посветлевшими глазами, пугавшими страстным выражением доброты и безумия, навсегда полупротянув ко мне руки. Только теперь они успокоились в своей застенчивой, неутоленной алчности прикоснуться ко мне.

Я вообще в детстве не любила, чтобы меня трогали. Гневный, капризный стыд обжигал мою кожу, когда взрослые привлекали меня к себе или видели раздетой. Особенно жестоко стыдилась я родных — к немногим людям одной со мною крови, породившим меня, я навсегда сохранила неловкую, болезненную, кровавую корявость, мукой раздражающую организм. Даже Рома, собака моя, тесно породнившийся со мной за долгое время моей одинокой, страстной близости к нему, повторяющий мои повадки, очень известный мне, умеющий глянуть на меня взором бабушкиного прощения, подлежит в какой-то мере этой тяжелой сложности, мстящей за физическое единство.

К чужим у меня не было такой резкости ощущений, такой щепетильности тела. Однажды дурной, темный человек, попавший в дом, когда никого не было, кроме домработницы Кати, нечистой своею рукою попытался погладить мою детскую голову. Я брезгливо, высокомерно оттолкнула его. Но стыда во мне не было, даже когда вошла

Катя и кокетливо улеглась животом на подоконник, открыв безобразные, закованные в синие штаны ноги.

Зато, когда мать захотела сняться в море со мной, восьмилетней и голой на руках, я бросилась бежать от нее, отступаясь на камнях гудаутского пляжа, и долго еще смотрела на нее восточным, исподлобным способом, которым очень хорошо владела в детстве.

Но бабушка, может быть, именно из-за безумия, кротко жившего в ней, своей влюбленной в меня слепотой чутко провидела кривизну моих причуд и никогда не гневала моего гордого и придиричивого детского целомудрия. Кажалось, ей было достаточно принять в объятия воздух, вытесненный мной из пространства, еще сохраняющий мои, только для нее заметные, контуры.

Степень моего физического доверия к родным установилась обратно моей к ним причастности: бабушка, тетка моя Христина, потом мама.

В баню я ходила только с бабушкой, но и тогда я не испытывала непринужденности моющегося ребенка, снисходительно выставляющего под мочалку руку и ногу. Предубежденным глазом злого начальника, ищущего желанного изъяна, я, сквозь боль мыла, косилась на бабушку, на ее маленькое жалкое тело с большой, подрагивающей головой, на белую седину которой нанесена трудно смывающаяся пестрота — она всегда пачкалась о Христинины краски, на нетвердые беленькие ноги. И злорадно заметив ее бедно поникший живот с уголком козье-седых слабых волос, в каком-то злобном отчаянье толкала его серым остриём шайки.

По двум старым, чудом уцелевшим, фотографиям можно судить, что бабушка была очень высокая — много выше мужчины в нарядных праздничных усах, запечатленного рядом с ней, сильно и угрюмо стройная, с мощно-свободной теменью итальянских волос, с безмерными глазами, паническая обширность которых занесена в недоброе предвидение какого-то тщетного и гибельного подвига. В крупном смуглом лице — очевидная сокрытость тайны. В наклоне фигуры, подавшейся вперед, ощущается привольное неудобство, как если бы она стояла на высоком и узком карнизе.

У нее было четыре мужа, трое детей — девочка Елена умерла в младенчестве — и одна внучка. Может быть, из-за этой, всё упрощающей единственности моей, бабушка, холодком осенившая мужей, неточно делившая любовь между дочерьми, с болью и скрипом резкого торможения, свою летящую, рассеянную, любвеобильную душу остановила на мне. Ее разум, тесный для страстного неразумия, которым она захворала когда-то, мятущийся, суматошный, не прекративший своего ищущего бега даже перед преградой лечения, неопределенно тоскующий о препятствиях, замер, наконец, и угомонился под спасительным шоком моего появления на свет. Бабушкины разнонаправленные нервы, легко колеблемые жалостью, любопытством, вспыльчивостью переживаний, влюбчивостью во всё, — конически, конечно, сосредоточились на мне, и это не было моей заслугой, — бабушка заранее, за глаза, неистово, горько и благоговейно полюбила меня 10 апреля 1937 года.

В детстве я знала, что бабушка родилась давно, в Казанской губернии. Ее девичью фамилию внёс в Россию ее дед, шарманщик и итальянец. Я думаю теперь — что привело его именно в эту страну мучиться, мерзнуть, уморить обезьяну, южной мрачностью дикого взора растлить невзрачную барышню, случайно родить сына Митрофана — и всё там, близко к Казани, где его чужой, немыслимый брат по скудному небу, желтый и раскосый, уже хлопотал, трудясь и попохатывая, уже вызывал к жизни сына Ахмадуллу, моего прадеда по отцовской линии. Какой долгий взаимный подкуп вели они сквозь непроглядную судьбу, чтобы столкнуться на мне, сколько жертв было при этом. Отец бабушки был доктор, в Крымскую кампанию врачевавший раненых, мать смелым и терпеливым усилием практичного и тщеславного ума обрела дворянство и некоторое состояние. У них, сколько я помню по моим детским слушаниям, было шестеро детей обоего пола поровну. Старшие сыновья, своевольные и дерзкие, дырявили из роготок портреты не очень почтенных предков, привязывали бабушку за ногу к столу и учились в кадетском корпусе. Что с ними, бедными, любимыми мной, плохими, дальше случилось в этом мире, я не знаю. Младший, несколько флегматичный и очень

честный и добрый, стал известным революционером. Бабушка только с ним, до его смерти, держалась в родстве, восхищалась им, и мне казалось, что в ней навсегда задержалась нежная благодарность к нему за то, что он не привязывал ее за ногу. Мне и от других людей доводилось слышать, что он всегда был честен и добр, но его точной яркости я не усвоила. Старшие сёстры бабушки Наталия и Мария Митрофановны были красавицы, певшие прекрасно, сильно итальянского облика и нрава, надолго заключенные в девичество корыстью матери и вступившие обе в трагический брак. Они жили какими-то порывами несчастий и умерли в сиротстве, украшенном глубоким психическим недугом. Моя мать помнит одну из них, еще прекрасную, но уже казненную болезнью, жадной судорогой тонких рук собирающую, выпрашивающую, воруящую разные ничтожные вещицы. Видимо, тяжело оскорбленная в своей красоте и бескорыстии павшей на нее тенью великих светил: Жизни, Любви, Надежды, — она доверяла только маленьким и безобидным солнышкам мира: жестяным баночкам, стекляшкам, конфетному серебру, осколкам зеркал, утешаясь их кротким, детским блеском. У бабушки, хотя болезнь давно оставила ее, тоже сохранилась страсть к пустяковым предметам, но она строго выбирала из них только те, которые казались ей отмеченными милостью моего следа: мои коробки, обертки моих конфет, обрывки моих рисунков, благодарности и письма печатными буквами многим животным моего детства. Всё это и посейчас цело или исчезло вместе с ней, копившей их так скаречно и любовно..

Бабушка была самым младшим, некрасивым и нелюбимым ребенком в семье. Вероятно, мать ее к тому времени уже устала бороться, терпеть тяжелое хозяйство, принимать в себя острую, ранящую ее тело итальянскую кровь и разводить ее своей негустой, российско-мещанской кровью, чтобы смягчить черноглазие и безумие будущих детей, которые все разочаровывали и охладили ее своими неудачами. Я думаю, что ей, властным и равноправным участием скудного организма, кое-как удалось полуспасти, полуйсправить судьбы всех ее потомков: благодаря ее трезвому здорью безумие в нашей семье всегда было не оконча-

тельным, уравновешенным живой скудостью быта, страшная чернота зрачков подкрашена ленивой желтизной, неимоверному, гибельному запросу глаз отвечают бесплодность и скука существования. Но я всё же надеюсь — может быть! — свежее азиатство отца, насильным подарком внесенное в путаницу кровей, освободит меня от ее опрометчиво-осторожного полуколдовства, даст мне жить и умереть за пределами тусклости, отвоеванной ею у трагедии!

Будучи маленькой гимназисткой, бабушка, всей страстью сиротливой замкнутости, полюбила старшую воспитанницу, которая оказывала ей снисходительное покровительство, звала „протежешкой” и потом осмеяла во всеуслышание бабушкины детские дневники, доверенные ей порывом признательности. Подобные истории случаются со всеми детьми, но бабушке никогда не удавалось вырасти из тихой, почти юродивой безобидности, непременно вызывающей злые проявления старших и сильных характеров. Уже в конце бабушкиной жизни, чем фантастичнее, карикатурнее становились ее доброта и кротость, тем яростнее они гневили и смешили соседей и прохожих, передразнивавших ее сбивчиво-возвышенную речь, брезгующих разведенным ею зверинцем, презирающих даже ее бескорыстие к еде, которую бабушка пробовала укрощать на кухне, но всегда выходила побежденной из неравной схватки с кастрюлей или сковородкой. Кроме того, постаревшую бабушку в магазинах стали принимать за еврейку, и она кротко сносила и этот, уже лишний, гнев.

В какое-то время юности бабушка была в гувернантках в семье Залесских, людей богатых, веселых, забывавших ее обижать. И только младшая их дочь Зинаида немного терзала бабушку резкостью нрава и неожиданностями рано и дерзко созревшего организма. Бабушка однажды вспомнила об этом, но почему-то и мне запомнилась их фамилия, беззаботный дом и большой сад, с горы впадающий в реку, и то, как они на лодках отправились на пикник, не взяв с собой бабушку и Зинаиду, и Зинаида, стоя на ветру горы, кричала им вслед: „Я, Зинаида Залесская, пятнадцати лет, желаю кататься на лодке!”; а когда, не вняв ей, они скрывались из виду, воскликнула с веселым высокомерием, дер-

нув крючки, соединяющие батист: „Дураки! Смотрите! У меня грудь и всё остальное взрослее и лучше, чем у мадемуазель Надин!” Бабушка отчетливо помнила и любила всё, что противостояло ее скромной тишине, видимо, тоскуя по бурности, которую велел ей шальной юг шарманщика и возбраняла жесткая умеренность матери. А я не забыла этого пустяка потому, что он жил там, где я хотела бы жить: в том доме, в том саду, в той единственной стране, осенившей меня глубоким ностальгическим переживанием, которую я, читая любимые книги, не узнаю, а будто вспоминаю — как древнюю до-жизнь в колыбели, откуда меня похитили кочевники.

Под влиянием доброго брата, поддерживающего ее в семейной одинокой угнетенности, бабушка резко рассталась с семьей и уехала в Казань на фельдшерские курсы. (Я перечисляю, сколько помню, ее жизнь не потому, что события ее сюжета представляются мне эффектными и замечательными, а скорее из уважения к ореолу многозначительной жалкости, бледно взошедшему над всеми нами, над скудной полутьмой наших драм, а также пробуя объяснить, чем образ бабушки, лишенный яркого острия, остро и больно поразил мое зрение и не раз мягко одернул меня в самонадеянности или начале бесполезного зла.) Она увлеклась идеями свободы и равенства, участвовала в сходках и маёвках, хранила за корсетом прокламации и возглавляла недолгий революционный кружок. Две товарки по этому кружку более полувека спустя отыскали и проведали бабушку в ее узкой, длинной, холодной комнате, имеющей в виду закалить человека перед неудобствами кладбища. Чопорные, черно-нарядные, вечно-живые старухи с брезгливым ужасом переступили порог бабушкиного беспорядка, подхватив юбки над опасным болотом пола, населенного нечистью наших зверей. Рассерженные глубиной ее падения, словно и на них бросавшего обидную тень, они строго и наставительно говорили с бабушкой, грозно убеждали ее добиться увеличения пенсии, сияя лакированными револьверами черных ботинок. Она безбоязненно летала вокруг них на нечистых бумазейных крыльях, умиленно лепеча и не слушая, всему поддакивая непрочным движением голо-

вы, совала им белый чай, конфеты, слипшиеся в соты, ливерную колбасу, предназначенную коту, тут же отнимала всё это, освобождая их руки для моих детских рисунков и стихов. И, в довершение всего, сначала объявила — чтобы подготовить их к счастливому потрясению, а затем уже привела маленькую и угрюмую меня как лукаво скрытый от них до времени, но всё объяснивший наконец довод ее ослепительного и чрезмерного благополучия. Они холодно и без восхищения уставились на мой бодающе-насупленный лоб и одновременно пустили в меня острые стрелы ладоней. Это, видимо, несколько повредило им в глазах бабушки, потому что вдруг она глянула на них утемнившейся желтизной зрачков с ясным и веселым многознанием высокого превосходства. Мы вышли провожать их на лестницу, и бабушка снова радостно лепетала и ветхо склонялась им вслед, туманно паря над двумя черными и прямыми фигурами, сложенными в зонты.

Молодую бабушку то и дело сажали в тюрьму: по чьим-то оговоркам и оговорам, по неспособности охранить себя от расплюсов слезки и обысков, по склонности, радостно и отвлеченно увеличив глаза, принять на себя всеобщую вину революционных проступков. Жандармы упорно и лениво, как спички у ребенка, постоянно отбирали у бабушки саквояжи с двойным дном, и привычным жестом — пардон, мадемуазель, — извлекали папиросную бумагу, адресованную пролетариям всех стран, из горячей тесноты ворота.

Последним, некрасивым и нелюбимым ребенком родилась и росла бабушка и в этой же неказистой, несмелой осанке прожила долгую жизнь. Детский страх перед собственной нежеланностью и обременительностью и в старости сообщал ее облику неуверенное, виноватое, стыдливое выражение.

Более всего и ужасно, до своевольного хода подрагивающих головы и рук, бабушка суетливо боялась, как бояться бомбежки, принять на себя даже мельк чьего-нибудь внимания, худобой своей, округленной в спине, загромоздить пространство, нужное для движения других людей. Старея, бабушка становилась всё меньше и меньше, словно умышленно приближала себя к заветной и идеальной мало-

сти, уж никому не нужной и не мешающей, которую обрела теперь, нищей горсточкой пыли уместившись в крошечный и безобразный уют последнего прибежища.

Несмотря на грозные скандалы моей матери, бабушка, настойчиво и тайком, почти ничего не ела, словно стыдясь обделить вечно открытый, требующий, ненасытный рот какого-то неведомого птенца, и, чтобы задобрить алчность чьего-то чужого голода, угнетающего ее, она подкармливала худых железных котов, со свистом проносящихся над мрачной помойкой нашего двора, и прожорливую птичку толчею на подоконнике.

К маминому неудовольствию и стыду перед соседями, бабушка одевалась в неизменный гномий неряшливый бумазейный балахон, в зимнее время усиленный дополнительной ветошью, и спала на застиранной, свято и смело оберегаемой, серенькой тряпице — восемьдесят лет искупая вину изношенных в детстве пеленок и рубашек, угрюмо пересчитанных ее матерью, страстно боявшейся смерти своего добра, в мучах порожденного ею.

Ее суровая, непреклонная мать всё чаще покидала гаснущее имение на произвол пьяных и сумасшедших людей, чей хоровод жутко смыкался вокруг подвига ее здравомыслия, и падала ниц, смущая немилосердные начальственные ноги, чтобы прижать к груди большую голову нелюбимого ребенка.

Бабушка вступила в фиктивный брак с молодым революционером, нужный ему для разрешения на выезд, и навсегда сохранила фамилию, дарованную ей этим бедным условным венчанием. Бабушка увезла его за границу, но Швейцария только усугубила его болезнь, выбирающую лёгкие исступленных людей; им надлежало срочно вернуться, но здесь имела место смутная, нечистая история с растратой денег, нужных для этого, какими-то товарищами, на счастливые десятилетия пережившими жертву своей неаккуратности, — бабушка никогда не говорила об этом. Наконец, они попали на юг России, как неблагонадежные люди, по случаю проезда царя были на три дня заключены в тюрьму, где иссякла не знавшая удержу кровь первого бабушкиного мужа.

Это было в самом начале века, еще до революции пятого года, и с этого времени, во всяком случае по моим детским представлениям, начался несердцебиенный, полусонный провал бабушкиной жизни. Но, вероятно, я недооценивала его горестной остроты: бабушка в Нижнем Новгороде родила Христину, была окончательно отвергнута семьей и, оставшись без средств, отправилась в Донбасс на эпидемию холеры. Там она долгое время работала и жила во флигеле на больничном дворе, подвергая постоянной опасности старшую дочь и спустя несколько лет родившуюся маму (мама болела в лад со всеми, кто болел под бабушкиным присмотром). Четвертый муж бабушки, тот, украшенный усами, тяжело любил ее, теряя достоинство скромного мещанина, удочерил ее детей и был им добрым отцом, пока и его не скрыл туман, завершавший все линии бабушкиной судьбы. Бабушка по мере сил воспитывала дочерей, учила их рисованию, языкам и музыке, к которым они обе не были расположены. Христина так и не научилась ничему, даже живописи, которую она всю жизнь любила так безответно, а мама, усилием маленького поврежденного болезнями тела, — всему. Но только Христина умеет любить, жалеть и прощать. Разумеется, и жизнь на скушном, нищем руднике не обошлась без неизлечимо-буйной женщины, вырвавшейся подчас на гадкий простор больничного двора: нагая, в нечистом вихре великих волос являлась она на пыльное солнце мгновенной свободы, чтобы диким криком „Изыди, сатана!“ огласить детство мамы и тетки, даже меня напугать воспроизведением страшного ыканья этой мольбы, предупреждающего о мучительном и непосильном гнѣте: „Изы-ы-ди!“...

То, что бабушка была „милосердной сестрой“ — „чьей“ — „всех кому нужно“, — в раннем детстве было понятно и использовано мной. К ней, к ее сестринскому милосердию, тащила я многочисленных слабых уродцев, отвергнутых моей мамой: белого щенка с огромным розовым животом, слепую морскую свинку, кролика с перебитыми ногами, кошек, бескрылых птиц и других убогих животных, чьи мелкие тела оказались огромно-лишними в избытке мира и униженно существовали вне породы. Бабушка всех их при-

нимала в свое темное гнездо, равно воздавая им почести, заслуженные рождением. От нее, ныне мертвой, научилась я с нежным уважением выговаривать удивленно и нараспев: „Ж и в о е...” — стало быть, хрупкое, беззащитное, нуждающееся в помощи и сострадании. Однажды, когда тиканье малых пульсов, населивших ее комнату, грозило перерасти в сокрушительный гул, я купила и принесла домой только что вылупившегося инкубаторного цыпленка, и мама, не допустив меня к бабушке, будто навсегда захлопнула передо мной дверь в той непобедимой строгости, которая подчас овладевала ею и с которой ничего нельзя было поделать. Поникнув плачущей головой, я медленно спустилась по лестнице и уселась на пол за дверью, охраняя ладонью крошечную желтизну, осужденную и проклятую великим миром. Я слышала, как мимо прошел навверх отец, другие матери звали других детей, и мне страшно представилось, что я буду сидеть здесь всегда, заключенная в тюрьму между стеной и дверью. Двадцать лет спустя я помню, что мне пришла сложная, горячая мысль убить маленькое вздыхающее горло, и я примерила круг двух пальцев к узкому ручейку крови и воздуха, беззащитно текущему сквозь него. Но пальцы мои не сомкнулись — раз и навсегда, я радостно, свежо заплакала над своим и всеобщим спасением, и, в благодарность Бога мне, надо мной тут же склонилась отыскавшая меня бабушка и немедленно вознесла меня и цыпленка в спасительный рай своей любви, пахнущий увядшим тряпьем и животными.

Мы все очень боялись крыс после того, как, вернувшись из эвакуации, долго выпрашивали у них возможность жить в своем доме, по ночам чувствуя на себе острый двухогоньковый взор, не предвещающий добра, но и их нам с бабушкой довелось простить. Военный, охраняющий соседнее учреждение, смеясь испугу детворы, вышвырнул носком сапога большую, рыжую, в кровь полуубитую крысу. Оставшись наедине с ней на мостовой переулка, исподлобья оглянувшись на веселого военного, я торжественно пересилила содрогание тела, близко нагнулась и взяла ее в руки. Крыса ярко глядела на меня могучим взглядом ненависти, достойным красивого сильного животного, как будто

именно отвращение ко мне было причиной ее смерти. Я повлекла ее всё в том же единственном направлении, где моя свобода была безгранична, и, наверно, моя чистая жалость к живому укреплялась злорадным измывательством над собой и, в отношении бабушки, некоторой ядовитостью, желавшей подразнить и испытать ее вседоброту. Но бабушка, не зная такой сложности, без гнева и удивления увидела меня с умирающей крысой в руках, осенив нас ясным, односмысленным вздохом сострадания.

Еще и теперь плывет, доплывает бедный бабушкин ковчег, уже покинутый ею, не управляемый рассеянной старенькой Христиной, спасающей бледного, розового кота Петю и целое племя некрупных, лепечущих голубей.

Бабушка не то что была щедра — просто организм ее, легкий, простой, усеченный недугом странности, уместил в своем ущербном полумесяце только главное: любовь и добро, не усвоив вторых инстинктов: осторожности, бережливости, зависти или злобы.

Она суеверно тяготилась всяким довольством, даже нищую пенсию вкладывала для меня и для Христины в толстую книгу о детских болезнях, лежавшую на виду, — как помнится мне эта книга, привыкшая открываться на одной странице, изображающей больного засохшего ребенка с упавшей головой и нескрытым обилием рёбер и костей, не сумевших помочь его прочности. Там-то и хранилось бабушкино богатство, словно принесенное в жертву маленькому нездоровому богу, достойному всей жалости мира. (Ключа у бабушки и подавно не было, и однажды кто-то насмешливо ограбил этого хилого заветного младенца.)

Как-то летом, на все свои праздничные деньги, я приобрела дюжину серебряных ёлочных слонов — меня почему-то до беспокойного, сводящего с ума ощущения щекотки поражало большое количество одинаковых предметов. Поражаемая и осмеянная всеми, я с одиноким рёвом уткнулась в бабушку, и она, подыгрывая то ли моему детскому безумию, то ли безумию старших сестер, восхищенно воззрилась на тупое, дикое, слоновье серебро, сбивчиво прославляя мою удачу. Мы купили еще восемь слонов, обеднив рахитичного бога, — у меня засвистело, засверкало в мозгу —

и, захлебываясь смехом, стали всех их раздавать или тихонько подсовывать детям в Ильинском сквере, почти никто не брал, и бабушка испуганно улепёгывала вместе со мной, шаркая обширной рванью обуви.

И, вероятно, не моя доброта велит мне спяну или всерьез освобождаться от легкой тяжести имущества, а веселая бабушкина лень утруждать себя владением.

Бабушка до предпоследнего времени много и живо читала, просто и точно различая плохие и хорошие книги слабым, помноженным на стёкла зрачком, много раз изменившимся в цвете, уже поголубленном катарактой. Она не умом рассуждала чтение или слушание, а всё той же ограниченностью в добре, не знающей грамоты зла. Вообще, она ведала и воспринимала только живые, означающие слова, чья достоверность известна ошупи, всякое пустое, отвлеченное многословие обтекало ее, как чужая речь. Когда с маминой работы явилась комиссия проверять и осуждать мое воспитание, бабушка долго, почтительно, натужно подвергала ухо красноречию, трудному для нее, как не-музыка, и вдруг, поняв телом реальный смысл моего имени, мигом разобралась во всём и, страшно трясая головой, возобновив болезнь голоса, крикнула: „Вон!“

Бабушка восхищалась мной непрестанно, но редким моим удачам удивлялась менее других — уж она-то предусмотрела и преувеличила их заранее. Что бы ни случилось со мной, уж никому я не покажусь столь прекрасной и сильной для зрения, только если притупить его быстрым обмороком любви, влажно затемняющим веки.

Последний раз, после долгого перерыва, я увидела бабушку уже больной предсмертием, поровну поделившим ее тело между жизнью и смертью, победившим, наконец, все ее привычки: чистая, на чистом белье, с чистой маленькой успокоенной головой лежала бабушка и с ложечки ела протертые фрукты, о которых прежде думала, что они для меня лишь полезны и съедобны.

— Подожди, — прошептала Христина, заслоняя меня собой, — я сначала предупрежу ее.

Но она долго не могла решиться, боясь, что имя мое, всегда потрясавшее бабушку, теперь причинит ей вред.

— Мама, — осторожно и ласково сказала Христина, — только ты не волнуйся... к тебе Беллочка пришла...

— А, — равнодушно отозвалась бабушка половиной губ и голоса.

И вдруг я узнала свой худший, невыносимый страх, что Христина сейчас отойдет, и я увижу, и у меня уже не будет той моей бабушки, которая не позволит мне увидеть эту мою бабушку, как никогда не позволяла ничего, что может быть болью и страхом.

Всё же я присела на край ее чистой постели и слепым лицом поцеловала ее новый чистый запах.

— Скоро умру, — капризно и как будто даже кокетливо сказала бабушка, но мне всё уже было безразлично в первой, совершенной полноте беды, каменно утяжелившей сознание.

На мгновение живая сторона бабушкиного тела, где сильно, предельно умирало ее сердце, слабо встрепенулась, сознательно прильнула ко мне неполной теплотой, и один огромный, бессмертно любовный глаз вернулся ко мне из глубины отсутствия.

— Иди, я устала, — словно со скукой выговорила бабушка и добавила: — Убери, — имея в виду тоскующего, потускневшего Петьку, жавшегося к ней. Видимо, всё, что она так долго любила и жалела, теперь было утомительным для нее, или, наоборот, она еще не утомилась любить и жалеть нас и потому отстраняла от себя сейчас.

Август 1963

Красная Пахра

МНОГО СОБАК И СОБАКА

Посвящено Василию Аксёнову

...Смеркалось на Диоскурийском побережье... — вот что сразу увидел, о чём подумал и что сказал слабоумный и немой Шелапутов, ослепший от сильного холодного солнца, айсбергом вплывшего в южные сады. Он вышел из долгих потемок чужой комнаты, снятой им на неопределенное время, в мимолетную вечную ослепительность и так стоял на пороге между тем и этим, затаившись в убежище собственной темноты, владел мгновением, длил миг по своему усмотрению: не смотрел и не мигал беспорядочно, а смотрел, не мигая, в близкую преграду сомкнутых век, далеко протянув разъятые ладони. Ему впервые удалась общая бестрепетная недвижимость закрытых глаз и простертых рук. Уж не исцелился ли он в Диоскурийском блаженстве? Он внимательно ранил тупые подушечки (или как их?..) всех пальцев, в детстве не прозревшие к черно-белому Гедике, огромным ледяным белым светом, марая его невидимые острия очевидными капельками крови, пронизательной ощупью узнавая каждую из семи разноцветных струн: толстая фиолетовая басом бубнила под большим пальцем не причиняя боли. Каждый Охотник Желает Знать Где Сидит Фазан. Отнюдь нет — не каждый. Шелапутов выпустил спектр из взволнованной пятерни, открыл глаза и увидел то, что предвидел. Было люто светло и холодно. Безмерное солнце, не уместаясь в бесконечном небе и бескрайнем море, для большей выгоды блеска не гнушалось никакой отражающей поверхностью, даже бледной кожей Шелапутова, не замедлившей ощетиниться убогими воинственными мурашками, единственно защищающими человека от всемирных бедствий.

Белла Ахмадулина

Смеркалось на Диоскурийском побережье — не к серым насморочным сумеркам меркнувшего дня — к суровому мраку, к смерти цветов и плодов, к сиротству сырых — к зиме. Во всех прибрежных садах одновременно повернулись черные головы садоводов, обративших лица в сторону гор: там в эту ночь выпал снег.

Комната, одолженная Шелапутовым у расточительной судьбы, одинокая в задней части дома, имела независимый вход: гористую ржаво-каменную лестницу, с вершины которой он сейчас озирает изменившуюся окрестность. С развязным преувеличением постоялец мог считать своими отдельную часть сада, заляпанного приторными дребезгами хурмы, калитку, ведущую в море, ну, и море, чья вчерашняя рассеянная бесплотная лазурь к утру затвердела в непреклонную мускулистую материю. Шелапутову надо было спускаться: в предгорьях лестницы, уловив возлюбленное веяние, мощную лакомую волну воздуха, посланную человеком, заюлила, затыкала, заблеяла Ингурка.

Но кто Шелапутов? Кто Ингурка?

Шелапутов — неизвестно кто. Да и Шелапутов ли он? Где он теперь и был ли на самом деле?

Ингурка же была, а может быть, и есть лукавая подострастная собака, в детстве объявленная немецкой овчаркой и приобретенная год назад за бутылку (из-под виски) бешеной сливовой жижи. Щенка нарекли Ингуром и посадили на цепь, дабы взлелеять свирепость, спасительную для сокровищ дома и плодоносящего сада. Ингур скромно рос, женственно вилял голодными бедрами, угодливо припадал на передние лапы и постепенно утвердился в нынешнем имени, поле и облике: нечеткая помесь пригожей козы и неказистого волка. Цепь же вопросительно лежала на земле, вцепившись в отсутствие пленника. На исходе этой осени к Ингурке впервые пришла темная сильная пора, щекотно зудящая в подхвостье, но и возвышающая душу для неведомого порыва и помысла. В связи с этим за оградой сада, не защищенной сторожевым псом и опутанной колючей проволокой, теснилась разномастная разноликая толпа кобелей: нищие горемыки, не все дотянувшие до чина дворняги за неимением двора, но все с искаженными чертами

славных собачьих пород, опустившиеся призраки предков, некогда населявших Диоскурию. Один был меньше других потрепан жизнью: ярко оранжевый заливистый юнец, безкоризненный Шарик, круглый от шерсти, как шпиц, но цвета закатной меди.

Несмотря на сложные личные обстоятельства, Ингурка, по своему обыкновению, упала в незамедлительный обморок любви к человеку, иногда — деловой и фальшивый. Шелапутов, несомненно, был искренне любим, с одним изъяном в комфорте нежного чувства: он не умещался в изворотливом воображении, воспитанном цепью, голодом, окриками и оплеухами. Он склонился над распростертым изнывающим животом, усмехаясь неизбежной связи между почесыванием собачьей подмышки и подергиванием задней ноги. Эту скромную закономерность и все Ингуркины превращения с легкостью понимал Шелапутов, сам претерпевший подобные перемены, впавший в обратность тому, чего от него ждали и хотели люди и чем он даже был еще недавно. Но, поврежденным умом, ныне различавшим лишь заглавные смыслы, он не мог проследить мерцающего пункта между образом Ингурки, прижившимся в его сознании, и профилем Гёте над водами Рейна. Он бы еще больше запутался, если бы умел вспомнить историю, когда-то занимавшую его, — о внучатой племяннице великого немца, учившейся возить нечистоты вблизи северных лесов и болот, вдали от Веймара, но под пристальным приглядом чистопородной немецкой овчарки. То-то было смеху, когда маленькая старая дама в неуместных и трудно достижимых буклях наострилась прибавлять к обращению „Пфердхен, пфердхен” необходимое понукание, не понятное ей, но заметно ободряющее лошадь. Уже не зная этой зауми, Шелапутов двинулся в обход дома, переступая через слякоть разбившихся о землю плодов. Ингурка опасалась лишний раз выходить из закулисья угодий на парадный просцениум и осталась нюхать траву, не глядя на обожателей, повисших на колючках забора.

Опасался бы и Шелапутов, будь он в здравом уме.

Безбоязненно появившись из-за угла, Шелапутов оценил прелесть открывшейся картины. Миловидная хозяйка

пансиона мадам Одетта, сияя при утреннем солнце, трагически озидала розы, смертельно раненные непредвиденным морозом. Маленькая нежная музыка задрезжала и прослезилась в спящей памяти Шелапутова, теперь пребывавшей с ним в двоюродной близости, сопутствующей ему сторонним облачком, прозрачной вольнолюбивой сферой, ускользающей от прикосновения. Это была тоска по чему-то кровно родимому, по незапамятному пра-отечеству души, откуда ее похитили злые кочевники. Женщина, освещенная солнцем, алое варенье в хрустале на белой скатерти, розы и морозы, обреченные друг другу божественной шуткой и вот теперь совпавшие в роковом свадебном союзе... Где это, когда, с кем это было? Была же и у Шелапутова какая-то родина роднее речи, ранящей рот, и важности собственной жизни? Но почему так далеко, так давно?

Некоторое время назад приезжий Шелапутов явился к мадам Одетте с рекомендательным письмом, объясняющим, что податель сего, прежде имевший имя, ум, память, слух, дар чуждой речи, временно утратил всё это и нуждается в отдыхе и покое. О деньгах же не следует беспокоиться, поскольку в них без убытка воплотилось всё, прежде крайне необходимое, а теперь даже неизвестное Шелапутову.

Он, действительно, понёс эти потери, включая не перечисленное в их списке обоняние. В тот день и час своей высшей радости и непринужденности он шел сквозь пространный многолюдный зал, принятый им за необитаемую Долину Смерти, если идти не в сторону благодатного океана, а иметь в виду расшибить лоб и тело о неодолимый Большой Каньон. Прямо перед ним, на горизонте, глыбилось возвышение, где за обычным длинным столом двенадцать раз подряд сидел один и тот же человек, не имевший никаких, пусть даже невзрачных, черт лица: просто открытое пустое лицо без штрихов и подробностей. Слаженным дюжинным хором громко вещающего чрева он говорил что-то, что ясно и с отвращением слышал Шелапутов, взятый на предостерегающий прицел его двенадцати указательных пальцев. Он шел всё выше и выше, и маленький бледный дирижёр, стоящий на яркой заоблачной звезде, головой вниз, к земле и Шелапутову, ободрял его указующей палоч-

кой, диктовал и молил, посылал весть, что нужно снести этот протяжный миг и потом уже предаться музыке. Шелапутов вознесся на деревянное подобие парижского уличного писсуара, увидел свет небосвода и одновременно графин и недопитый стакан воды, где кишели и плодились рослые хищные организмы. Маленький дирижёр еще тянул к нему руки, когда Шелапутов, вернее, тот человек, которым был тогда Шелапутов, упал навзничь и потерял всё, чем ведал в его затылке крошечный всемогущий пульт. Его несбывшаяся речь, хотя и произвела плохое впечатление, была прощена ему как понятное и добродетельное волнение. Никто, включая самогó оратора, никогда не узнал и не узнает, что же он так хотел и так должен был сказать.

И вот теперь, не ощущая и не умея вообразить предсмертного запаха роз, он смотрел на мадам Одетту и радовался, что она содеяна из чего-то голубовато-румяного, хрупкого и пухлого вместе (из фарфора, что ли? — он забыл, как называется), оснащена белокурыми волосами и туманными глазами, склонными расплываться влагой, посвященной жалости или искусству, но не отвлекающей трезвый зрачок от сурового безошибочного счета. Что ж, ведь она была вдова, хоть и опершаяся стыдливо на прочную руку Пыркина, но не принявшая вполне этой ищущей руки и чужой низкородной фамилии. Ее муж, скромный подвижник французской словесности, как ни скрывал этого извращенного пристрастия, вынужден был отступить под всевидящим неодобрительным прищуром — в тень, в глушь, в глубь злосключений. Когда он остановился, за его спиной было море, между грудью и спиной — гнилостное полыхание лёгких, а перед ним — магнолия в цвету и Пыркин в расцвете сил, лично приезжавший проверять документы, чтобы любоваться страхом мадам Одетты, плачущим туманом ее расплывчатых глаз и меткими твердыми зрачками. Деваться было некуда, и он пятился в море, впадающее в мироздание, холодея и сгорая во славу Франции, о чём не узнал ни один соотечественник Орлеанской девы (инкогнито Шелапутова родом из других мест). Он умер в бедности, в хижине на пустыре, превращенных умом и трудом вдовы в благоденствие, дом и сад. „Это всё — его”, — говорила мадам

Одетта, слабым коротким жестом соединяя портрет эссеиста и его посмертные владения, влажнея глазами и сосредоточив зрачки на сохранности растения фейхоа, притягательного для прохожих сладён. При этом Пыркин посылал казнящий каблук в мениск ближайшего древесного ствола, или в безгрешный пах олеандрового куста, или в Ингурку, забывшую обычную предусмотрительность ради неясной мечты и тревоги. Но как женщине обойтись без Пыркина? Это всегда трудно и вовсе невозможно при условии неблагополучного прошлого, живучей красоты и общей системы хозяйства, не предусматривающей процветания частного пансиона с табльдотом. Да и в безукоризненном Пыркине, честно и даже с некоторой роскошью рвення исполнявшем свой долг вплоть до отставки и пенсии, были трогательные изъяны и слабости. Например: смелый и равнодушный к неизбежному небытию всех каких-то остальных, перенасытившему землю и воздух, он боялся умереть во сне и, если неосторожно слабел и засыпал, кричал так, что даже невменяемый Шелапутов слышал и усмехался. Кроме того, он подетски играл с непослушанием вещей. Если складной стул, притомившись или распоясавшись, разъезжался в двойной неполный „шпагат“, Пыркин, меняясь в лице к худшему, орал: „Встать!“ — стул вставал, а Пыркин усаживался читать утреннюю почту. По возрасту и общей ненадобности отстраненный от недовершенных дел, Пыркин иногда забывался и с криком: „Молчать!“ — рвал онемевшую от изумления неоспоримую газету в клочки, которые, опомнившись, надменно воссоединялись. Но обычно они не пререкались и не дрались и Пыркин прощался с чтением, опять-таки невольнительно фривольно, но милостиво: „Одобряю. Исполняйте“. Затем Пыркин вставал, а отпущенный стул вольно садился на расхлябанные ноги. И была у него тайна, ради которой, помрачнев и замкнувшись, он раз в декаду выезжал в близлежащий городок, где имел суверенную жилплощадь, — мадам Одетта потупляла влажную голубизну, но зрачок сухо видел и знал.

Непослушная глухонемая вещь Шелапутов понятия не имел о том, что между ним и Пыркиным свищет целый роман, обоюдная тяга ненависти, подобной только любви

неизъяснимостью и полнотой страсти. Весь труд тяжелой взаимной неприязни пал на одного Пыркина, как если бы при пилке дров один пильщик ушел пить пиво, предоставив усердному напарнику мучиться с провисающей, вкривь и вкось идущей пилою. Это небрежное отлынивание от общего дела оскорбляло Пыркина и внушало ему робость, в которой он был неопытен. В присутствии Шелапутова заколдованный Пыркин не лягал Ингурку, не швырял камней в ее назревающую свадьбу, не хватался за ружье, когда стайка детей снижала крылышки к вожделенному фейхоа.

В ямбическое морозно-розовое утро, увидев Шелапутова, Пыркин, за спиной мадам Одетты, тут же перепосвятил ему ужасные рожи, которые корчил портрету просвещенного страдальца и подлинного хозяина дома.

Но Шелапутов уже шел к главному входу-выходу: за его парадными копиями золотилась девочка Кетеван. Узкая, долгая, протянутая лишь в высоту, не имеющая другого объема, кроме продолговатости, она продлевала себя вставанием на носки, воздеванием рук, удлинняя простор, тесный для бега юной крови, бесконечным жестом, текущим в пространство. Так струилась в поднебесье, переливалась и танцевала, любопытствуя и страшась притяжения между замороженными псами и отстраненно-нервной Ингуркой. Девочка была молчаливей безмолвного Шелапутова: он иногда говорил, и сказал:

— Ну, что, дитя? Кто такая, откуда взялась? Легко ли состоять из ряби и зыби, из непрочных бликов, летящих прочь, в родную вечность неба и моря и снега на вершинах гор?

Он погладил сплетение радуг над ее египетскими волосами. Она отвечала ему вспылками глаз и робкого смеющегося рта, соловьиными пульсами запястий, висков и лодыжек и уже переместилась и сияла в отдаленье, ничуть не темней остального воздуха, его сверкающей дрожи.

Сзади донесся многократный стук плодов о траву, это Пыркин заехал инжировому дереву: он ненавидел инородцев и лучшую пору жизни потратил на выдворение смуглых племён из их родных мест в свои родные места.

Шелапутов пошел вдоль сквозняка между морем и далё-

кими горами, глядя на осеннее благоденствие угодий. Мир вам, добрые люди, хватит скитаний, хватит цинги, чернящей рот. Пусторукий и сирый Шелапутов, предавшийся проголоди и беспечности мыслей, рад довольству, населившему богатые двухэтажные дома. Здравствуй, Варлам, пляшущий в деревянной выдолбине по колено в крови на время убитого винограда, который скоро воскреснет вином. Здравствуй, Полина, с мокрым слитком овечьего сыра в хватких руках. Соседи еще помнят, как Варлам вернулся из долгой отлучки с чужеродной узкоглазой Полиной, исцелившей его от смерти в дальних краях, был отвергнут родней и один неистово гулял на своей свадьбе. Полина же заговорила на языке мужа — о том о сём, о хозяйстве, как о любви, научилась делать лучший в округе сыр и оказалась плодородной, как эта земля, без утайки отвечающая труду избытком урожая. Смиранные родные приходили по праздникам или попросить займы денег, недостающих для покупки автомобиля, — Полина не отказывала им, глядя поверх денег и жалких людей мстительным припёком узкоглазья. Дети учились по разным городам, и только первенец Гиго всегда был при матери. Здравствуй и ты, Гиго, втуне едящий хлеб и пьющий вино. Полине ничего не жаль для твоей красоты, перекаत्याющей волны мощи под загорелой цитрусовой кожей. А что ты не умеешь читать — это к лучшему, все книги причиняют печаль. Да и сколько раз белотелые северянки прерывали чтение и покидали пляж, следуя за тобой в непроглядную окраину сада.

На почте, по чьей-то ошибке, из которой он никак не мог выпутаться, упирающемся Шелапутову вручили корреспонденцию на имя какой-то Хамодуровой и заставили расписаться в получении. Он написал: „Шелапутов. Впрочем, если Вам так угодно, — Хамов и Дуров”. Терзаемый тревогой и плохими предчувствиями, утяжелившими сердцебиение, вдруг показавшееся неблагополучным и ведущим к неминуемой гибели, он не совладал с мыслью о подземном переходе, вброд пересёк мелкую пыльную площадь и вошел в заведение „Апавильон”.

Стоя в очереди, Шелапутов отдыхал, словно, раскинув руки, спал и плыл по сильной воде, знающей путь и цель.

Числившийся членом нескольких союзов и обществ и почетным членом туманной международной лиги, он на самом деле был только членом очереди, это было его место среди людей, краткие каникулы равенства между семестрами одиночества. Чем темней и сварливей было медленное течение, закипающее на порогах, тем явственней он ощущал нечто, схожее с любовью, с желанием жертвы, конечно, никчемной и бесполезной.

Он приобрел стакан вина, уселся в углу и стал, страдая, читать. Сначала — телеграмму: „вы срочно вы зываетесь объявления вы говора занесением личное дело стихотворение природе итог увяданья подводит октябрь”. Эта заведомая бессмыслица, явно нацеленная в другую мишень, своим глупым промахом приласкала и утешила непричастного уцелевшего Шелапутова. Если бы и дальше всё шло так хорошо! Но начало вскрытого письма: „Дорогая дочь, я призываю тебя, более того, я требую...” — хоть и не могло иметь к нему никакого отношения, страшно испугало его и расстроило. Его затылок набряк болью, как переспелая хурма, готовая сорваться с ветки, и он стиснул его ладонями, спасая от забывтья и падения. Так он сидел, укачивая свою голову, уговаривая ее, что это просто продолжение нелепой и неопасной путаницы, преследующей его, что он ни при чём и всё обойдется. Он хотел было отпить вина, но остерегся возможного воспоминания о нежном обезболивании, затмевающим и целующем мозг в обмен на струйку души, отлёт чего-то, чем прежде единственно дорожил Шелапутов. Оставался еще пакет с — прежде — запиской, звавшей его скорее окрепнуть и вернуться в обширное покинутое братство... уж не те ли ему писали, с кем он только что стоял в очереди, дальше которой он не помнил и не искал себе родни?.. ибо есть основания надеяться на их общее выступление на стадионе. „Как — на стадионе? Что это? С кем они все меня путают?” — неповоротливо подумал Шелапутов и увидел каменное окружье, охлестнувшее арену, белое лицо толпы и опустившего голову быка, убитого больше, чем это надо для смерти, опустошаемого несколькими потоками крови. К посланию был приложен бело-черный свитер, допекавший Шелапутова навязчивыми вопросами о прошлом

и будущем, на которые ему было бы легче ответить, обла- дай он хотя бы общедоступным талантом различать запа- хи. Брезгливо принюхавшись и ничего не узнав, он накинул свитер на спину и завязал рукава под горлом, причём от оче- реди отделился низкорослый задыхающийся человек и с криком: „Развяжи! Не могу! Душно!” — опустошил забытый Шелапутовым стакан.

Шелапутов поспешил развязать рукава и пошел прочь.

Вещь, утепляющая спину, продолжала свои намёки и недомолвки, и близорукая память Шелапутова с усилием вглядывалась в далекую предысторию, где неразборчиво брезжили голоса и лица, прояснявшиеся в его плохие ночи, когда ему снился живой горячий страх за кого-то и он про- сыпался в слезах. Всё расплывалось в подслеповатом бинок- ле, которым Шелапутов пытал былое, где мерещилась ему мучительная для него певичка или акробатка, много собрав- шая цветов на полях своей неопределенной деятельности. Уж не ее ли был его свитер? Не от нее ли с омерзением бе- жал Шелапутов, выпроставшись из кожи и юркнув в расще- лину новой судьбы? Ужаснувшись этому подозрению, он проверил свои очертания. К счастью, всё было в порядке: бесплотный бесполой силуэт путника на фоне небосвода, легкая поступь охотника, не желающего знать, где сидит фазан.

Возвращаясь, Шелапутов встретил слонящегося Гиго, без скуки изживающего излишек сил и времени. Соха- то-рослый и стройный, он объедал колючие заросли еже- вики и вдруг увидел сладость слаще ягод: бело-черный свитер, вяло обнимавший Шелапутова.

— Дай, дай! — заклянчил Гиго. — Ты говорил: „Гиго, не бей собак, я тебе дам что-нибудь”. Гиго не бьет, он больше не будет. Дай, дай! Гиго наденет, покажет Кетеван.

— Бери, бери, добрый Гиго, — сказал Шелапутов. — Носи на здоровье, не бей собак, не трогай Кетеван.

— У! Кетеван! У! — затрубил Гиго, лаская милую обнову.

Шелапутов сделал маленький крюк, чтобы проведать двор писателя, где его знакомый старик турок плёл из пру- тьев летнюю трапезную, точное подражание фольклорной крестьянской кухне с открытым очагом посредине, с крю-

ком над ним для копчения сыра и мяса. Прежде чем войти, Шелапутов, вздыбив невидимую шерсть, опушившую позвоночник, долго вглядывался в отсутствие хозяина дома. Прислышав о таинственном Шелапутове, любознательный писатель недавно приглашал его на званый ужин, и перепуганный несостоявшийся гость нисколько не солгал, передав через мадам Одетту, что болезнь его, к сожалению, усугубилась.

— Здравствуй, Асхат, — сказал Шелапутов. — Позволь войти и посидеть немного?

Старик приветливо махнул рукой, покореженной северным ревматизмом, но не утратившей ловкости и красоты движений. Ничего не помнил, всё знал Шелапутов: час на сборы, рыдания женщин и детей, уплотнившие воздух, молитвы стариков, разграбленная серебряная утварь, сожранная скотина, смерть близких, долгая жизнь, совершенство опыта, но откуда в лице этот покой, этот свет? Именно люди, чьи бедствия тоже пестовали увеличивающийся недуг Шелапутова, теперь были для него отрадны, успокоительны и целебны. Асхат плёл, Шелапутов смотрел.

Подойдя к своей калитке, он застал пленительную недостижимую Ингурку вплотную приблизившейся к забору: она отчужденно скосила на него глаза и условно пошевелила хвостом, имеющим новое, не относящееся к людям выражение. Собаки в изнеможении лежали на земле, тяжело дыша длинными языками, и только рыжий голосистый малыш пламенел и звенел.

И тогда Шелапутов увидел Собаку. Это был большой старый пёс цвета львов и пустынь, с обрубленными ушами и хвостом, в клеймах и шрамах, не скрытых короткой шерстью, с обрывком цепи на сильной шее.

— Се лев, а не собака, — прошептал Шелапутов и, с воспламенившимся и уже тоскующим сердцем, напрямик шагнул к своему льву, к своей Собаке, протянул руку — и сразу совпали выпуклость лба и впадина ладони.

Пёс строго и спокойно смотрел желтыми глазами, нахмутив для мысли темные надбровья. Шелапутов осторожно погладил зазубрины обкромсанных ушей — тупым ножом привечали тебя на белом свете, но ничего, брат мой,

ничего. Он попытался разъединить ошейник и цепь, но это была сталь, навсегда прикованная к стали, — ан ничего, посмотрим.

Шелапутов отворил калитку, с раздражением одёрнув оранжевого крикуна, ринувшегося ему под ноги: „Да погоди ты, ну-ка — пошел”. Освобожденная Ингурка понеслась вдоль моря, окруженная усталыми преследователями. Сзади медленно шел большой старый пес.

Так цвел и угасал день.

Пристанище Шелапутова, расположенное на отшибе от благоустройства дома, не отапливалось, не имело электрического света и стекла в зарешеченном окне. Этой комнатой гнушались прихотливые квартиранты, но ее любил Шелапутов. Он приготовился было уподобиться озябшим розам, как вдруг, в чепчике и шали, кокетливо появилась мадам Одетта и преподнесла ему бутылки с горячей водой для согревания постели. Он отнёс эту любезность к мягкосердечию ее покойного мужа, сведущего в холоде грустных ночей: его робкая тень и прежде заметно благоволила к Шелапутову.

Красное солнце волнуяще быстро уходило за мыс, и Шелапутов следил за его исчезновением с грустью, превышающей обыденные обстоятельства заката, словно репетируя последний миг существования. Совсем рядом трудилось и шумело море. Каждую ночь Шелапутов вникал в значение этого мерного многозвучного шума. Что знал, с чем обращался к его недалекости терпеливый гений стихии, монотонно вбивавший в камни суши одну и ту же непостижимую мысль?

Шелапутов возжег свечу и стал смотреть на белый лист бумаги, в котором не обитало и не проступало ничего, кроме голенастого шестиногого паучка, резвой дактилической походкой снующего вдоль воображаемых строк. Уцелевшие в холоде ночные насекомые с треском окунали в пламя слепые крылья. „Зачем всё это? — с тоской подумал Шелапутов. — И чего хочет эта ненасытная белизна, почему так легко принимает жертву в мучках умирающих, мясистых и сумрачных мотыльков? И кто волен приносить эту жертву? Неужто вымышленные буквы, приблизительно

обозначающие страдание, существеннее и драгоценней, чем бег паучка и все мелкие жизни, сгорающие в чужом обязательном огне?” Шелапутов, и всегда тяготившийся видом белой бумаги, с облегчением задул свечу и сразу же различил в разгулявшемся шелесте ночи одушевленно-железный крадущийся звук. Шелапутов открыл дверь и сказал в темноту: „Иди сюда”. Осторожно ступая, тысячелетним опытом беглого каторжника умеряя звон цепи, по лестнице поднялась его Собака.

Шелапутов в темноте расковырял банку тушенки — из припасов, которыми он тщетно пытался утолить весь голод Ингурки, накопленный ею к тому времени. И тут же в неприкрытую дверь вкатился Рыжий, повизгивая сначала от обиды, а потом — как бы всхлипывая и прощая. „Да молчи ты, по крайней мере”, — сказал Шелапутов, отделяя ему часть мясного и хлебного месива.

Наконец улеглись: Собака возле постели, Шелапутов — в теплые, трудно сочетаемые с телом бутылки, куда вслед за ним взлетел Рыжий и начал капризно устраиваться, вспльчиво прощелкивая зубами пушистое брюхо. „Да не толкайся ты, несносное существо, — безвольно укорил его Шелапутов. — Откуда ты взялся на мою голову?” Он сильно разволновался от возни, от своего самовольного гостеприимства, от пугающей остановки беспечного гамака, в котором он дремал и качался последнее время. Он опустил руку и сразу встретил обращенную к нему большую голову Собаки.

Странно, что всё это было на самом деле. Не Хамодурова, не Шелапутов, или как там их зовут по прихоти человека, который в ту осень предписанного ликования, в ночь своей крайней печали лежал на кровати, теснимый бутылками, Рыжим и толчеей внутри себя, достаточной для нескольких жизней и смертей, не это, конечно, а было: комната, буря сада и закипающего моря, Собака и человек, желавший всё забыть и вот теперь положивший руку на голову Собаки и плачущий от любви, чрезмерной и непосильной для него в ту пору его жизни, а может быть, и в эту.

Было или не было, но из главной части дома, сквозь пронизаемую каменную стену донеслось многоточие с восклицательным знаком в конце: это мадам Одетта ритуаль-

но пролепетала босыми ногами из спальни в столовую и повернула портрет лицом к обоям. Рыжий встрепенулся спросонок и залился пронзительным лаем. Похолодевший Шеллапутов ловил и пробовал сомкнуть его мягко обороняющиеся челюсти. После паузы недоумения в застенной дали стукнуло и грохнуло: портрет повернулся лицом к неприглядной яви, а Пыркин мощно брыкнул изножие кровати. Уже не впопыхах, удобно запрокинув морду, Рыжий предался долгой вдохновенной трели. Шеллапутов больше не боролся с ним. „Сделай что-нибудь, чтоб он, наконец, заткнулся”, — безнадежно сказал он Собаке, как и он, понимавшей, что он говорит вздор. Рыжий твякнул еще несколько раз, чтобы потратить возбуждение, отвлекающее от сна, звонко зевнул, и всё затихло.

За окном медленно, с неохотой светало. Из нажитого за ночь тепла Шеллапутов смотрел сквозь решетку на серый зябкий свет, словно в темницу, где по обязанности приходил в себя бледный исполнительный узник. Пёс встал и, сдержанно звякая цепью, спустился в сад. Рыжий спал, иногда поскуливая и часто перебирая лапами. Уже было видно, какой он яркий франт, какой неженка — по собственной одаренности, по причуде крови, заблудшей в том месте судьбы, где собак нежить некому. Успел ли он поразить Ингурку красотой оперения, усиленной восходом, — Шеллапутов не знал, потому что проснулся поздно. Сад уже оттаял и сверкал, а Шеллапутов всё робел появиться на хозяйской половине. Это живое чувство опять соотносило его с забытой действительностью, с ее привычным и когда-то любимым уютом.

Вопреки его опасениям, мадам Одетта, хоть и посмотрела на него очень внимательно, была легка и мила и предложила ему кофе. Шеллапутов, подчеркнуто чуравшийся застольного и всякого единения, на этот раз заискивающе согласился. Пыркин фальшивой опрометью побежал на кухню, вычурно кривляясь и приговаривая: „Кофейник, кофейник, ау! Скорее иди сюда!” — но тут же умолк и насупился: сегодня был его день ехать в город.

Мадам Одетта, построив подбородку грациозную подпорку из локотка и кулачка, благосклонно смотрела, как

Шелапутов, отвыкший от миниатюрного предмета чашки, неловко пьет кофе. Ее губы округлялись, вытягивались, складывались в поцелуйное рыльце для надобности гласных и согласных звуков — их общая сумма составила фразу, дикий смысл которой вдруг ясно дошел до сведения Шелапутова:

— Помните, у Пруста э т о называлось: совершить каттлею?

Он не только понял и вспомнил, но и совершенно увидел ночной Париж, фиакр, выпускающий свет и тьму фонарей, борьбу, бормотание, первое объятие Свана и его Одеты, его жалкую победу над ее податливостью, столь распротертой и недостижимой, возглавленной маленьким спертым умом, куда не было доступа страдающему Свану. При этом, действительно, была повреждена приколотая к платью орхидея, чьим именем стали они называть безымянную безысходность между ними.

Шелапутов прекрасно приживался в вымышленных обстоятельствах и в этом смысле был проницательно практичен. Малым ребенком, страдая от войны и непрерывной зимы, он повадился гулять в овальном пейзаже, врисованном в старую синюю сахарницу. По изогнутому мостику блеклого красного кирпича, лаская ладонью его нежный мох, он проходил над глухим водоёмом, вступал в заросли купалы на том берегу и навсегда причислил прелесть желто-зеленых цветов в молодой зелени луга к любимым радостям детства и дальнейшей жизни. Он возвращался туда и позже, смелея от возраста и удлинняя прогулки. Из черемухового оврага по крутой тропинке поднимался на обрыв парка, увенчанный подгнившей беседкой, видел в просвете аллеи большой, бесформенно-стройный дом, где то и дело кто-то принимался играть на рояле, бросал и смеялся. Целомудренный зонтик прогуливался над стриженным кустарником. Какой-то господин, забывшись, сидел на скамье, соединив нарядную бороду и пальцы, оплетшие набалдашник трости, недвижно глядя в невидимый объектив светлыми, чуть хмельными глазами. Шелапутов хорошо знал этих добрых беспечных людей, расточительных, невпопад влюбленных, томимых благородными помыслами и неясными предчувствиями. Он, крадучись, уходил, чтобы не раз-

будить их и скрыть от них, что ничего этого нет, что обожаемый кружевной ребенок, погоняющий обруч, давно превратился в прах и тлен.

Годы спустя, незадолго до постыдного публичного обморока, затаившись в руинах чьей-то дачи, он приспособился жить в чужеземстве настенного гобелена. Это было вовсе беспечальное место: с крепостью домика, увитого вечным плющом, с мельницей над сладким ручьем, с толстыми животными, опекаемыми пастушкой, похожей на мадам Одетту, но, разумеется, не сведущей в Прусте. Там бы ему и оставаться, но он затосковал, разбранился с пастушкой, раздражавшей его шепелящими ласкательными суффиксами, и бежал.

Вот и сейчас он легко променял цветущую Диоскурию на серую дымку Парижа, в которой и обитал палевый, голубой и лиловый фазан.

Две одновременные муки окликнули Шелапутова и вернули его в надлежащую географию. Первая была — маленькая месть задетой осы, трудящейся над красным вздутием его кисти. Вторая боль, бывшая больше его тела, коряво разрасталась и корчилась вовне, он был ею и наткнулся на нее, может быть, потому, что шел вслепую напрямик, мимо дорожки к воротам и ворот, оставляя на оградительных шипах ключья одежды и кожи.

Бессмысленно тараща обрубки антенн, соотносящих живое существо с влияниями и зовами всего, что вокруг, он опять втеснился в душную темноту, достаточную лишь для малой части человека, для костяка, кое-как одетого худобою. Какие розы? Ах, да. Читатель ждет уж... Могила на холме и маленький белый монастырь с угловой темницей для наказанного монаха: камень, вплотную облегающий стоящего грешника, его глаза, уши, ноздри и губы, — благо ему, если он стоял вольготно, видел, слышал и вдыхал свет.

Потайным глубинным пеклом, загодя озирающим длительность предшествующего небытия, всегда остающимся про запас, чтобы успеть взглядеться в последующую запредельность и погаснуть, Шелапутов узнал и впитал ту, что стояла перед ним. Это и была его единственная родимая собственность: его жизнь и смерть. Ее седины развевались

по безветрию, движимые круговертью под ними, сквозь огромные глаза виден был ад кипящей безвыходной мысли. Они ринулись друг к другу, чтобы спасти и спастись, и, конечно, об этом было слово, которое дымилось и пенилось на ее губах, которое здраво и грамотно видел и никак не мог понять Шелапудов.

Как мало оставалось мученья: лишь разгадать и исполнить ее заклинаящий крик и приникнуть к, проникнуть в, вновь обрести блаженный изначальный уют, охраняемый ее урчащей когтистой любовью. Но что она говорит? Неужели предлагает мне партию на бильярде? Или всё еще хуже, чем я знаю, и речь идет о гольфе, бридже, триктраке? Или она нашла мне хорошую партию? Но я же не могу всего этого, что нам делать, как искуплю я твою нестерпимую мýку? Ведь я — лишь внешность раны, исходящей твоею бедною кровью. О, мама, неужели я умираю!

Они хватали и разбрасывали непреодолимый воздух между ними, а его всё больше становилось. Какой маркшейдер ошибся, чтобы они так разминулись в прозрачной толще? Вот она уходит всё дальше и дальше, протянув к нему руки, в латах и в мантии, в терновом венце и в погонах.

Шелапудов очнулся от того, что опять заметил свою руку, раненную осою: кисть болела и чесалась, ладонь обнимала темя Собаки.

Опираясь о голову Собаки, Шелапудов увидел великое множество моря с накипью серебра, сад, обманутый ослепительной видимостью зноя и опять желавший цвести и красоваться. На берегу ослабевшая Ингурка, вяло огрызаясь, уклонялась от неизбежной судьбы. Уже без гордости и жеманства стряхивала она то одни, то другие объятия. Рыжий всех разгонял мелким начальственным лаем. И другая стайка играла неподалеку: девочка Кетеван смеялась и убегала от Гиго.

Под рукой Шелапудова поднялся загром Собаки, и у Шелапудова обострились лопатки. Он обернулся и увидел Пыркина, собравшегося в город. Он совсем не знал этого никакого человека и был поражен силою его взгляда, чья траектория отчетливо чернела на свету, пронзала затылок Шелапудова, взрывалась там, где обрывок цепи, и успевала

контузить окрестность. Он сладострастно посылал взгляд и не мог прервать этого занятия, но и Шелапутов сильно смотрел на Пыркина.

Следуя к автобусной станции, Пыркин схватил камень гор вместе с домами и огородами и запустил ими в иноплеменную нечисть собак и детей, во всю дикоязычную прустовую сволочь, норвящую бежать с каторги и пожирать фейхоа.

— Вот что, брат, — сказал Шелапутов. — Иди туда, не уступай Рыжему прощальной улыбки нашего печального заката. А я поеду в город и спрошу у тех, кто понимает: что делать человеку, который хочет уехать вместе со своею Собакой.

Пёс понуро пошел. Шелапутов не стал смотреть, как он стоит, опустив голову, пока Рыжий, наскакывая и отступая, поверхностно кусает воздух вокруг львиных лап, а Ингурка, в поддержку ему, морщит нос и дрожит верхней губой, открывая неприязненные мелкие острия, при одобрении всех второстепенных участников.

Не стал он смотреть и на то, как Гиго ловит смеющуюся Кетеван. Разве можно поймать свет, золотой столбик неопределенной пыли? — а вот поймал же и для шутки держит над прибором, а прибором для шутки делает вид, что возьмет себе. Но она еще отбивается, еще утекает сквозь пальцы и свободно светится вдалеке — ровня лучу, неотличимая от остального солнца.

Престарелый автобус с брезентовым верхом так взбалтывал на ухабах содержимое, перемешивая разновидности, национальности, сорта и породы, что к концу пути всё в нём стало равно потно, помято и едино, — кроме Пыркина и Шелапутова.

Вот какой город, какой Афинно-белый и колоннадный, с короной сооружения на главе горы; ну, не Парфенон, я ведь ни на что и не претендую, а ресторан, где кончились купаты, но какой любимый Шелапутовым город — вот он ждет, богатый чужеземец, владелец выпрених излишеств пальм, рододендронов и эвкалиптов, гипса вблизи и базальта вдали. Лазурный, жгучий, волосатый город, вожделеющий царственной недоступной сестры: как бы смял он ее флёрдоранж, у, Ницца, у!

Шелапутов, направляясь в контору Кука, как и всегда идучи, до отказа завел руки за спину, крепко ухватившись левой рукой за правую. Зачарованный Пыркин некоторое время шел за ним, доверчиво склонив набок голову для обдумывания этой особенности его походки, и даже говорил ему что-то поощрительное, но Шелапутов опять забыл замечать его.

Сподвижники отсутствующего Кука, до которых он доплыл, на этот раз без удовольствия, по извилинам очереди, брезгливо объяснили ему, что нужно делать человеку, который хочет уехать вместе со своею Собакой. Всё это не умещалось во времени, отведенном Шелапутову, а намордник, реставрация оборванной цепи и отдельная клетка для путешествия и вовсе никуда не умещались.

Устав и померкнув, Шелапутов пошел вдоль набережной, тяготясь неподъемной величиной неба, гор и снующей жизни. Море белесо отсутствовало, и прямо за парашетом начиналось ничто. Урожденный близнец человеческой толчеи, слоняющейся, торгующей, настигающей женщин или другую добычу, он опять был совсем один и опирался лишь на сцепленные за спиною руки.

Усевшись в приморской кофейне, Шелапутов стал смотреть, как грек Алеко, изящный, поджарый, черно-седой, ведает жаровней с раскаленным песком. Никакой болтливости движений, краткий полёт крепкого локтя, скошенный блеск ёмкого глаза, предугадывающий всякую новую нужду в черном вареве, усмехающийся кофейным гадателям: ему-то не о чем спрашивать перевернутую чашку, он прозорливей всеведущей гущи.

Ничего не помнил, всё знал Шелапутов: тот же мгновенный — пошевеливайся, чучмек! — час на сборы, могилы — там, Алеко — здесь.

Почуяв Шелапутова, Алеко любовно полыхнул ему глазом: обожди, я иду, не печалься и здравствуй во веки веков. Есть взор между человеком и человеком, для которого и следует жить в этом несказанном мире, с блистающим морем и хрупкой гигантской магнолией, держащей на весу фарфоровую чашу со светом. Совладав с очередной партией меди в песке, Алеко подошел, легкой ла-

донью приветил плечо Шелапутова. Про Собаку сказал:

— Иди по этому адресу, договорись с проводником. Он придет завтра вечером, послезавтра уедет и вместе с ним ты со своею Собакой.

Потом погасил глаза и спросил:

— Видел Кетеван?

— Езжай туда, Алеко, — внятно глядя на него, ответил Шелапутов.— Не медли, езжай сегодня.

Алеко посмотрел на простор дня, на Грецию вдали, коротко сыграл пальцами по столу конец какой-то музыки и сказал с вольной усмешкой:

— Я старый бедный грек из кофейни. А она — ты сам знаешь. Пойду-ка я на свое место. Прощай, брат.

Но как ты красив, Алеко, всё в тебе. Ты всё видел на белом свете, кроме высшей его белизны — возлюбленной родины твоей древней и доблестной крови. С тобою Самофракийская Ника! Смежим веки и станем думать, что море и море похожи, как капля и капля воды. И что так стройно белеет на вершине горы? Не храм же в честь начала и конца купат, а мысль без просчета, красота без изъяна: Парфенон.

Шелапутов обнял разрушенную колонну, вслушиваясь лбом в шершавый мрамор. Внизу подтянуто раскинулся Акрополь, ниже и дальше с достоинством суетился порт Пирей, совсем далеко, за маревом морей, в кофейню вошли двенадцать человек, неотличимых один от другого. Кто такие? Должно быть, негоцианты, преуспевшие в торговле мускусом, имбирем и рабами, допировывающие очередную сделку. Но где уже видел их Шелапутов? Влюбленная прислуга сдвигала столы, тащила бутылки и снедь. Виктория — их, несомненно, но разве мало у них драхм, чтобы подкупить руку, смазавшую черты их лиц, воздвигшую больной жир животов, опасный для их счастливой жизни? Бр-р, однако, как они выглядят.

— Пошевеливайся, грек! — Но он уже идет с чашкой и медным сосудом, безупречно статный, как измышление Лисиппа, весело глядя на них всезнающими глазами.

— На, грек, выпей!

С любезным поклоном берет он стакан, пристально

разглядывает влагу, где что-то кишит и плодится, смеется дерзкими свежими зубами и говорит беспечно:

— Грязно ваше вино.

Больше он ничего не говорит, но они, беснуясь, слышат:

— Грязно ваше вино, блатные ублюдки. Проклятье тому, кто отпил его добровольно, горе тому, чью шею пригнули к нему. Этот — грек, тот — еще кто-нибудь, а вы — никто ниоткуда, много у вас владений, но родины — нет, потому что всё ваше — чужое, отнятое у других.

Так он молчит, ставит стакан на стол и уходит на свое место: путем великих Панафиней, через Пропилеи, мимо Эрехтейона — к Парфенону.

Прощай.

Какое-то указание или приглашение было Шелапутову, о котором он забыл, но которому следовал. Бодрым и деловым шагом, задушевно и мимолётно поглаживая живую шерсть встречных пальм, шел он вдоль темнеющих улиц к подмигивающему маяку неведомой дали. Вот юный дом с обветшалой штукатуркой, надобный этаж, дверь, бескорыстный звонок с проводами, не впадающими в электричество. Он постучал, подождал и вошел.

Мрак комнаты был битком набит запахом, затрудняющим дыхание и продвижение вперед, — иначе как бы пронюхал Шелапутов густоту благовонного смрада?

Повсюду, в горшках и ящиках, подрагивали и извивались балетно-неземные развратно-прекрасные цветы.

Лицом к их раструбам, спиной к Шелапутову стоял и сотрясался Пыркин, в упоении хлопотавший о близкой удаче.

Вот пала рука, и раздался вопль победы и муки.

Отдохнув, охладев к докучливой искушающей флоре, Пыркин отвернулся от загадочно глядящих неутолимых растений, увидел Шелапутова и прикрикнул на него с достоинством:

— Я на пенсии! Я развожу орхидеи!

— Ну-ну, — молча пожал плечами Шелапутов, — это мило.

Они двинулись к автобусу и потом к дому: впереди Шелапутов, сомкнувший за спиной руки, сзади — Пыркин, приглядывающий за его затылком.

Поднявшись к себе, Шеллапутов не закрыл дверь и стал ждать.

Вот — осторожно зазвенело в саду и вверх по лестнице. Шеллапутов обнял голову Собаки, припал к ней лицом и отстранился:

— Ешь.

В эту ночь Рыжий появился ненадолго: перекусил, наспех лизнул Шеллапутова, пискливо рывкнул на Собаку, в беспамятстве полежал на боку и умчался.

Важная нежная звезда настойчиво обращалась к Шеллапутову — но с чем? Всю жизнь разгадывает человек значение этой кристальной связи, и лишь в мгновение, следующее за последним мгновеньем, осеняет его ослепительный ответ, то совершенное знание, которым никому не дано поделиться с другим.

Шеллапутов проснулся, потому что пёс встал, по-военному насупив шерсть и мышцы, клокоча глубиною горла.

— Ты не ходи, — сказал Шеллапутов и толкнул дверь.

Что-то ссыпалось с лестницы, затрещало в кустах и затаилось. Шеллапутов без страха и интереса смотрел в темноту. Пёс всё же вышел и стал рядом. Выстрел, выстрел и выстрел наобум полыхнули по звезде небес. Эхо, эхо и эхо, оттолкнувшись от гор, лоб в лоб столкнулись с криком промахнувшегося неудачника:

— Все французы — жида! Свершают каттлею! Прячут беглых! Воруя фэйхоа!

— Не спится? — сказал Шеллапутов. — Ах, да, вы боитесь умереть во сне. Опасайтесь: я знаю хорошую колыбельную.

Утром оковеневший Шеллапутов ленился встать, да и не было у него дел покуда. В открытую дверь он увидел скромную кружевную франтоватость — исконную отраду земли, с которой он попытался разминуться: на железных перилах, увитых виноградом, на убитых тельцах уязвленной морозом хурмы лежала северная белизна. Обжигая ея пальчики, по ступеням поднималась мадам Одетта в премилейшей душегрейке. На пороге ей пришлось остановиться в смущении:

— Ах! Прошу прощения: вы еще не одеты и даже не вставали.

Галантный благовоспитанный Шеллапутов как раз был одет во все свои одежды и встал без промедления.

Мадам Одетта задумчиво озирала его голубою влагой, красиво расположенной вокруг бдительных черных зрачков, знающих мысль, которую ей трудно было выразить, — такую:

— Причина, побуждающая меня объясниться с вами, лежит в моем прошлом. (Голубизна увеличилась и пролилась на щеку.) Видите ли, в Пыркине, лишенном лоска и лишнего образования, есть своя тонкость. Его странные поездки в город (влага подсохла, а зрачки цепко вчитались в Шеллапутова) — это, в сущности, путешествие в мою сторону, преодоление враждебных символов, мешающих его власти надо мной. Он тяжело ревнует меня к покойному мужу — и справедливо. (Голубые ручки.) Но я хочу говорить о другом. (Шепот и торжество черного над голубым.) Будьте осторожны. Он никогда не спит, чтобы не умереть, и всё видит. Пыркин — опасный для вас человек.

— Но кто это — Пыркин? — совершенно растерявшись, спросил Шеллапутов и вдруг, страшно волнуясь, стал сбивчиво и словно нетрезво говорить: — Пыркин — это не здесь, это совсем другой. Клянусь вам, вы просто не знаете! Там, возле станции, холм, окаймленный соснами, и чудная церковь с витиеватыми куполами, один совсем золотой, и поле внизу, и домá на его другом берегу. Так вот, если идти к вершине кладбища не снизу, а сбоку, со стороны дороги, непременно увидишь забытую могилу, над которой ничего нет, только палка торчит из-под земли и на ней написано: „ПЫРКИН!“ Представляете? Какой неистребимый характер, какая живучесть! Ходить за водкой на станцию, надвигать кепку на шальные глаза, на этом же кладбище, в праздник, сидеть среди цветной яичной скорлупы, ощущать в полгчавшем теле радостную облегченность к драке, горланить песнь, пока не захрипит в горле слеза неодолимой печали, когда-нибудь нелепо погибнуть и послать наружу этот веселый вертикальный крик: „ПЫРКИН!“

— Врешь! — закричал невидимый однофамилец нездешнего Пыркина. — Это тот — другой кто-нибудь, вор, пьяница, бездельник с тремя судимостями! Всё спал, небось, налив глаза, — вот и умер, дурак!

Никто уже не стоял в проёме двери, не заслонял размороженный, нестерпимо сверкающий сад, а Шелапутов всё смотрел на заветный холм, столь им любимый и для него неизбежный.

Дождавшись часа, когда солнце, сделав всё возможное для отогревания этих садов, стало примеряться к беспристрастной заботе о других садах и народах, Шелапутов через калитку вышел на берег и увяз в мокрой гальке. Уже затрещинами и зуботычинами учило море непонятливую землю, но, как ей и подобает, никто по-прежнему ничего не понимал.

Из ничьего самшита, вырвавшегося на волю из чьей-то изгороди, лениво вышел Гиго в полосатом свитере, снова не имеющий занятия и намерения. Далеко сзади, закрыв лицо всей длиной руки, преломленной в прелестной кисти, обмакнутой в грядущую мыльную бесконечность, шла и не золотилась девочка Кетеван.

Солнце, перед тем как невозвратно уйти в тучу, ударило в бубен оранжевой шерсти, и Рыжий скрестил передние лапы на волчье-козьей темно-светлой шее. Сооружение из него и Ингурки упрочилось и застыло. Массовка доигрывала роль, сидя кругом и глядя. Вдали оцепеневшего хорова стоял и смотрел большой старый пёс.

— Плюнь, — сказал ему Шелапутов. — Пойдем.

Впереди был торчок скалы на отлогом берегу: еще кто-нибудь оглянулся, когда нельзя. Шелапутов провел ладонью по худому хребту — львиная шерсть поёжилась от ласки, и волна морщин прокатилась по шрамам и клеймам.

Сказал: — Жди меня здесь, а завтра — уедем, — и, не оглянувшись, пошел искать проводника.

Адрес был недалёкий, но Шелапутов далеко зашел в глубь расторопно стусившейся ночи, упираясь то в тупик чашобы, то в обрыв дороги над хладным форельным ручьем. Небо ничем не выдавало своего предполагаемого присутствия, и Шелапутов, обособленный от мироздания, мыкался внутри каменной безвоздушной темноты, словно в погасшем безвыходном лифте.

Засквозило избавлением, и сразу обнаружилось небо со звёздами и безукоризненной луной, чье созревание за

долгими тучами упустил из виду Шелапутов и теперь был поражен ее видом и значением. Прямо перед ним, на освещенном пригорке, стоял блюститель порядка во всеоружье и плакал навзрыд. Переждав первую жалость и уважение к его горю, Шелапутов, стыдясь, всё же обратился к нему за указанием — тот, не унимая лунных слез, движением руки объяснил: где.

Женщины, в черном с головы до ног, встретили Шелапутова на крыльце и ввели в дом. Он еще успел полюбоваться скорбным благородством их одеяний, независимых от пестроты нынешнего времени, и лишь потом заметил, как с легким шелковым треском порвалось его сердце, и это было не больно, а мятно-сладко. Старик, главный в доме, и другие мужчины стояли вокруг стола и окропляли вином хлеб. И Шелапутову дали вина и хлеба. Старик сказал:

— Выпей и ты за Алеко, — он пролил немного вина на хлеб, остальное выпил.

Как прохладно в груди, какое острое вино, как прекрасно добавлен к его вкусу вольно-озонный смолистый привкус. Уж не рецина ли это? Нет, это местное черное вино, а рецина золотится на свету и оскоминным золотом вяжет и услаждает рот. Но всё равно — здравствуй, Алеко. Мы всегда умираем прежде, чем они, их нож поспекает за нашей спиной, но их смерть будет страшнее, потому что велик их страх перед нею. Какие бедные, в сущности, люди. И не потому ли они так прожорливо дорожат своей нищей жизнью, что у нее безусловно не будет продолжения и никто не заплачет по ним от горя, а не от корысти?

Шелапутов выпил еще, хоть тревожно знал, что ему пора идти: ему померещилось, что трижды пошатнулась и погасла звезда.

— Так приходи завтра, если сможешь, — сказал старик на прощанье. — Я буду ждать тебя с твоею Собакой.

Не потратив нисколько времени, одним прыжком спешащего ума, Шелапутов достиг вздыбленного камня. Собаки не было там. Шелапутов не знал, где его Собака, где его лев, где он лежит на боку, предельно потянувшись, далеко разведя голову и окоченевшие лапы. Три пулевых раны и еще одна, уже лишняя и безразличная телу, чернеют при

ясной луне. По горлу и по бархатному свободному излишку шеи, надобному большой собаке лишь для того, чтобы с обожанием потрепала его рука человека, прошелся нож, уже не имевший понятной цели причинить смерть.

— Значит — четыре, — аккуратно сосчитал Шеллапутов. — Вот сколько маленьких усилий задолжал я гиенам, которые давно недоумевают: уж не враг ли я их, если принадлежащая им падаль до сих пор разводит орхидеи?

Зарницей по ту сторону глаз, мгновенным после-тоннельным светом, за которым прежде он охотился жизнь напролет, он вспомнил всё, что забыл в укрытии недуга. Оставалось лишь менять картины в волшебном фонаре. Селенье называлось: Свистуха, река Яхрома, неподалеку мертвая вода канала возлежала в бетонной усыпальнице. За стеной с гобеленом хворала необщительная хозяйка развалившейся дачи. Однажды она призвала его стуком, и он впервые вошел в ее комнату, весело глядящую в багрец и золото, октябрь, подводивший итог увяданья, солнечный и паутинный в том году. Старая красивая дама пылко смотрела на него, крепко прихватив пальцами кружева на ключицах. Он сразу увидал в ней величественную тень чего-то, большего, чем она, оставившую ее облику лишь узкую ущербную скобку желтенького света. Он был не готов к этому, это было так же просто и дико, как склонить к букварю прилежный бант и прочесть слово: смерть.

— Голубчик, — сказала она, — я видела тех, кто строил этот канал. Туда нельзя было ходить, но мы заблудились после пикника и нечаянно приблизились к недозволенному месту. Нас резко завернули, но мы были веселы от вина и от жизни и продолжали шутить и смеяться. И тогда я встретила взгляд человека, которого уже не было на свете, он уже вымостил собою дно канала, но вот стоял и брезгливо и высокомерно смотрел на меня. Столько лет прошло, клешни внутри меня намертво сомкнулись и дожирают мою жизнь. А он всё стоит и смотрит. Бедное дитя, вы тогда еще не родились, но я должна была сказать это кому-то. Ведь надо же ему на кого-то смотреть.

Всё это несправедливо показалось прежнему Шеллапутову: ведь он уже бежал в спасительные чудотворные рощи

и теперь ему надо было подаваться куда-то из безмятежных надмогильных лесов и отсиживаться в гобелене.

Время спустя Шелапутов или та, чей свитер был — его, плыл или плыла по каналу на развлекательном кораблике с музыкой и лампонами. Двенадцать спутников эффектной экскурсантки в обтяжном бархате и перезвоне серебряных цепочек — отвечали неграмотными любезностями на ее предрезкие словечки. Слагая допустимые колкости, она пригубляла вино, настоящее на жирных амёбах. И вдруг увидела, как из законной русалочьей сырости бледные лица глядят на нее брезгливо и высокомерно. Но почему не на тех, кого они видели в свой последний час, а на нее, разминувшуюся с ними во времени? Остальная компания с удовольствием смотрела на уютную дрессированную воду, на холодную лунную ночь, удачно совпавшую с теплом и светом внутри быстрокрылого гулящего судна.

Затем был этот недо-полёт через долину зала, врожденный недо-поступок, дамский подвиг упасть без чувств и натужное мужество без них обходиться. Не пелось певунье, не кувыркалось акробатке, и этот трюк воспалил интерес публики, всегда грезящей об умственной собственности. Каждой делательнице таргалеток любо наречь божеством того, кто прирученно ест их с ее ладони, втянув зубы, вытянув губы. Но Шелапутова ей не обвести вокруг пальца!

Он положил руку на пустоту, нечаянно ища большую голову Собаки с ложбиной меж вдумчивых надбровных всхолмий.

Ничто не может быть так холодно, как это.

Спущенный с тетивы в близкую цель, Шелапутов несся вдоль сокрушительного моря и споткнулся бы о помеху, если бы не свитер цвета верстового столба.

Гигο рыдал, катая голову по мокрым камням.

— Мать побила меня! Мать била Гигο и звала его сыном беды, идиотом. Мать кричала: если у Кетеван нет отца, пусть мой отец убьет меня. Отец заступался и плакал. Он сказал: теперь Алеко женится на ней. А она убежала из дома. Мать велела мне жить там, где живут бездомные собаки, и она вместе со всеми будет бросать в меня камни и не бросит хлеба.

Отвечая праздничной лёгкости Шелапутова, сиял перед ним его курортник, его крошечный Сен-Троpez, возжегший все огни, факелами обыскивающий темноту.

Навстречу ему бежала развевающаяся мадам Одетта. Добежала, потащила к губам его руки, цепляясь за него и крича:

— Спасите! Он заснул! Он умирает во сне!

Отряхнувшись от нее, Шелапутов вошел в дом и не спеша поднялся в спальню. На кровати, под перевернутым портретом, глядящим сквозь стену в шелапутовскую каморку, хрипел и кричал во сне Пыркин. Лицо его быстро увеличивалось и темнело от прибыли некрасивой крови, руки хватались за что-то, что не выдерживало тяжести и вместе с ним летело с обрыва в пучину.

Ружье отдыхало рядом, вновь готовое к услугам.

— Помогите! — рыдала мадам Одетта. — Ради того, которого над нами нет, — разбудите его! Вы можете это, я не верю, что вы так ужасно жестоки. — Она пала на колени, неприятно белея ими из-под распавшегося халата, и рассыпалась по полу саксонской фасолью, нестройными черепками грузного фарфора.

Маленький во фраке, головою вниз повисший со звезды, поднял хрустальную указку, и Шелапутов запел свою колыбельную. Это была невинная песенка, в чью снотворную силу твердо верил Шелапутов. От дремотного речитатива Пыркину заметно полегчало: рыщущие руки нашли искомый покой, истомленная грудь глубоко глотнула последнего воздуха и остановилась — на этом ее житейские обязанности кончались, и выдох был уже не ее заботой, а кого-то другого и высшего.

Прилично соответствуя грустным обстоятельствам, Шелапутов поднял к небу глаза и увидел, что маленький за-всегдай звезды, отшвырнув повелительную палочку, обнял луч и приник к нему плачущим телом.

Шелапутов накинулся на затихшего Пыркина: тряс его плечи, дул ему в рот, обегал ладонью левое предплечье, где что-то с готовностью проснулось и бодро защелкало. Он рабски вторил подсказке неведомого суфлёра и приговаривал:

— Не баю-бай, а бей и убей! Я всё перепутал, а вы поверили! Никакого отбоя! Труба зовет нас в бой! Смерть тому, кто заснул на посту!

Новорожденный Пыркин открыл безоружные глаза, не успевшие возыметь цвет и взгляд, и, быстро взрослея, строго спросил:

— Что происходит?

— Ничего нового, — доложил Шелапутов. — Деление на убийц и убиенных предрешено и непоправимо.

Опытным движением из нескольких слагаемых: низко уронить лоб, успеть подхватить его на лету, вновь подпереть макушкой сто шестьдесят пятый от грязного пола сантиметр пространства с колосниками наверху и укоризненной звездой в зените и спиной наобум без промаха пройти сквозь занавес — он поклонился, миновал стену и оказался в своей чужой и родной, как могила, комнате. А там уже прогуливался бархат в обтяжку, вправленный в цирковые сапожки со шпорами, переливалось серебро цепочек, глаза наследственно вели в ад, но другого и обратного содержания.

— Привет, кавалерист-девица Хамодурова! — сказал Шелапутов (Шеламотов? Шуралеенко?). — Не засиделись ли мы в Диоскурийском блаженстве? Не время ли вернуться под купол стадиона и пугать простодушную публику песенкой о том, что песенка спета? Никто не знает, что это — правда, что канат над темнотой перетерся, как и связки голоса, покрытые хриплыми узелками. И лишь за это — bravo и все предварительные глупые цветы. Ваш выход. Пора идти.

Так она и сделала.

Оставшийся живучий некто порыскал в небе, где при творно сияла несуществующая звезда, и пошел по лунной дорожке, которая — всего лишь отраженье отраженного света, видимость пути в невидимость за горизонтом, но ведь и сам опрометчивый путник — вздор, невесомость, призрачный неудачник, переживший свою Собаку и всё, без чего можно обойтись, но — зачем?

- с.15 *Шурале* (тат.) — леший.
- с.16 *Антокольский Павел Григорьевич* (1896 — 1978) — поэт, переводчик, эссеист.
- с.16 *Гасконский темперамент*. Гасконь — историческая область на юго-западе Франции.
- с.16 *Дэви (дэв)* — исполинское злое чудовище в грузинских легендах и сказках.
- с.16 *Симон* — Чиковани Симон Иванович (1902/1903 — 1966), грузинский поэт.
- с.17 *Казанова Джованни Джакомо* (1725 — 1798) — итальянский писатель и мемуарист, проживший бурную авантюрную жизнь.
- с.18 *Кахетинское яство*. Кахети (Кахетия) — историческая область в Восточной Грузии, в верховьях рек Иори и Алазани.
- с.21 *Махинджаури* — черноморский курорт в Аджарии.
- с.30 *Микадо* (япон.) — титул императора в Японии.
- с.48 Стихотворение впервые опубликовано под названием „Воспоминание о Сибири”.
- с.52 *Хазанов Геннадий Викторович* (р.1945) — артист эстрады.
- с.53 *Кинто* (груз.) — мелкие торговцы вразнос в старом Тбилиси, отличавшиеся плутовским нравом.
- с.53 *Духан* — небольшой ресторан, трактир.
- с.60 *Свети-Цховели* — построенный в начале XI в. кафедральный собор в Мцхета.
- с.60 *Мухета* — город в Восточной Грузии неподалеку от Тбилиси, у слияния рек Арагви и Куры. Древняя столица Картлийского царства (до конца V в.), затем церковно-религиозный центр.
- с.61 *Хаш (хаши)* — одно из древнейших кавказских блюд. Хаш называют „похмельным супом”.
- с.63 *Шпаликов Геннадий Федорович* (1937 — 1974) — кинодраматург, режиссер, поэт.
- с.66 *Катерина* — персонаж повести Н.В.Гоголя „Страшная месть” из „Вечеров на хуторе близ Диканьки” (1832 г.).
- с.71 *Ерофеев Венедикт Васильевич* (1938 — 1990) — прозаик, драматург.
- с.95 *Соломон* — царь Израильско-Иудейского царства в 965—928 гг. до н. э., сын Давида. Согласно преданию, славился необычайной мудростью.

- с.102 *Тамара (Тамар)* (около середины 60-х гг. XII в. — 1207) — грузинская царица. Во время ее правления Грузия достигла наибольшей военно-политической мощи и культурного расцвета.
- с.102 *Метехи* — замок-тюрьма на высоком отвесном берегу реки Куры в Тбилиси, ныне снесен; находился рядом с древним храмом Метехи (XIII в.).
- с.102 *Кура* — река в Закавказье, впадающая в Каспийское море; на ней стоит Тбилиси.
- с.102 *Арагва*. Арагви, — река в Грузии, левый приток Куры.
- с.102 *Алазанская долина* — равнина вдоль южного подножия Большого Кавказа. Орошается реками Алазани и Агричай.
- с.103 *Переделкинская осень*. Переделкино — писательский дачный посёлок под Москвой.
- с.103 *Лета* — в греческой мифологии река забвения в подземном царстве.
- с.104 *Иа* (груз.) — фиалка.
- с.105 *Сакартвело* (груз.) — Грузия.
- с.108 *Марина* — Марина Ивановна Цветаева (1892 — 1941), поэт, прозаик, мемуарист.
- с.109 *Гедике* Александр Федорович (1877 — 1957) — композитор, пианист, органист.
- с.115 *Мухетский храм* — Свети-Цховели (см. с. 60).
- с.117 *Осуджава Булат* Шалвович (р. 1924) — поэт, прозаик.
- с.119 *Ямб, хорей, амфибрахий, анапест, дактиль* — стихотворные метры.
- с.120 *Смирнов Андрей* Сергеевич (р. 1941) — кинорежиссер, драматург.
- с.130 Стихотворение впервые опубликовано под названием „Смерть Ахматовой”. Ахматова (Горенко) Анна Андреевна (1889 — 1966) — поэт, переводчик.
- с.130 *Елабуга* — город в Татарии на реке Каме. В августе 1941 г. сюда была эвакуирована М.И.Цветаева с сыном — Эм Георгием. 31 августа 1941 г. М.И.Цветаева покончила с собой.
- с.130 *Царскосельские сады*. Царское Село (с 1937 г. город Пушкин) — летняя загородная резиденция русских императоров, дворцово-парковый ансамбль XVIII — XIX вв. Тесно связано с русской поэзией, от А.С.Пушкина до поэтов „серебряного века”.
- с.136 *Корсакова Александра Николаевна* (1904 — 1990) — живописец, график, близкий друг В.Е.Татлина.
- с.138 *Муся, Ася* — сёстры Цветаевы: Марина Ивановна (см. с. 108) и Анастасия Ивановна (1894 — 1995) — прозаик, поэт, мемуарист.
- с.138 *Таруса* — город в Калужской области на берегу реки Оки.
- с.139 *Кавалерист-девица* — Надежда Андреевна Дурова (1783 — 1866), первая в России женщина-офицер, писательница.
- с.142 *Елабуга* — здесь имеется в виду не конкретный город (см. с. 130), а некое чудовище.
- с.143 Стихотворение впервые опубликовано под названием „История одного обеда”.

- с.147 *Мальмгрен* Финн (1895 — 1928) — шведский геофизик, участник океанографических и арктических экспедиций. Погиб во время экспедиции на дирижабле „Италия” к Северному полюсу.
- с.150 *Варфоломеевская ночь* — 24 августа 1572 г. в Париже в ночь под праздник Св. Варфоломея католики произвели массовую резню гугенотов. Варфоломеевская ночь приобрела нарицательное значение резни вообще.
- с.150 *Гинзбург* Евгения Семеновна (1906 — 1977) — писательница, автор книги воспоминаний „Крутой маршрут”. Мать писателя В.Аксёнова.
- с.152 *Гельсингфорс* — шведское название города Хельсинки.
- с.154 *Васильев* Юрий Васильевич (1925 — 1990) — живописец, скульптор, театральный художник.
- с.168 *Эдем* (библ.) — страна, где обитали Адам и Ева до грехопадения; синоним рая.
- с.174 Эпиграф — строка из стихотворения А.Ахматовой „Приморский сонет”.
- с.178 *Россельс Владимир Михайлович* (р. 1914) — переводчик, критик, литературовед. *Россельс Елена Юрьевна* (1916 — 1995) — переводчик. Жена В.М.Россельса.
- с.181 *Мессерер* Борис Асафович (р. 1933) — театральный художник, живописец, график. Муж Б.Ахмадулиной.
- с.182 *Сван* — герой цикла романов французского писателя Марселя Пруста „В поисках утраченного времени”.
- с.193 *Королев* Юрий Дмитриевич (1925 — 1994) — фотохудожник.
- с.194 *Маросейка, Варварка, Ордынка* — улицы в историческом центре Москвы.
- с.198 *Мандельштам Надежда Яковлевна* (1899 — 1980) — мемуарист. Жена поэта О. Э. Мандельштама.
- с.199 *Арсеньева* (урожд. *Столыпина*) Елизавета Алексеевна (1773 — 1845) — бабушка М.Ю.Лермонтова со стороны матери, воспитавшая его и ставшая на всю жизнь самым близким ему человеком.
- с.200 *Васильчиков* Александр Илларионович (1818 — 1881) и *Глебов* Михаил Павлович (1819 — 1847) — секунданты на дуэли М.Ю.Лермонтова с Н.С.Мартыновым.
- с.200 *Монго* — прозвище Алексея Аркадьевича Столыпина (1816 — 1858), двоюродного дяди, однополчанина и друга М.Ю.Лермонтова, героя его шуточной поэмы „Монго” (1836 г.).
- с.200 *Шан-Гирей* Аким Павлович (1818 — 1883) — троюродный брат и близкий друг М.Ю.Лермонтова.
- с.212 *Сорочь* — река в Михайловском, псковском имении Пушкиных.
- с.212 *Марина* и *Анна* — М.Цветаева (см. с.108) и А.Ахматова (см. с.130).
- с.217 *Оспедалетти* — средиземноморский курорт в Италии, недалеко от Сан-Ремо.
- с.221 *Собаньская* (урожд. графиня *Ржевуская*) *Каролина*-Розалия-Текла Адамовна (1794? — 1885) — дочь киевского губернского предводителя дворянства графа А.С.Ржевуского. Будучи замужем за И.Собаньским,

находилась в почти официальной связи с графом Иваном Осиповичем *Виттом* (1781 – 1840), генерал-лейтенантом, начальником военных поселений в Новороссии. Собаньская познакомилась с А.С.Пушкиным в 1821 г. в Киеве, встречались они и позднее – в Одессе (июль 1823 – июль 1824) и в Петербурге.

с.224 *Лаура, Беатриче, Керн* – адресаты любовной лирики Ф.Петрарки, Данте Алигьери и А.С.Пушкина соответственно.

с.224 *Болдинская аллея*. Болдино – нижегородское имение Пушкиных, где поэт провел знаменитую Болдинскую осень 1830 г.

с.225 *Пушин* Иван Иванович (1798 – 1859) – лицейский товарищ А.С.Пушкина, один из самых близких его друзей.

с.232 *Великий афр* – Ганнибал Абрам (Ибрагим) Петрович (1688 – 1781), сын эфиопского князя, камердинер Петра I, генерал-аншеф, прадед А.С.Пушкина.

с.240 *Цветастый азиатский храм* – Собор Покрова „что на рву” (храм Василия Блаженного) на Красной площади в Москве был сооружен в честь взятия Казани Иваном Грозным.

с.246 *Вознесенский Андрей* Андреевич (р. 1933) – поэт.

с.247 *Плевен (Плевна)* – город в Болгарии, за который шли упорные бои во время русско-турецкой войны 1877–1878 гг.

с.247 *Маросейка, Покровка* – улицы в историческом центре Москвы.

с.247 *Яуза* – река, левый приток реки Москвы.

с.248 *Менделеев* Дмитрий Иванович (1834 – 1907) – ученый-химик.

с.248 *Аргентум* (лат.) – серебро.

с.248 *Аурум* (лат.) – золото.

с.250 *Неруда Пабло* (Нефтали Рикардо Рейес Басоальто) (1904 – 1973) – чилийский поэт, дипломат. Автор стихотворения „Погодите, хочу поцеловать на прощанье...”, обращенного к Б. Ахмадулиной.

с.251 *Каландадзе Анна* Павловна (р. 1924) – грузинская поэтесса. В переводах Б. Ахмадулиной издана ее книга „Летите, листья” (Тбилиси: Заря Востока, 1959).

с.252 *Хашная* – небольшой ресторан, трактир, где подают хаши.

с.252 *Галактион* – Табидзе Галактион Васильевич (1892 – 1959), грузинский поэт.

с.253 *Маргвелашвили Гия* (Георгий Георгиевич) (1923 – 1989) – грузинский критик, литературовед, переводчик.

с.254 *Терек* – река на Северном Кавказе, впадающая в Каспийское море.

с.254 *Шота* – Шота Руставели, грузинский поэт XII в., автор поэмы „Витязь в тигровой шкуре”.

с.254 *Важа* – Важа Пшавела (Лука Павлович Разикашвили) (1861 – 1915), грузинский поэт.

с.254 *Ушба* – двуглавая труднодоступная горная вершина в Верхней Сванетии, с ней связано много легенд.

с.254 *Гмерто* (груз.) – Бог, Боже (как обращение).

с.256 *Гия и Шура* – Г. Маргвелашвили и А. Цыбулевский. Цыбулевский Александр Семенович (1928 – 1975) – поэт, прозаик, литературовед.

- с.258 Сёстры Елена, Евгения и Мария Фабиановны Гнесины в 1895 г. основали музыкальную школу в Москве.
- с.258 *Порфиросный* – носящий порфиру – длинную пурпуровую мантию; царственный.
- с.264 *Судакевич Анель* Алексеевна (р. 1906) – актриса немого кино, художник по костюмам. Мать Б. А. Мессерера.
- с.266 *Вергилий* Марон Публий (70 – 19 до н. э.) – римский поэт. В „Божественной комедии” Данте Вергилий (символ земного разума) руководит странствием поэта по аду и чистилищу.
- с.266 *Голгофа* – холм в окрестностях Иерусалима, на котором, по христианскому преданию, был распят Иисус Христос.
- с.273 *Елисеевы* – владельцы фирмы, державшей в Петербурге, Москве и Киеве магазины по торговле винами и колониальными товарами. С 1892 г. единоличным владельцем фирмы стал Г.Г.Елисеев (1858 – 1942), открывший так называемые „елисеевские” магазины.
- с.273 *Серезжа* – Эфрон Сергей Яковлевич (1893 – 1941), литератор, муж М. И. Цветаевой.
- с.276 *Кушнер Александр* Семенович (р. 1936) – поэт.
- с.276 *Гагра* – город-курорт в Абхазии на берегу Черного моря.
- с.278 *Нейгауз Генрих* Густавович (1888 – 1964) – пианист, педагог.
- с.280 *Нейгауз Станислав* Генрихович (1927 – 1980) – пианист, педагог.
- с.281 „*Вестник Европы*” – журнал, основанный Н. М. Карамзиным. Выходил в Москве с 1802 по 1830 г.
- с.284 *Опочка* – город-крепость на реке Великая (Псковская обл.).
- с.284 *Тверь* – один из политических и культурных центров Руси.
- с.288 *Липецк* – город на реке Воронеж. Возник на месте поселения при заводах по выплавке чугуна и стали и производству пушек, построенных по указанию Петра I.
- с.289 *Чхладзе Отар* Иванович (р. 1933) – грузинский поэт, прозаик.
- с.289 *Чхладзе Тамар* Иванович (р. 1931) – грузинский поэт, прозаик.
- с.289 *Тициан* – Табидзе Тициан Юстинович (1895 – 1937), грузинский поэт.
- с.289 *Мацони* (груз.) – специальным образом приготовленное кислое молоко.
- с.289 *Мацонищик* – продавец мацони.
- с.289 *Хабазы* (груз.) – пекарь.
- с.289 *Пифросманишвили Николоз* (*Нико Пифросмани*) (1862? – 1918) – грузинский художник-самоучка.
- с.290 Эпиграф – начальная строка стихотворения О.Мандельштама.
- с.291 *Искандер Фазиль* Абдулович (р. 1929) – поэт, прозаик.
- с.293 *Убыхи* – народ, родственный по языку, культуре и быту абхазам и адыгам. До 1864 г. жили на Кавказском побережье Черного моря, затем переселились в Турцию, где постепенно ассимилировались турецким населением.
- с.294 *Эшеры* (*Эшера*) – селение в Абхазии, недалеко от Сухуми.
- с.295 *Чернышёва Антонина* Александровна (р. 1922) – художник. Жена Ю. Д. Королёва.
- с.296 *Дадашидзе Илья* Юрьевич (р. 1942) – поэт, переводчик.

- с.296 *Эдисон*, Томас Алва (1847 – 1931) – американский изобретатель.
- с.299 *Октября девятнадцатый день* – день открытия Царскосельского лицея, ежегодно отмечавшийся его выпускниками.
- с.299 *Кюхля* – Кюхельбекер Вильгельм Карлович (1797 – 1846), поэт, декабрист, друг А.С.Пушкина.
- с.308 „*Могильщик*“, „*Я и ночь*“ – стихотворения Г.Табидзе.
- с.316 *Цинандалы* – селение в Кахетии, в прошлом имение князей Чавчавадзе.
- с.318 *Шиндисы* – село близ города Гори.
- с.321 *Амиран* (*Амирани*) – герой народного эпоса Древней Грузии, родствен мифу о Прометее; символ свободы Грузии.
- с.322 *Арсен* Одзелашвили – народный герой, предводитель крестьянского восстания (первая половина XIX в.) в Восточной Грузии, герой романа М. Джавахишвили „Арсен из Марабды“.
- с.323 *Мухрани* – плодородная долина в Картли (Восточная Грузия). Так же называется селение, где сохранились развалины крепости, построенной в XVI в.
- с.323 *Марани* (груз.) – винный погреб, хранилище для вина.
- с.323 *Алавердоба* (груз.) – традиционный храмовый праздник, ежегодно отмечаемый 26 сентября в старинном храме Алаверды, построенном в X в. в Кахетии. Позднее превратился в народный праздник урожая, благодарения земле.
- с.327 *Казбек* – горная вершина в центральной части Большого Кавказа.
- с.328 *Паоло и Тициан* – грузинские поэты Паоло Джибраэлович Яшвили (1895 – 1937) и Тициан Юстинович Табидзе (1895 – 1937).
- с.329 *Каин* (библ.) – старший сын Адама и Евы, убивший своего брата Авеля.
- с.333 *Отвес скалы Дарьяльской*. Дарьял – ущелье в долине реки Терек.
- с.333 *Эльбрус* – высочайшая вершина Большого Кавказа.
- с.334 *Картли* (*Карталиния*) – область в Восточной Грузии с центром в Тбилиси.
- с.334 *Ткемали* (алыча) – плодородное дерево рода сливы.
- с.335 *Риони* – река в Грузии, впадающая в Черное море.
- с.346 *Алгетский камень* – туф, добываемый в селе Алгети.
- с.352 *Атэни* – село вблизи города Гори со знаменитым храмом. Одноименное ущелье на правом берегу реки Кура.
- с.353 *Грэми* – ныне селение в Кахетии, с развалинами древних зданий. Одно время Грэми был столицей Кахетии.
- с.353 *Теймураз I* (1589 – 1663) – кахетинский царь и поэт.
- с.354 *Верийские красоты*. Вера – старый район Тбилиси, где находилась шелкоткацкая фабрика.
- с.355 *Тута* (*тут*) – шелковичное дерево, шелковица.
- с.356 *Тонэ* – особого вида печь для выпечки грузинского хлеба.
- с.358 *Або* Тбилели (VIII в.) – христианский мученик (араб по национальности), сожженный арабскими захватчиками. В Метехской скале есть углубление, где был развеян его пепел.

- с.358 *Махатская гора* стоит на левом берегу Куры, напротив Мтацминды.
- с.359 *Йори (Иори)* — река в Восточной Грузии.
- с.359 *Исани* — старинный район Тбилиси на левом берегу Куры, там находится дворец грузинских царей.
- с.360 *Телети и Цхнети* — две противоположные (восточная и западная) стороны Тбилиси.
- с.360 *Кумиси и Лиси* — озёра на разных окраинах Тбилиси и одноименные сёла.
- с.360 *Мтацминда* (буквально: „Святая гора”) — гора в Тбилиси на правом берегу Куры, где находится монастырь Святого Давида, а также Пантеон выдающихся общественных деятелей и деятелей культуры Грузии.
- с.360 *Махата* — Махатская гора (см. с. 358).
- с.360 *Гомборская гора* — в Кахетии, восточнее Тбилиси.
- с.362 *Сванетия* — горная область Грузии.
- с.362 *Горваши* — перевал и ущелье в Сванетии.
- с.363 *Ушгул (Ушгули)* — селение в Верхней Сванетии.
- с.364 *Дворчье* (Месопотамия) — область в среднем и нижнем течении рек Тигр и Евфрат в Западной Азии. Один из древнейших очагов цивилизации.
- с.366 Число „девять” считается в Грузии магическим (девять дорог, девять гор, девять корней и т. д.). *Девять дубов* — символ непоколебимости, силы, долговечности народа.
- с.366 *Квеври* — врытый в землю большой глиняный кувшин для хранения вина.
- с.366 *„Лилео” („Лиле”)* — сванский языческий гимн солнцу, хоровая песня.
- с.366 *Девять плит Марабды* — девять могил братьев Херхеулидзе, героически погибших в битве при Марабде (1624).
- с.368 *Чинар (чинара)* — дерево из рода платан.
- с.370 *Сигнахи* — город в Кахетии (Восточная Грузия).
- с.371 *Маджари* (груз.) — молодое вино.
- с.373 *Орбелиани* Григол (1804—1883) — грузинский поэт-романтик.
- с.373 *Ярли* (из рода Шаншиашвили) — последний придворный поэт грузинских царей, друг Гр. Орбелиани.
- с.373 *Саламури* (груз.) — свирель.
- с.373 *„Тергдалеули”* (груз.) — дословно: „испивший воды Терека”. Так называли грузинских шестидесятников, получивших образование в России и приобщившихся к революционно-демократическим идеям.
- с.380 *Доли, дудуки* (груз.) — музыкальные инструменты.
- с.381 *Леонидзе* Гогла (Георгий Николаевич) (1899 — 1966) — грузинский поэт.
- с.381 *Мцъри* — герой одноименной поэмы М. Ю. Лермонтова, написанной в 1839 г.; герой-борец, протестующий против насилия над личностью.
- с.384 *Манави* — место, где произрастает знаменитый сорт винограда.
- с.384 *Ркацители* — сорт винограда.

- с.386 *Арагвинцы* – отряд из 300 грузин-горцев 11 сентября 1795 г. прикрывал отступление уцелевших воинов Ираклия II от войска персидского шаха Ага-Мохаммед-хана. Все арагвинцы героически погибли, не отступив ни на шаг.
- с.387 *Алазани* – река в Закавказье, левый приток Куры.
- с.388 *Междуречье* – Месопотамская низменность в Западной Азии, по которой протекают реки *Тигр и Евфрат*.
- с.388 *Урарту* – древнее государство IX – VI вв. до н.э. на территории Армянского нагорья.
- с.388 *Шумерийских и хеттских границ*. Шумер – древняя страна в Южном Двуречье, на территории которой около 3000 г. до н.э. начали образовываться города-государства шумеров. Хеттское царство – государство в Малой Азии в XVIII – начале XII в. до н. э., охватывавшее обширную территорию.
- с.388 *Халдея* (Нововавилонское царство) – название Вавилонии в 626–538 гг. до н. э. По имени семитического племени халдеев, установивших в ней свою власть.
- с.390 *Хвамли* – гора недалеко от Кутаиси.
- с.390 *Элада* (греч.) – Греция.
- с.390 „*Эмпайр стейт билдинг*” – небоскрёб в Нью-Йорке, долгое время был самым высоким зданием в мире.
- с.390 *Гудзон* – река в США, в устье которой расположен город Нью-Йорк.
- с.390 *Гент* – портовый город в Бельгии.
- с.390 *Родос* – остров в Эгейском море, у побережья Малой Азии.
- с.394 *Шхелда* – горный массив в центральной части Большого Кавказа, к юго-востоку от Эльбруса. Имеет 5 вершин.
- с.395 *Кумран* – район на западном побережье Мёртвого моря, где в пещерах были найдены рукописи на древнееврейском, арамейском и других древних языках.
- с.395 *Армази* – город-крепость на правом берегу Куры, высоко на горе, преграждавший подступы к Мцхете с востока и с юга; древнейший населенный пункт Грузии.
- с.395 *Ванские пещеры*. Вани – городище эпохи Колхидского царства.
- с.395 *Колхида* – древнегреческое название Западной Грузии. В VI в. до н. э. здесь возникли греческие колонии. В VI – II вв. до н.э. существовало Колхидское царство.
- с.399 „*Макрули*” – свадебная песня.
- с.402 *Турман Торели* – персонаж исторической эпопеи Г.Абашидзе.
- с.403 *Святой Георгий* – один из популярнейших святых в Грузии, считающийся покровителем охотников.
- с.404 *Кошуэта (Кошэти)* – церковная постройка в Тбилиси, памятник древнегрузинского зодчества.
- с.405 *Амилахвари* Александр Дмитриевич (1750 – 1802) – грузинский литератор-просветитель.
- с.406 *Мравалжамьер* (груз.) – буквально: „многие лета”. Название древней грузинской песни.

- с.409 *Тетнульди* – вершина в центральной части Большого Кавказа.
- с.409 *Мерани* – сказочный крылатый конь; „Мерани” – знаменитое стихотворение Н.Бараташвили.
- с.409 *Алуда, Лела* – герои поэм Важа Пшавелы.
- с.409 *Отисэ* – герой романа Александра Казбеги.
- с.410 *Ошки* – грузинский средневековый монастырь (ныне на территории Турции), один из культурных центров феодальной Грузии.
- с.410 *Зарзма* – архитектурный комплекс в Южной Грузии, значительный памятник средневекового грузинского зодчества.
- с.410 *Тао* – Тао-Кларджетское княжество, феодальное государство в юго-западной Грузии, возникшее в начале IX в. В 80-х гг. X в. объединило всю Грузию.
- с.411 *Иракий II* (1720 – 1798) – грузинский царь, выдающийся полководец и государственный деятель.
- с.412 *Гурия* – область в Западной Грузии.
- с.412 *Каланда* – праздник Нового года в Гурии.
- с.412 *Чичилаки* (груз.) – ствол дерева с подструганной и висящей лентами корой, украшен звездой, свечой и лакомствами; нечто вроде новогодней ёлки.
- с.422 *Кавкасиони* – грузинское название Кавказского хребта.
- с.425 *Чиамария* (груз.) – божья коровка.
- с.425 *Цицишвили* Иракий Николаевич (р. 1918) – Герой Советского Союза.
- с.426 *Никора* – кличка быка, ставшая нарицательной.
- с.429 „*Деда-эна*” (груз.) – “Родная речь”.
- с.429 „*Аи нарғизи, аи иа*” (груз.) – „Вот нарцисс, вот фиалка”. Первые слова в грузинском букваре.
- с.431 *Асатиани Лад* (Владимир Мекиевич) (1917 – 1943) – грузинский поэт.
- с.431 *Никала* – краткая форма имени Николоз. Имеется в виду художник Н.Пиросманишвили (см. с. 290).
- с.436 *Просви́рник* (мальва) – травянистое растение.
- с.436 *Узундара* – восточный женский танец.
- с.437 *Байрам* – два больших праздника у мусульман: Кучук-Байрам и Курбан-Байрам.
- с.443 *Мидия* – Мидийское царство, государство в северо-западной части Иранского нагорья, существовавшее с 70-х гг. VII до середины VI в. до н. э.
- с.444 *Шиомгвими* – селение, где сохранились развалины древнего монастыря.
- с.445 *Бетания* – монастырь (в 18 км от Тбилиси) с известным храмом, выдающимся памятником грузинской архитектуры XII в.
- с.446 *Губазели* – река в Западной Грузии, левый приток реки Супса.
- с.447 *Зедзени* – монастырь на горе, на границе Кахети и Картли, основанный в VI в.; также называется лесистая гора на Сагурамском хребте.
- с.448 *Имеретия* – область в Западной Грузии.

- с.451 *Дзевви* – город в 15 км к западу от Тбилиси на реке Куре.
- с.454 *Самшвилде* – развалины одного из древнейших городов Грузии, расположенного у слияния рек Храма и Чивчиви и бывшего юго-западным форпостом Тбилиси.
- с.455 *Влтава* – река в Чехии, левый приток реки Эльбы; на Влтаве стоит Прага.
- с.455 *Карлов мост (Мост короля Карла)* – самый старый, наиболее известный и красивый мост через Влтаву в Праге.
- с.455 *Остров Кампа* – красивейший из семи островов на Влтаве в пределах Праги.
- с.455 *Гус Ян (1371 – 1415)* – идеолог чешской Реформации, национальный герой Чехии.
- с.456 *Жижка Ян (ок. 1360 – 1424)* – полководец, национальный герой Чехии.
- с.457 Остров Кампа отделен от берега узким рукавом Влтавы – Чертовкой. К реке вплотную подступают дома, поэтому район Чертовки часто называют *Пражской Венецией*.
- с.459 *Злата улочка* в Пражском кремле возникла в конце XVI в.
- с.459 *Лорета* – монастырский комплекс на Градчанах, построенный в XVII – начале XVIII в.; в прошлом известное место паломничества.
- с.459 *Далибор* – легендарный рыцарь из Козоед, первый узник одной из башен Пражского кремля, построенной в XV в. Согласно легенде, Далибор хорошо играл на скрипке, и пражане собирались у подножия башни, чтобы послушать его игру. После казни Далибора в 1498 г. башня получила его имя – Далиборка.
- с.460 *Градчаны* – исторический центр Праги, включающий Пражский кремль и прилегающие к нему кварталы; наиболее интересный архитектурный комплекс города.
- с.461 *Собор Святого Вита* в Пражском кремле – один из выдающихся памятников европейской готики.
- с.463 *Фучик Юлиус (1903 – 1943)* – журналист, общественный деятель.
- с.466 *Проспект Руставели* – центральная улица Тбилиси.
- с.467 *Пан* – в древнегреческой мифологии божество стад, лесов и полей.
- с.510 *Петергоф* – загородная резиденция российских императоров под Санкт-Петербургом. Дворцово-парковый ансамбль XVIII–XIX вв.
- с.526 *Ящик Пандоры* (перенос.) – источник всяких бедствий.
- с.529 *Бичвинта* (груз.) – Пицунда (абхаз.).
- с.537 Рассказ „На сибирских дорогах” впервые опубликован в журнале „Юность” (1963, № 12).
- с.567 *Тагарская культура* (археол.) – остатки поселений, рудников, курганы, относящиеся к бронзовому веку (VII – VIII вв. до н. э.) в бассейне верхнего и среднего Енисея.
- с.569 Рассказ „Бабушка” впервые опубликован в журнале „Октябрь” (1988, № 3).
- с.582 Рассказ „Много собак и Собака” впервые опубликован в альманахе „МетрОполь” (Москва, 1979).

- с.582 *Аксёнов Василий Павлович* (р. 1932) — писатель.
- с.582 *Диоскурийское побережье*. Диоскурия — античный город в древней Колхиде на Черноморском побережье, в районе нынешнего Сухуми, затопленный впоследствии морем.
- с.584 *Веймар* — город в Германии, во 2-й половине XVIII — начале XIX в. крупнейший центр германского Просвещения, здесь жили И.В.Гёте и Ф.Шиллер.
- с.584 *Pferdchen* (нем.) — лошадка, конёк.
- с.586 *Жанна д'Арк, Орлеанская дева* (ок.1412 — 1431) — национальная героиня Франции, возглавившая борьбу французского народа против английских захватчиков.
- с.587 *Фейхоа* — субтропический цитрусовый плод.
- с.599 *Парфенон* — храм Афины Парфенос на Акрополе в Афинах, памятник древнегреческой высокой классики.
- с.599 *Флёрдоранж* — белые цветы померанцевого дерева, в ряде стран — принадлежность свадебного убора невесты.
- с.599 *Ницца* — курорт и центр туризма во Франции на берегу Средиземного моря.
- с.600 *Контора Кука* (перенос.) — экскурсионно-туристическое агентство, бюро путешествий. По имени Томаса Кука (1808 — 1892), основателя крупнейшего агентства всемирных путешествий.
- с.601 *Нике (Ника)* — в греческой мифологии персонификация победы, часто эпитет богини Афины. *Самофракийская Ника* — самое известное скульптурное изображение Ники, выполненное около 190 г. до н.э. (хранится в парижском Лувре).
- с.601 *Акрополь* — возвышенная и укрепленная часть древнегреческого города, крепость. Наиболее известен Афинский Акрополь.
- с.601 *Лисипп* (2-я половина IV в. до н.э.) — древнегреческий скульптор.
- с.602 *Панафинеи* — в древней Аттике празднества в честь богини Афины.
- с.602 *Пропилеи* в Афинах — парадный вход на Акрополь. Пропилеи — архитектурное обрамление парадного прохода или проезда симметричными портиками и колоннадами.
- с.602 *Эрехтейон* — храм Афины и Посейдона-Эрехтея на Акрополе в Афинах, памятник древнегреческой архитектуры.
- с.606 *Рецина* — греческое виноградное вино, ароматизированное смолой.
- с.607 *Свистуха* — деревня на реке Яхроме, бывшее имение художника-передвижника С.В.Иванова.
- с.607 *Яхрома* — река в Московской области, правый приток реки Сестры; частично включена в систему канала имени Москвы (до 1947 г. канал Москва — Волга).
- с.609 *Сен-Троpez* — средиземноморский курорт во Франции.

О.Грушников

СОДЕРЖАНИЕ

От составителей	5
---------------------------	---

СТИХОТВОРЕНИЯ. 1954 — 1979

Новая тетрадь	9
„Дождь в лицо и ключицы...”	10
Цветы	11
Невеста	12
„Мне скакать, мне в степи озираться...”	14
Павлу Антокольскому	16
Грузинских женщин имена	19
„Смеясь, ликуя и бунтуя...”	21
„Вот звук дождя как будто звук домбры...”	22
„О, еще с тобой случится...”	24
„Не уделяй мне много времени...”	26
Снегурочка	27
Мазурка Шопена	28
Лунатики	29
„Живут на улице Песчаной...”	30
Август	32
„По улице моей который год...”	33
„В тот месяц май, в тот месяц мой...”	35
Нежность	36
Несмеяна	38
Мотороллер	40
Автомат с газированной водой	42
Твой дом	44
„Опять в природе перемена...”	46
„Нас одурачил нынешний сентябрь...”	47
„Ты говоришь — не надо плакать...”	48
„Влечет меня старинный слог...”	50
Светофоры	52
Чужое ремесло	53
Пятнадцать мальчиков	55
„Я думала, что ты мой враг...”	57

„Жилось мне весело и шибко...”	58
„Чем отличаюсь я от женщины с цветком...”	59
Сны о Грузии	60
Спать	61
Свеча	63
Апрель	64
„Мы расстаемся — и одновременно...”	65
Магнитофон	66
В метро на остановке „Сокол”	68
Прощание	70
„Кто знает — вечность или миг...”	71
Пейзаж	72
Декабрь	73
Зимний день	75
„Жила в позоре окаянном...”	77
„О, мой застенчивый герой...”	78
„Смотрю на женщин, как смотрели встарь...”	80
„Так и живем — напрасно маясь...”	81
„Из глубины моих невзгод...”	83
Женщины	84
Зима	86
Болезнь	88
Воскресный день	90
Вступление в простуду	93
Маленькие самолеты	95
Осень	97
Памяти Бориса Пастернака	98
„Когда б спросили... — некому спросить...”	103
Симону Чиковани	104
Сон	106
Уроки музыки	108
„Случилось так, что двадцати семи...”	110
В опустевшем доме отдыха	112
Тоска по Лермонтову	114
Зимняя замкнутость	117
Ночь	120
„Последний день живу я в странном доме ...”	122
Слово	123
Немота	125
Другое	127
Сумерки	128
„Четверть века, Марина, тому...”	130
Плохая весна	132
„Весной, весной, в ее начале...”	136
Биографическая справка	138
Клянусь	141

Описание обеда	143
„Я думаю: как я была глупа...”	146
„Так дурно жить, как я вчера жила...”	148
Варфоломеевская ночь	150
„В том времени, где и злодей...”	152
Гостить у художника	154
Дождь и сад	157
„Зима на юге. Далеко зашло...”	159
Молитва	161
Снегопад	163
Метель	165
„Мне вспоминать сподручней, чем иметь...”	166
Описание ночи	168
Описание боли в солнечном сплетении	170
Не писать о грозе	172
Строка	174
Семья и быт	175
Заклинание	177
Это я...	178
Рисунок	181
„Прощай! Прощай! Со лба сотру...”	182
Воспоминание о Ялте	184
Пререкание с Крымом	186
„Предутренний час драгоценный...”	188
Подражание	190
„Однажды, покачнувшись на краю...”	192
„Собрались, завели разговор...”	193
„В той тоске, на какую способен...”	195
Песенка для Булата	197
Медлительность	198
„Глубокий нежный сад, впадающий в Оку...”	199
Лермонтов и дитя	200
„Что за мгновенье! Родное дитя...”	202
Взойти на сцену	204
„Так, значит, как вы делаете, други?..”	206
„Ни слова о любви! Но я о ней ни слова...”	207
Дом и лес	208
„Сад еще не облетал...”	210
„Бьют часы, возвестившие осень...”	212
„Опять сентябрь, как тьму времён назад...”	213
Ночь перед выступлением	215
Снимок	217
„Я вас люблю, красавицы столетий...”	219
Отрывок из маленькой поэмы о Пушкине	221
„Теперь о тех, чьи детские портреты...”	223
Ожидание ёлки	225

„Прохожий, мальчик, что ты? Мимо...”	227
„Как никогда, беспечна и добра...”	228
Дом	229
„Потом я вспомню, что была жива...”	233
„Завидна мне извечная привычка...”	234
Чужая машинка	235
Два гепарда	236
„Я завидую ей – молодой...”	237
„Пришла. Стоит. Ей восемнадцать лет...”	239
Воспоминание	240
„Какое блаженство, что блещут снегá...”	242
Февраль без снега	243
„За что мне всё это? Февральской теплыни подарки...”	246
Памяти Лены Д.	247
„Стихотворения чудный театр...”	249
Запоздалый ответ Пабло Неруде	250
Анне Каландадзе	251
„Я столько раз была мертва...”	253
„Помню – как вижу, зрочки затемню...”	254
„Я знаю, всё будет: архивы, таблицы...”	256
Москва ночью при снегопаде	257
„Я школу Гнесиных люблю...”	258
Луна в Тарусе	261
“Деревни Бёхово крестьянин...”	263
Путник	264
Приметы мастерской	266
„Вот не такой, как двадцать лет назад...”	268
Таруса	270
Путешествие	274
Роза	276
Памяти Генриха Нейгауза	278
Переделкино после разлуки	280
Письмо Булату из Калифорнии	281
Шуточное послание к другу	283
Ленинград	284
„Не добела раскалена...”	286
Возвращение из Ленинграда	287
„Петра там нет. Не эту же великость...”	288
Тифлис	289
„То снился он тебе, а ныне ты – ему...”	290
Гагра: кафе „Лица”	291
„Пришелец, этих мест название: курорт...”	292
„Как холодно в Эшери и как строго...”	294
Бабочка	295
„Смеркается в пятом часу, а к пяти...”	296
„Мы начали вместе: рабочие, я и зима...”	298

<i>Николоз Бараташвили</i>	
Мерани	303
<i>Галактион Табидзе</i>	
Персиковое дерево	305
Мери	307
Снег	309
Тебе тринадцать лет	311
Скорее — знамёна!	312
Орлы уснули	313
Поэзия — прежде всего	315
Натэла из Цинандали	316
Он и она	317
Платаны Шиндиси	318
Из рассказанного луной... ..	320
„Всё желтое становится желтей...”	322
<i>Тициан Табидзе</i>	
„Брат мой, для пенья пришли, не для распрей...”	323
„Слова ни разу я не обронил...”	325
Так же просто, как в Мухрани	327
<i>Георгий Леонидзе</i>	
Мой Паоло и мой Тициан	328
„Чего еще ты ждешь и хочешь, время?”	329
„Как в каспийской воде изнывает лосось...”	330
Эта роза	331
Фреска Ангела	332
„Я видел с выси сумрачные свитки...”	333
На рассвете приходит молочница	334
<i>Симон Чиковани</i>	
Морская раковина	335
Начало	336
Три стихотворения о Серафите:	
Раздумья о Серафите	338
Зову Серафиту	340
Гранатовое дерево у гробницы Серафиты	342
Осколки глиняной чаши	344
Сказанное во время бомбежки	346
Быки	348
Олени на гумне	350
Анания	352
Гремская колокольня	353
Прекратим эти речи на миг... ..	354
На набережной	356
Метехи	358
„Две округлых улыбки — Телети и Цхнети...”	360

По пути в Сванетию	362
Задуманное поведай облакам	364
Деять дубов	366
От этого порога.....	368
В Сигнахи, на горе	370
<i>Карло Каладзе</i>	
„Летит с небес плетеная корзина...”	371
„Когда расцеловал я влагу...”	372
„Я повторю: „Бежит, грохочет Терек” ...”	373
„Быть может, всё это и впрямь сновиденье...”	375
„С гор и холмов, ни в чем не виноватых...”	377
„Эти склоны одела трава...”	379
„На берегу то ль ночи, то ли дня...”	380
На смерть поэта	381
„Вот виноградник, но я виноградного сока...”	382
Жизнь лозы	384
<i>Ираклий Абашидзе</i>	
Корни	388
Хвамли	390
Опустевшая дача	392
„Я книгочей, я в темень книг глядел...”	393
Далекая Шхелда	394
Камень	395
„Ты увидел? Заметил? Вгляделся?..”	397
Весна	398
„Жаждешь узреть — это необходимо...”	399
<i>Григол Абашидзе</i>	
Память	400
„Я сам не знаю, что со мной творится...”	401
Из стихов Турмана Торели:	
1. На бойне	402
2. Единственный свет	403
<i>Иосиф Нонешвили</i>	
„Вот я смотрю на косы твои грузные...”	404
<i>Анна Каландадзе</i>	
Мравалжамиер	406
„Всё, что видела и читала...”	408
„Ты такое глубокое...”	410
„Вот солнце...”	411
Входила в Гурию каланда	412
„Охотники легко и дерзко...”	413
„Громче шелести...”	414
„Когда прохожу...”	415
„О бабочек взлеты и слеты!..”	417
„Он безмолвствует...”	419
„Перекликаются куропатки...”	420

Тута	421
„Когда наступит ночь...”	422
„Что делает весна...”	423
„О ты, чинара...”	424
Разговор с чиамарией в День победы	425
Я совсем маленькая веточка...	427
Скажи мне, чиамария...	428
„Какие розовые щёки...”	429
Ладо Асатиани	431
„Долгой жизни тебе...”	432
„О, пусть ласточки обрадуют нас вестью...”	433
„Тень яблони...”	434
Молитва змеи	435
„Татарка девушка...”	437
Бубны	438
Звёзды	439
„Как пелось мне и бежалось мне...”	440
О магнолия, как я хочу быть с тобой!	441
Облака	443
В Шиомгвими	444
По дороге в Бетанию	445
„Снег аджаро-гурийских гор...”	446
„Над Зедазени мерцает Венера...”	447
В Зедазени	448
Я слечу, сирень...	449
„Что за ночь – по реке и по рошам!...”	451
„Я тебя увенчаю короной...”	452
„Свирель поет печально...”	453
„Самшвилде, фиалковая тропка...”	454
Из чехословацкой тетради:	
Влтава	455
Пражская Венеция	457
На выставке мексиканских художников в Братиславе	458
Злата улочка	459
„В соборе Витта...”	461
Течет Дунай...	462
Юлиус Фучик в Праге	463
<i>Арчил Сулакаури</i>	
„Опять нет снега у земли...”	465
<i>Михаил Квливидзе</i>	
Я и ты	466
Пан	467
Бегство от тебя в Мцхету	469
Гагра	471
Конец охотничьего сезона	473
С тех пор	474

„О милая!” — так я хотел назвать...”	475
Из непосланного письма	476
„В ночи непроходимой, беспросветной...”	477
На смерть Э.Хемингуэя	478
Тийю	479
„Когда бы я, не ведая стыда...”	481
В поезде	482
Дачная сюита	483
Песня	484
„Он ждал возникновенья своего...”	485
„Родное — я помню немало родных...”	486
Масштабы жизни	487
„Когда я целую тебя...”	488
Северная баллада	489
Стихотворение с пропущенной строкой	490
Ностальгия	491
Продолжение следует	492
31 декабря	493
Соблюдающий тишину	494
Очки	495
Лирический репортаж с проспекта Руставели	496
„Когда б я не любил тебя угрюмым...”	498
„Я, человек, уехавший из Грузии...”	499
Посвящение	500
Поющие столбы	501
Северный пейзаж	502
<i>Тамаз Чиладзе</i>	
Зимний день	503
„Колокола звонят, и старомодной...”	505
„Да не услышишь ты...”	506
Древний Таллин	508
Петергоф	510
<i>Отар Чиладзе</i>	
„В быт стола, состоящий из яств и гостей...”	511
„Я попросил подать вина и пил...”	513
Шел дождь...	515
Первый день осени	517
Снег	518
Комната	520
Белое поле	521
Бессонница	523
Сон	525
„Бог памяти, Бог забыванья!..”	526
До разлуки	527
Бичвинта	529
„Шла женщина по белому песку...”	531

<i>Морис Поухишвили</i>	
Ферзевый гамбит	532
<i>Иза Орджоникидзе</i>	
„Вот слово — оскудевшее, иссякшее...”	533

РАССКАЗЫ

На сибирских дорогах	537
Бабушка	569
Много собак и Собака	582
Комментарии	611

Белла Ахатовна Ахмадулина

СОЧИНЕНИЯ · ТОМ 1

Составители

Б.А.Мессерер, О.П.Грушников

Редактор В.И.Цветков

Художник А.Б.Коноплев

Корректор В.С.Антонова

ЛР №064604 от 22.05.96

ISBN5 – 901040 – 01 – 5

ЛР №060019 от 15.11.96

ISBN5 – 85030 – 054 – 6

Формат 60х90 ¹/₁₆. Печать офсетная
Гарнитура NewBaskervilleC (ParaType)

Печ. л. 39,5

Тираж 5000. Заказ №5127

ООО «Издательство ПАН»

117321 Москва, а/я 76

ТОО «Корона-Принт»

125284 Москва,

Хорошевское шоссе, 2/1, стр.2

Отпечатано с оригинал-макета

в ордена Трудового Красного Знамени

ГУПП «Детская книга»

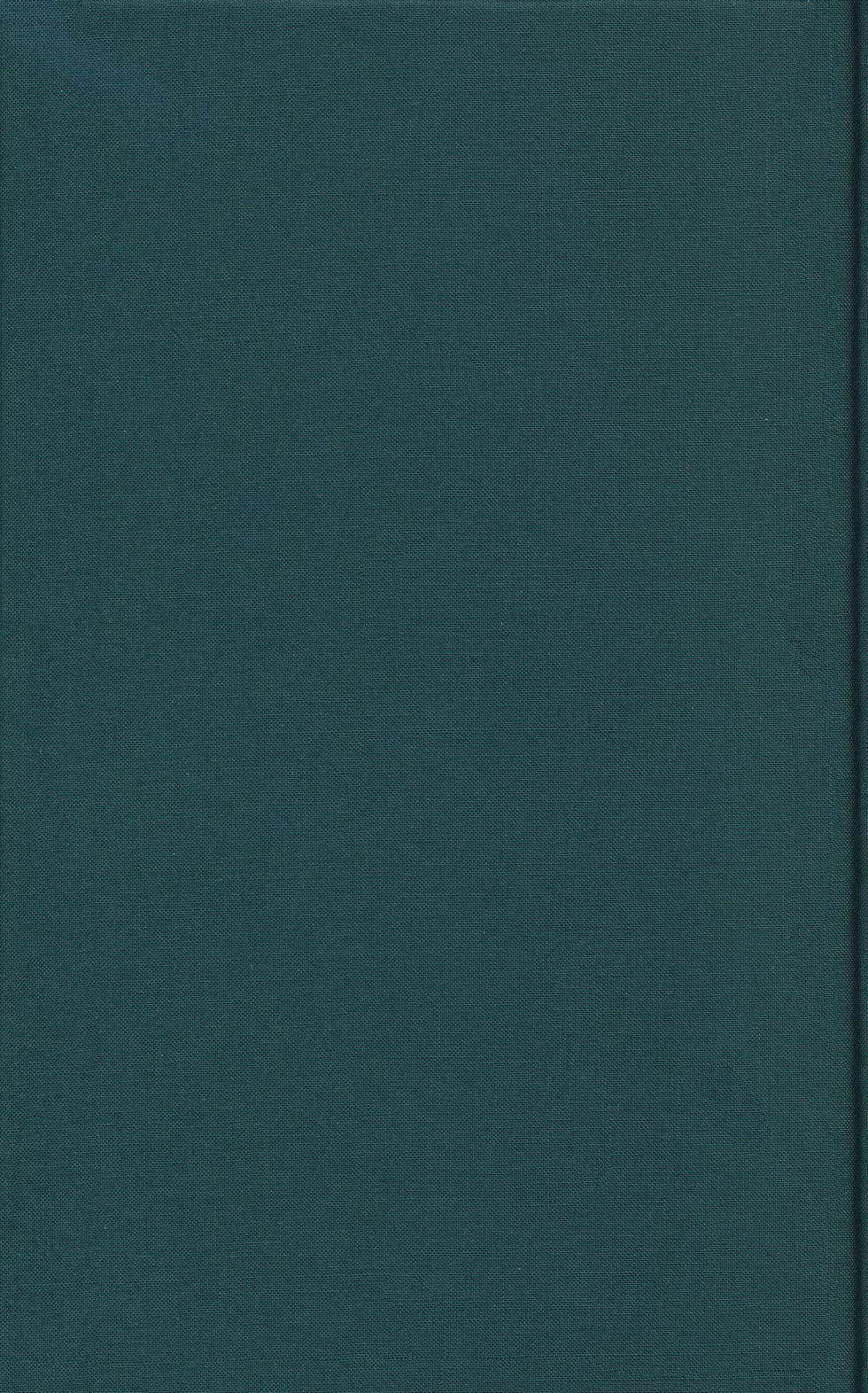
127018 Москва, Суцеский вал, 49



У поэтического дара Беллы Ахмадулиной есть редкое достоинство – быть понятным и близким всем, не теряя ни в музыке стиха, ни в его глубине. Наследница и носительница классической традиции начала века, она всегда была и остается ей верной при любой общественной погоде.

Негромкий голос слышней, а сказанное им слово помнится – в этом эффекте предстоит убедиться всем, кто возьмет в руки новый трехтомник поэтессы. Голос Ахмадулиной узнаваем, его не перепутать ни с каким иным, ибо на многоцветной палитре российской поэзии ее краска светится своим особым цветом.

Альфа-банк, который неизменно следует своей традиции содействовать проектам, направленным на развитие и процветание отечественной культуры, имеет честь и удовольствие принять участие в выпуске нового трехтомника Беллы Ахмадулиной, и надеется, что радость встречи с ее поэтическим талантом разделят многие и многие почитатели ее дарования.



*Белла
Ахмадулина*
СОЧИНЕНИЯ • ТОМ 1
СТИХОТВОРЕНИЯ 1954-1979
ПЕРЕВОДЫ
ИЗ ГРУЗИНСКОЙ ПОЭЗИИ
РАССКАЗЫ

Белла Ахмадулина

1



*Белла
Ахмадулина*
СОЧИНЕНИЯ • ТОМ 1

Две белизны, причиняющие мучку нежности, расстилаются передо мной: чистая страница и Москва после первого ночного снегопада. Наверное, эти две страсти, незримо и нерасторжимо связанные между собою, составили мою судьбу и душу: заманивающий и пугающий лист бумаги, не дающий отпуска и поблажки, и этот город во главе земли, без которой нет и не надо меня.

Я вижу крыши в снегу, проём между зданий, где подразумевается и неминуемо есть Тверской бульвар, небо над памятником Пушкину. Но зачем я это упоминаю? Не затем ли, что мне хочется сказать всё как есть, без прикрас и утайки? Получается, что я пишу письмо множеству незнакомых людей как единственному и близкому человеку. Может быть, к этой путанице и сводится точная цель моего ремесла: обнаружить наготу чувства и помысла перед тем, кто неведом, но родим.

Белла Ахмадулина